

#99

KHRESCHATYK
International Literary Magazine

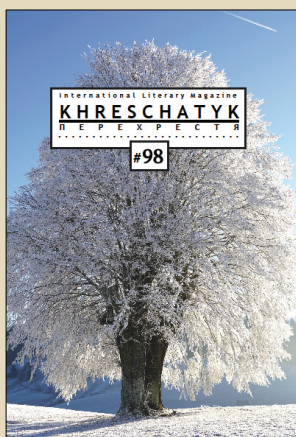
International Literary Magazine

KHRESCHATYK

П Е Р Е Х Р Е С Т Я

.....

#99



Международный
литературно-
художественный
журнал

Publish
pro

Главный редактор
Борис Марковский *(Бремен)*

тел. (+49) 421-522-647-65

borismark30@T-Online.de
borismark30@ukr.net
borysmarkovskiy90@gmail.com
kreschatik@rambler.ua

Зам. гл. редактора
Елена Мордовина *(Маастрихт)*

Редакционная коллегия

Татьяна Ретивова *(Киев),*
Максим Матковский *(Киев),*
Александр Спренцис *(Киев),*
Виталий Амурский *(Париж),*
Борис Херсонский *(Одесса)*
Александр Моцар *(Киев),*

Технический директор
Павло Маслак *(Киев)*

Год издания двадцать шестой
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markovskiy, Kornstr. 22
28201 Bremen, Deutschland
<http://www.kreschatik.kiev.ua/>

Журнал выходит 4 раза в год
ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ / ЗМІСТ

Поэзия / Поезія

Павло Маслак / <i>Київ</i> /	Версифікації	4
Михаил Окунь / <i>Аален</i> /	«Они придут, чужие люди...»	70
Имильян Дорошенко / <i>Винница</i> /	«Ветер разбил окно...»	136
Александр Спренцис / <i>Киев</i> /	Беседа	147
Віталій Борисполець / <i>Київ</i> /	«Темрява...»	211
Вадим Гройсман / <i>Ришон ле-Цийон</i> /	Бабочка	279

Проза

Владимир Матвеев / <i>Киев</i> /	Тоска. <i>Фантастический роман</i>	8
Олег Слепынин / <i>Черкассы</i> /	Снег. <i>Космический роман</i>	73
Павло Маслак / <i>Київ</i> /	Два оповідання	138
Марк Зайчик / <i>Тель-Авив</i> /	Проект «Палестина»	154
Борис Руденко / <i>Київ</i> /	З роману «Очеретини на склі»	223
Анна Лобановская / <i>Киев</i> /	Наказание для Мерилин, или История одной депрессии. <i>Фрагменты романа</i>	237
Василь Сокіл / <i>1943–2022</i> /	Плач лелеки	283
Данило Кравченко / <i>Київ</i> /	Знайомства в березні	316

Переводы

Георг Гейм / <i>1887–1912</i> /		
<i>Перевод с нем. Л. Бердичевского</i>	Длинные твои ресницы	230
Альберт Эренштайн / <i>1886–1950</i> /		
<i>Перевод с нем. Л. Бердичевского</i>	Странник	233

Контексты: эссеистика, критика, библиография

Римма Зельманова / <i>єqqɜaʔɥɥ</i> /	Вермо	319
--------------------------------------	-------	-----

Латинский квартал

Петр Межурицкий / <i>Хайфа</i> /	«Не писатель, не издатель и не вор...»	332
----------------------------------	--	-----

Павло МАСЛАК

/ Київ /



ВЕРСИФІКАЦІЇ

* * *

вже не вгледіти нічого
слухаю у безпорадді:
серед мороку нічного
сунуть звуки по кімнаті

не сусідські — попелище
знищило все найдорожче
(сподіваюсь, що живі ще
може в Чопі, може в Польщі)

гов! гукаю до нестями
(мо вони здолали Лету
й невимовними світами
подають мені прикмету?)

думка зринула остання:
може хто в своїй кімнаті
слухає мої волення
в темряві і безпорадді?..

Відклучення «Sol y Sombra»

відкрию навпомацки пляшку шляхетну
холодне вікно проглядається блідо
у світлі ліхтарика зелень абсенту
нагадує літо
ховаються серед кутів ненадійних
примари, минулим напошепки марять
у світлі ліхтарика тіні на стінах
нагадують пам'ять

миготять щілини очима монгола
без доброго запаху білого гасу
у світлі ліхтарика все, що навколо —
картина Пікассо
ракетою лине останній комарик
та чара абсентна, як зелено гронце
у світлі ліхтарика сам цей ліхтарик
нагадує сонце

Гумільов 2.0

Я мандрівець космічними світами,
Комету настагаю, як мету,
Над прірвами літаю, і над вами —
Хто вірить в морок, на свою біду.

Небесний сад спокусливої Дами
Як Одіссей кмітливий обійду.
І знаю, я любов свою знайду...
Я, мандрівець космічними світами.

Коли вже зорі втратили слова,
І від сузір'їв кружить голова,
Я сам створю надзоряну алею!

Я чорним дірам заповітний брат,
Та все одно вплету у свій наряд
Зорю долини — сяючу лілею!

Сізіф

Хоча спокутний час
життя оплів
і зводиться щораз
журба безкрайня,
та я сприймаю все
без марних слів,
мов камінь, що несе
тягар мовчання.

* * *

цикади сюрчать
немов намагаються
морок збороти

* * *

осінь бреде наосліп
(що поробиш — порода ж!)
листя летять у роздріб —
розпродаж!
тануть лелеки мевом
небом, ще в день денним
(осінь стає мемом
кумедним)
так, за вікном сльози
сміху і голосіння
отака собі проза
осіння

* * *

Йшов я у прозі,
стримав мій шлях
цвях на дорозі —
миршавий цвях.
Ні, не спаситель,
і не ґрааль —
може це тибель,
може вухналь.
На перехресті
сплутаний шлях
(в небі, до честі,
місячний цвях).
Бачу і досі
речі прості:
цвях на дорозі,
цвях на хресті...

* * *

Твій портрет у медальйоні
ніби спогад уві сні.
Твій портрет у медальйоні —
що метелик в бурштині.
Твій портрет у медальйоні —
мовби серце на долоні.
Та і сам я у полоні —
як цвіркун у бурштині...

Верленність

Б. Марковському

...і неба не видно,
і хмар боротьба...
чому така рідна
осіння журба?..
ущиплива мжичка
нагадує сни
журба невеличка,
як день восени
у темряві світла
іржавий настил,
хоч осінь набридла,
та вистачить сил!
у рідному краю
настане весна!
...у лузі палає
калина рясна

* * *

Біль у серці раптом виник.
Це, відверто, — не моє:
не зупиниться годинник
поки північ не проб'є.

Несподіваних зупинок
в час повітряних атак...
Не зупиниться годинник,
хоч і б'ється тихо-так.

Хочу смажених скороинок,
ярих яблук, синіх слив...
Не зупиниться годинник,
покіль час його не сплив!

Владимир МАТВЕЕВ

/ Киев /



ТОСКА¹

Фантастический роман

ГЛАВА 33

В комнате, освещаемой только ночником, был полумрак. Иван лежал на диване, рядом с ним на столике стояли початая бутылка коньяка, стакан, блюдечко с нарезанным лимоном, пепельница, полная окурков, и лежала пачка дорогих сигарет. Из динамиков звучала «Анастасия» Юрия Антонова. Иван слушал эту музыку и одновременно смотрел на изображение Герды на экране смартфона. Послышался звук вставляемого в замок ключа, и через мгновение на пороге появились Лекрыс и Надежда. Иван выключил музыку.

— Передумал? — с порога спросил Лекрыс.

— Где цианид? — спросила Надежда.

— Ох, Наденька! Ты так неожиданно! Ты садись, садись! — засуетился Иван. — Рад тебя видеть.

— Где цианистый калий? — повторила Надежда.

Иван посмотрел на Лекрыса.

— Ты все рассказал? — спросил он.

Тот кивнул.

— Выбросил, — сказал Иван, глядя на Надежду.

— Правда? — спросила Надежда.

— Тебя бы я никогда не стал обманывать.

— И чего же ты передумал? — спросил Лекрыс.

— Просто передумал и все, — сказал Иван.

— Это почему же? — спросил Лекрыс.

— Отстаньте от него, пожалуйста! — попросила Надежда. — Вы же видите, что ему все еще тяжело.

¹ Окончание. Начало «Крещатик» №97–98.

— Я хочу узнать, почему он передумал! — настаивал Лекрыс.
— Лекрыс, шел бы ты со своими вопросами подальше, а?
— Вы слишком нетактично себя ведете! — сказала Надежда. — Уйдите лучше.

— И оставь ключи.

— Значит, когда Лекрыс был нужен, так заходи, дорогой, а как не нужен, то пошел вон?!

— Не слушай его, Иван. Он много ночей не спал, поэтому так нетактичен.

— Я ухожу, но я чувствую, что ты, клянусь своим велосипедом, кое-что от нас скрываешь. И я даже знаю, что из себя представляет это кое-что, вернее, кое-кто. Не верьте ему, Наденька! Он может использовать вашу к нему любовь!

— Все остыло, — сказала Надежда. — Но вам лучше уйти, Лекрыс.

— Я вижу, что вы оба на меня ополчились. Ну, тогда ладно. Пойду. Но вы не верьте ему, Наденька! Не верьте!

После того как Лекрыс захлопнул входную дверь, Иван снова налил себе в стакан коньяку.

— Это обязательно? — спросила Надежда, когда он потянулся за лимоном.

— Это лекарство. Ты будешь?

Надежда отрицательно покачала головой.

— Ну — за одиночество! — сказал Иван и выпил коньяк.

— Это плохой тост, — сказала Надежда. — Это все равно что произнести тост за все плохое.

— Да, мне плохо. Но, может быть, это-то и хорошо? Ведь самое важное происходит с человеком и больше всего человек очеловечивается, когда он один. Только так человек становится лучше.

— Или хуже, — заметила Надежда.

— Ты так думаешь?

— Я думаю, что на свете немало как одиноких подлецов, так и не одиноких.

— Пожалуй, ты права. Это я, наверное, увлекся. Все бывает, абсолютно все. Ты смотришь на гроб? Красивый, да? Это я не для себя выбирал, для людей. Если бы я сам себя мог похоронить, я бы выбрал гроб из некрашенных досок, поглубже что-нибудь бы выбрал, понекрасивее, потому что пытаюсь приучить себя не зависеть от красивых вещей. Глубоко заблуждался Жан-Жак Руссо, утверждая, что зависимость от вещей не имеет никакого нравственного характера и не порождает порока. Порождает, еще как порождает. Красивые вещи, они же, как наркотик, к ним сразу привыкаешь, и хочется еще и еще. Потом без очередной дозы красоты ломка начинается. Тогда люди идут ради красоты даже на убийство. Не может человек, зависимый от красивых вещей, быть высоконравственным. Ты сама посуди, кто у нас в стране самые большие любители красо-

ты? Хитропупые. Красота, если и допустима, то должна быть уродливой. Так сказать, красивая уродливость или уродливая красота. Вот какой должна быть красота. А красота, если она не воспиты- вает, если не напоминает о смерти, это как лакированная поверх- ность стола без самого стола. Она никчемно-поверхностная вещь. Пустышка. Она уже никуда не годится, как и красивая женщина, не отягощенная мыслью, не годится для продолжения рода. Она родит тебе таких же не отягощенных мыслью детей. Но вот беда: красота коварна, и просто удивительно, как умеет обмануть чело- века. Поэтому, когда смотришь на такую женщину, все равно ка- жется, что она годится для продолжения рода. Но это поправимо. Это можно запретить. Надо издать соответствующий закон, за- прещающий таким женщинам выходить на улицу без противогаза. Нет, Наденька, я понимаю, что это бред, но разве в этом бреде нет резона? Разве он не заставляет задуматься? Разве не правдивее будет изображать красивую женщину с каким-нибудь уродством, например, безногую — и рядом ее ампутированные ноги. А потом можно будет изобразить ее с пришитыми толстыми белыми нитка- ми ногами. Толстыми белыми нитками. Почему белыми? Любая красота шита белыми нитками, потому что человек смертен и под- вержен несчастьям. Так что лучше к красоте не привыкать. И к миру тоже лучше не привыкать. И мир каждого человека тоже шит белыми нитками. И не прав был тот, кто сказал, что тебе повезло, если ты родился. Все как раз наоборот: тебе крупно не повезло, если ты родился.

Иван снова налил себе коньяку.

— Ты говоришь, что надо всегда помнить о смерти, — сказала Надежда. — Может быть. Но не лучше ли вместо твоих ужасов при- думать что-нибудь другое, мягче напоминающее о нашей бренно- сти? Можно просто поставить в вазу букет из опавшей листвы.

— Падаль на столе? Да, это ты хорошо придумала.

— Но разве тебя самого не тянет к прекрасному?

— Тянет, но я борюсь. «Борись!» — говорят во мне мои высшие инстинкты. Инстинкты сверхчеловеков. Не гитлеровских, конечно, с их мушиною легкостью бытия, настоящих сверхчеловеков, аскетов. Потому что только тот сверхчеловек, кто довольствуется самым ма- лым. Такие люди, говорили древние греки, ближе всего к богам. Но слаб я еще, слаб. Вот купил себе не так давно новый письменный стол. А чем плох был старый, поцарапанный, с облупившимся ла- ком? Чем он хуже исполнял свою функцию? Ничем. А я все-таки ку- пил. Поцарапать его, что ли? Нацарапать «здесь был Ваня». Чтобы каждый, кто зашел бы в эту комнату и сел за этот стол, сразу же понимал, что тут живет сверхчеловек.

— Ты все это говоришь всерьез?

— Эх! — воскликнул Иван. — Конечно, не совсем всерьез. Но ведь, если вдуматься, то это очень серьезные вещи, что в моих

мыслях есть резон. Красив, духовно конечно, должен быть человек, а не вещь. Вещь должна быть функциональной, только функциональной, потому что существует заговор красивых вещей против свободного человека. Заговор с целью влюбить его в красивые вещи, а потом забрать у него жизнь. Я имею в виду, забрать полноценную, заполненную человечностью жизнь, а оставить другую, поверхностную, заполненную красотой. Не до доброты человеку, когда он гонится за красотой. Но я кое-какие меры против этого заговора вещей предпринимаю. Например, видишь эту грубую дощатую кадку, а в ней кактус? Это мой вечно небритый друг Вася. Эй, Василий! Мы о тебе говорим. Слышишь? Симпатичный, правда? Так вот, это закон отрицания, по которому я живу. Эта уродливая кадка отрицает этого симпатягу Васю. Если подумать, то как жалок, как глупо суетлив человек, обставляющий квартиру новой мебелью! Нет, в квартире должно быть как в келье монаха, пусто для прихотей тела и просторно для творчества духа. Или, если угодно, такое сравнение: как в квартире гармониста, живущего по принципу: все пропью — гармонь оставляю:

Гармонь не вещь, а продолженье
Моей мятущейся души!

Я понимаю, что все это несколько сумбурно, что тут, так сказать, больше чувств, чем головы, но из этого можно сотворить очень стройную теорию, — сказал Иван и снова выпил.

— Ты бы лучше не пил, — заметила Надежда.

— Но ведь я по-прежнему трезв?

— Ты не очень трезв, Ваня.

— Но я же трезво рассуждаю, сумбурно, но трезво.

— Просто ты над этим, видимо, много думал.

— И тебе мои думы близки?

— Во всяком случае, я тебя понимаю. Красота — это еще далеко не все. Не прав был Достоевский. Красота мир не спасает.

— Более того, красота — это мать всех преступлений, какие только есть в этом мире. Но не будем о красоте, не будем о печальном. А будем вот о чем. Раз уж я пьян, то мне сам бог велел говорить откровенно. После того, как Настя от меня ушла, я много думал о тебе. Вспоминал ту осень, тот листопад. Счастливое было время, когда я, не знаю как ты, но я не знал, что листопад и падаль — слова однокоренные.

— Не говори так.

— Счастливое было время, — продолжал Иван.

— А как же твоя Настя? Разве ты с ней не был счастлив?

— Будь проклят час, когда я ее встретил! Постой, Наденька, постой! У меня, кажется, стихи получаются!

Иван вскочил с дивана, бросился к столу и, найдя авторучку и лист бумаги, принялся что-то лихорадочно писать. Написав, он воздел глаза в потолок и со сложенными как в молитве ладонями, проговорил:

— Благодарю тебя, господи, если ты есть, за то, что по ночам в тиши я пишу стихи! Ты ведь знаешь, я всегда мечтал писать стихи! Это великое вдохновение! Это добро в чистом виде! Вот как зло уже тысячи лет не перестает обращаться в добро! Я тебе сейчас прочту, Наденька:

Будь проклят час, когда я встретил вас,
Когда поддался злой игре воображенья.
И, никогда не знавший поражения,
Я признаю его сейчас.

Ну, как тебе?

— По-моему, очень хорошие стихи. Более того, если бы ты сказал мне, что их написал, например, Пушкин, я бы поверила.

— Только этого не надо. Быть знаменитым некрасиво. Не надо: «Это написал великий Иван Шевченко, и он здесь, этот великий гений, среди нас. Похлопаем же ему, товарищи, и назовем его именем галактику». Нет, этого не надо. Простительно только ребенку или юноше желать славы. Но взрослому человеку желать славы неприлично, это говорит о незрелости. Я долго думал над этим и понял: чем ниже человек на социальной лестнице — тем он менее честолюбив. Поэтому, если кому и надо ставить памятники, так это, например, воспитательнице в детском саду, потому что ее питает доброта, а гения — тщеславие. И памятники таким простым людям, людям без тщеславия, должны быть по всему миру, и должны быть даже выше памятника Христу в Рио-де-Жанейро. Все. Я, кажется, выдохся. Ну, и слава богу, наверное, думаешь ты, да?

— Я так не думаю, твоя речь была и от сердца, и не без мудрости. Только ты несправедлив к себе. Нет человека без некоторой толики тщеславия. Даже твоя добрая воспитательница в детском саду ее не лишена. И, может быть, даже несчастный бомж, умирающий где-нибудь под забором, шепчет пересохшими губами: «Назовите моим именем галактику».

Надежда посмотрела на часы.

— Уже слишком поздно, — сказала она. — Я пойду. С тобой, я вижу, все в порядке.

— Останься...

ГЛАВА 34

— Ты что, не ложился? — услышал я за спиной и повернул голову. Прессия сладко потягивалась в постели.

- Тебе приготовить кофе? — спросил я.
- Не увливай от вопроса! — строго сказала Прессия. — Не ложился?
- Не ложился, — сознался я.
- Ты разве не понимаешь, что твои ночные бдения гробят твоё здоровье?
- Прости, но на меня нашло вдохновение.
- Не надо мне твоё «прости». Ты не маленький. Ты взрослый мужчина.
- Прости, — снова сказал я.
- Да не надо мне твоё «прости»! — сказала она уже раздражённо. — Учти, если заработаешь инфаркт, я к тебе в больницу не приду. Из принципа не приду.
- Может, ты позволишь мне прочесть и этим реабилитироваться в твоих глазах?
- Прессия села в постели, подложила под спину подушку и сказала:
- Ладно, валяй.
- Я стал читать:

Утро выдалось солнечным, ясным. Одним из тех счастливых утр, когда солнце совсем не скрывается за облаками и, если вы счастливы, такое солнце вносит свою дополнительную лепту в ощущение вашего счастья.

Со всех сторон от корпусов психиатрической больницы по направлению к больничной кухне группами стекались психически больные люди с кастрюлями и кастрюльками, с бидонами и бидончиками.

Может быть, где-нибудь в Лондоне, где, по слухам, счастье есть, психически больные и выглядят счастливыми, но данные люди счастливыми не выглядели. Но Магдалена Шевченко на фоне своих товаров, по большей части унылых и бедно, или неряшливо, или безвкусно одетых, выглядела так, что автор уже который раз восклицает: «Как несправедлив бог! Почему одним все, а другим ничего?!». Правда, утонченный наблюдатель отметил бы, что у Магдаленки и помада чересчур яркая, и глаза слишком густо подведены, и юбка слишком коротка, что, в общем, эта хваленая Магдалена Шевченко ни дать — ни взять — вылитая шлюха. Но кто спорит? Разве не говорили то же самое герои этого романа в одной из предыдущих глав? Но, с другой стороны, знающие люди бают, что священный долг автора — любить своих героев, и автор будет свято исполнять этот священный долг. Да и без этого долга я, не знаю как вы, но я люблю Магдаленку. Я люблю даже Ивана. А ведь тебе, читатель, наверняка не по нраву этот моральный урод, такой же, впрочем, как и автор этих строк, поскольку, как и все эгоисты-

писатели, игнорирует завет Канта, гласящий, что «всякая личность — самоцель, и ни в коем случае не должна рассматриваться как средство для осуществления каких бы то ни было задач, хотя бы это были задачи всеобщего блага».

Сначала к кухне подтянулась группа, в которой были и наши хорошие знакомые: Философ и Озабоченный.

— И как же мне к ней подойти? — спрашивал Озабоченный, ставя на асфальт кастрюлю для котлет и становясь в длинную очередь. — Нельзя же ни с того ни с сего сказать: «Пошли за котельную?».

— Не знаю, не знаю. Думай сам... — сказал Философ.

— Боюсь, что откажет, что бы я ни сказал. Не вышел я ни мордой, ни ростом, ничем не вышел. Да еще этот горб...

— Не знаю, не знаю. Думай сам... — повторил Философ и, вглядываясь вдаль, добавил:

— А вот и она, Магдаленка. Вон там, видишь? Впереди с бидончиком идет? Правда, красавица?

— Красавица-то красавица, вот только боюсь, что не по Сеньке шапка... — и Озабоченный уныло вздохнул.

Скоро Магдалена к ним приблизилась, поставила свой алюминиевый бидончик на асфальт и, обмахиваясь бумажным самолетиком, точно веером, стала цепко вглядываться в еще одну группу мужчин, приближающихся с различными емкостями. Видимо, не найдя ничего достойного, она перестала всматриваться и закурила. Ни Философа, ни Озабоченного она своим вниманием так и не удостоила.

— Магдалена! — сказал Философ. — Ты меня прости за тот случай, пожалуйста.

Магдалена демонстративно отвернулась.

— Я знаю, я тебя обидел и даже унизил, но это только потому, что я испугался, и потому, что ты, Магдалена, была для меня, как я сейчас чувствую, таким дорогим и неожиданным подарком, что я просто не смог поверить, — врал обычно честный Философ. — Ты прости меня, Магдалена...

— Вы его простите, — проблеял всегда куда более смелый Озабоченный.

— Вот, познакомься с моим другом, Магдалена.

— Я и с тобой-то, типа, незнакома, — сказала Магдалена.

— Ну так давай познакомимся. Я — Олег, но меня Философом все зовут, а этого парня — Озабоченный.

— И чем он, типа, озабоченный? — усмехнулась Магдалена.

— Не знаю, — врал Философ. — Может, состоянием окружающей среды.

— Так он, типа, зеленый?

— Может, и зеленый. Пойдешь с ним?

Магдалена скользнула брезгливым взглядом по лицу и горбу Озабоченного и сказала:

— С тобой пойду, раз так. А он еще зеленый.

Философ, глядя на Озабоченного, развел руками. «Ничего не поделаешь», — говорил этот жест.

За зданием котельной, примыкавшей к зданию кухни, среди кустов обнаружился расстеленный кусок старого коричневого линолеума.

— Ложись! — приказала Магдалена.

— Как-то, извини, у тебя все быстро. А поговорить? — садясь на линолеум, сказал Философ. — Без разговора у меня может не получиться.

— А время? Типа у нас есть время на всякие разговоры, когда очередь идет.

— Нет, ты не понимаешь...

— Разве я совсем дура?

— Нет, ты не дура, но этого ты не понимаешь.

— Нет, ты все-таки считаешь меня дурой, — присаживаясь рядом, сказала Магдалена. — Прекрасно я понимаю, что есть, типа, грубые души, а есть, типа, тонкие. Ты — тонкая душа, я — грубая.

— Так ты меня прощаешь?

— Да ведь тебя не за что прощать, раз так. Раз ты хотел поговорить — давай, типа, поговорим. Только о чем? Впрочем, я, кажется, знаю. Ты, типа, должен прочитать мне какие-нибудь стишки, а потом мы должны их с тобой, типа, обсудить. Так, кажется? Так у вас, интеллектуалов, принято? Ну что ж, давай, бухти мне: «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик». Давай подискутируем, где здесь добро, а где зло.

— Пожалуйста, не злись.

— Да не злюсь я! — Магдалена махнула рукой. — И в природе часто самец вначале только, типа, ухаживает за самкой, так что я не злюсь, не злюсь. Не злюсь я, потому что не ты не такой, как следует. Это я не такая, как следует. Ну да ладно, раз ты такой как следует, то и я с тобой буду, типа, такой же.

Оба сидели молча, обхватив руками колени, и оба вздрогнули, когда вдруг среди ясного неба грянул гром, и громовой же голос с неба произнес:

— Се есть дочь моя возлюбленная, ее слушай!

— Опять голоса! Опять эти чертовы голоса! — вскричала Магдалена.

— Удивительно, но я тоже слышал голос! — вскрикнул Философ.

— Что голос тебе сказал?

— Он сказал мне, что се есть дочь моя возлюбленная, ее слушай! И так четко сказал! А ведь обычно эти голоса какую-то бессмыслицу талдычат!

— Мне голос сказал то же самое! Удивительно!

— Ой, что это? Что это у тебя над головой?

— А что?

— У тебя нимб над головой!

— Ты шутишь?

— Нет, не шучу! В самом деле, в самом деле! О, Боже! Ты, наконец, позволил мне открыть твоих святых! — вскричал Философ.

— Только, пожалуйста, не так громко! — Магдалена хотела прикрыть уши, но пальцы рук коснулись чего-то мягкого и горячего, и, когда она сняла с головы это мягкое и горячее, оно действительно оказалось переливающимся всеми цветами радуги нимбом.

— Так это что же? — недоумевала она, глядя на нимб, который уже начал медленно испаряться и уноситься в небо радужным паром. — Получается, что теперь нельзя?

— Чего нельзя?

— Ничего нельзя.

ГЛАВА 35

Из прихожей послышался звук вставляемого в замок ключа, дверь открылась и закрылась, последовал до боли знакомый цокот каблучков, и появилась она, Анастасия. Длинноногая, светленькая, слегка озабоченная сероглазая красавица. Была она в обтягивающем платье, подчеркивавшем изящность фигуры.

— Ты бы, ложась на диван, хоть бы тапочки снял! — сказала она укоризненно.

— Не могу, ноги мерзнут. Видимо, смерть близка.

— И это все, на что ты способен? На идиотские шуточки? Клоун.

— Это могут быть не шуточки, — возразил Иван.

— Гроб зачем-то притащил. Ты мне опять самоубийством угрожаешь? — спросила она и, открыв крышку гроба и увидев черный костюм, добавила:

— Да, клоун он и есть клоун.

— Я не угрожаю, клоун не может угрожать. У него другое ампула. Кроме того, тебя это не удержит.

— Между прочим, в комнате уже пахнет алкоголиком.

— Это не алкоголиком, а коньяком. Я еще не успел проспиртоваться, да и не успею, уж слишком близка смерть.

— Ты бросай все-таки пить-то, — сказала Анастасия, беря вещи из шкафа и укладывая их в баул.

— Пока не могу. Дело в том, что когда я не пью, я трезв.

— И в чем тут смысл: «когда я не пью, я трезв»? Что тут умного? А впрочем — дошло. Оригинально для такой бездарности, как ты. Воруюшь?

— Скорее, подворовываю. Однако и сам кое на что способен.

— А откуда у тебя такой дорогой коньяк и такие дорогие сигареты? — глядя на столик, спросила она.

— Не поверишь. Скажем, со мной заключили контракт и дали аванс. Но тот, с кем я заключил контракт, похоже, взялся не с тем иметь дело.

— И много денег дали?

— А если много, ты останешься?

— Купить меня хочешь?

— А ты продаешься?

— Продаюсь. Любая любовь — это суета, любая любовь проходит. А деньги — это уже не суета, если это большие деньги. Деньги, если это большие деньги, — это несокрушимая стена, за которой можно укрыться от всех напастей. Деньги — это и щит, и меч, и свобода.

— Говорят, что нет ничего святого, чего не смогли бы осквернить деньги. Они и тебя осквернили, Настя.

— Ко мне это не относится, я никогда не была святой.

— Да... Ты никогда не была святой... Но — странная вещь, мне иногда кажется, что именно за абсолютную бездуховность я тебя и люблю.

— А ты духовен?

— Я духовен.

— Тогда почему пьешь?

— Ницше сказал мне, что для того, чтобы написать острую сатиру, — а я склонен к этому, — нужно основательно испортить печень. Желчи больше надо, желчи.

— А Ницше не сказал тебе, что при этом можно пропить последние мозги?

— На сей счет безмолвствовал. Правда, говорила это мне одна, эта, как ее... Все время здесь шастала туда-сюда в шлепанцах на босу ногу. Ну эта, как ее... От нее еще котлетами с чесноком пахло...

— Это говорила я, твоя бывшая жена, шут ты гороховый!

— Может быть, может быть, только я ей не поверил. Да я и Ницше не поверил бы, если бы от него котлетами с чесноком пахло.

— И это ты находишь остроумным?

— Нахожу, и даже не остроумным, а умным. Нет пророка, если от пророка пахнет чесноком.

— Тоже у кого-то украл?

— Нет, я и сам кое на что способен. Иногда я умнее Ницше. Ницше, например, говорил, что культура — это тонкая яблочная кожура над раскаленным хаосом. Но дело в том, что у некоторых эта кожура не так уж тонка, а у некоторых нет никакого хаоса.

— Ну, счастливо оставаться, пей дальше! — Анастасия закрыла баул и направилась к двери.

— Подожди, — Иван подошел к письменному столу и вытащил из него деньги. — Здесь 10000 евро. Хочу, чтобы ты от него не зависела.

— Ты это серьезно?

Она поставила баул, подошла к Ивану и взяла деньги.

— А сколько всего дали?

— Сто тысяч.

— Да, это уже деньги... Не думала... Это ж надо...

— Видишь, в меня верят.

— Это ж надо... Клянусь своим велосипедом, никогда бы не подумала... — сказала Анастасия и, кладя деньги в сумочку, добавила:

— Если ты думаешь, что я бессовестная, раз ухожу, но, тем не менее, беру у тебя эти деньги, то у меня есть оправдание. Это — плата за мои страдания и нищету.

— Про нищету — ты зря. Почти все простаки лишь кое-как перебиваются.

— Я — не все. Я не хочу перебиваться. И то, что ты дал мне эти деньги, только доказывает, что ты никогда не будешь жить хорошо. Рыцари не живут хорошо.

— То я клоун, то я рыцарь.

— Скажу так: ты — рыцарь, но если поднять забрало, то окажется, что нос и щеки у тебя размазаны. Вернее, наоборот. Сначала ты все же клоун.

Она дошла до двери, но вдруг остановилась и, поставив баул на пол, спросила:

— Поможешь мне перевезти назад мои вещи?

— Как это назад? — Иван несколько опешил.

— Я решила к тебе вернуться.

— Когда решила, только что, что ли?

— Только что.

Иван молчал.

— Ну, что ты молчишь?

— Я боюсь, а вдруг завтра ты передумаешь?

— Скажу тебе честно: клянусь своим велосипедом, кое-какие чувства у меня к тебе остались. Может быть, это жалость, может — привычка, не знаю. Кроме того, если за каждый роман ты будешь получать по сто тысяч евро, эти чувства смогут сохраняться всю жизнь.

— Ты цинична до предела.

— Я правдива до предела. Ну, так поможешь с вещами? Что ты опять молчишь?

— Видишь ли... Я как будто связал себя некоторыми обязательствами... Я сегодня ночевал с другой женщиной... Все бы ничего, но она меня любит...

— Уж не та ли хромоножка?
— Не говори так о ней.
— Говорю как есть. Ну, давай, собирайся.
— А что скажет твой Гриша?
— Он на работе. И не важно, что он скажет. Я оставлю ему записку. Напишу, что я его недостойна.
— Ты страшный человек, Настя.
— Я знаю. И бесстрашный тоже. Давая, собирайся. Что ты телишься?

— Нет, все-таки нет. Я не буду тебе помогать.
— Хочешь, чтобы я одна поставила твою хромоножку перед фактом? Хорошо, раз ты такой чистоплюй. Ну — все. Жди.

С уходом Насти Иван встал с дивана и нервно заходил по комнате.

— Боже, боже! Как опрометчиво все получилось! Как же теперь?! — он открыл мини бар, достал из него бутылку коньяка, но, подумав, поставил ее на место со словами: — Я и вправду становлюсь алкоголиком. Но что делать, что делать?

Послышался звонок, и Иван пошел открывать дверь.

— Купила буряков, картошки, капусты и мяса! — с порога весело сказала Надежда и занесла на кухню пакеты с продуктами. — Будем борщ варить, как ты на это смотришь? Укроп еще купила, банку томатной пасты и еще кое-какую мелочь. У тебя в холодильнике — шаром покати. Хотя ты и не виноват. Ты — мужчина, мужчине это простительно. — Она посмотрела Ивану в лицо и насторожилась. — Что-то не так? У тебя такое лицо, словно ты... В воду опущенный ты какой-то. Что случилось?

— Ничего не случилось. Думаю над сюжетом романа.

— Если с такими муками пишутся книги, то я писателям не завижусь, — говорила она, вынимая из пакетов продукты.

— Это не всегда так, — сказал Иван.

— А где у тебя фартук? — она огляделась. — Ах, вот. За полотенцем спрятался. Ну — все, иди. А я буду священнодействовать. Такая кость — прелесть! Наваристый борщ будет!

Иван вышел из кухни, снова открыл мини-бар, долго смотрел на такую красочную бутылку, но снова нашел себе силы противостоять искушению.

— Скотина ты, скотина... — сказал он.

— Что ты говоришь? — послышалось из кухни.

— Да так... Думаю... — громко сказал он и шепотом добавил — Скотина ты, скотина. Скотина и трус. Это твой окончательный портрет, и притом — маслом. Что же делать? А то: меньше пить надо!

Он снова открыл мини-бар, достал бутылку, отвинтил крышечку и, пройдя в ванную, стал решительно выливать коньяк в раковину.

— Дурак ты, Ницше, со своей печенью! — говорил он.

— Что ты там опять сказал?

— Я сказал, что жизнь — это акварель, попавшая под дождь, — сказал Иван.

— А ведь как поэтично сказано! Молодец, ты настоящий писатель!

— Черта с два настоящий! Это не я придумал, я пока не придумал ничего нового.

Иван прошел в кухню и выбросил пустую бутылку в мусорное ведро. Надежда стояла у стола и нарезала мясо.

— Но ведь, если не будешь в себя верить, то ничего и не получится, — сказала она. — Тренер всегда говорил нам, что если будешь твердо верить, что попадешь в кольцо, ты обязательно попадешь в кольцо. Я верила, и у меня получалось. Эх, если бы не эта авария!

— Я знаю, если бы не травма, ты бы жила теперь в Германии.

— Да, мне предлагали, когда я ездила на юношеские соревнования. Но ведь в юности мы такие патриоты, пока не поймем, что родина так и норовит повернуться к тебе спиной.

— На самом деле — жопой. Не стесняйся, Надя. Скажи: «жопой», так будет честнее.

— Нет, так я не скажу.

— Почему?

— Не скажу — и все. Да ты не голодный? Ведь ты, наверное, не завтракал, потому что и хлеб, и яйца на месте, а больше у тебя ничего не было. Давай я яичницу пока приготовлю, перекусить?

— Не надо, аппетита нет.

— И все-таки ты какой-то в воду опущенный. Неужели из-за сюжета?

— Нет, не из-за сюжета, — решил, наконец, Иван. — Приходила Анастасия, моя жена.

Повисла тишина. Было слышно как, нагреваясь, шумит вода в кастрюле.

Наконец Надежда повернулась к Ивану лицом.

— Анастасия хочет вернуться к тебе? — спросила она.

— Да, она хочет вернуться.

Снова повисла тишина.

— Что ж... — сказала Надежда. — Когда она придет?

— С минуты на минуту. Тут близко.

Надежда сняла фартук и повесила его на крючок.

— Ты меня прости, но ты же все понимаешь? — сказал Иван.

— Да, я все понимаю...

Открылась входная дверь.

— Заносите и ставьте здесь, — приказала Анастасия таксисту с чемоданами.

— Надо бы добавить... — сказал тот.

— Обойдетесь! — выпроваживая рукой водителя, сказала Анастасия. — Я и так вам сверх счетчика заплатила. Ну, Иван, забирай вещи.

Из кухни вышла Надежда.

— Ты меня извини, Надя, — сказала Анастасия. — Тебя, кажется, Надей зовут? Я хочу сказать кое-что, чтобы не было недоразумений. Так вот, если Иван скажет мне сейчас, чтобы я ушла, я уйду. Решающее слово за ним.

— Не мучьте его... — сказала Надежда. — Ему, наверное, так же плохо, как и мне.

ГЛАВА 36

— Да я сам, своими собственными ушами слышал этот громовой божий голос: «Се есть дочь моя возлюбленная, ее слушай!» — восклицал Философ.

— А может быть, это был не глас божий, а гром? — сомневался Заратуштра.

— Гром среди ясного неба? Такого не бывает!

— А то, что ты нам рассказываешь, бывает? — сомневался Художник.

— Да я клянусь!

— Это слуховые галлюцинации и больше ничего, — констатировал Художник.

— Но ведь она услышала то же самое! Как у двух разных людей в одно и то же время могут быть одинаковые слуховые галлюцинации? — воскликнул Философ.

— Но что-то никто, кроме вас двоих, этого не слышал, — усмехнулся Заратуштра. — Не потому, что я не верю в чудеса. А потому, что такое чудо невозможно. Таких безнравственных пророков не бывает. Да и никто, кроме вас, гласа этого не слышал.

— Я слышал, — сказал Озабоченный. — Не все, правда, разобрал, потому что звуки как бы наслаивались, но «дочь моя возлюбленная» разобрал.

— А громкоговоритель? Вы забыли? Над кухней висит громкоговоритель, вы забыли? — сомневался Художник. — Это по громкоговорителю что-то передавали, вот и все!

— А нимб? У нее был нимб! — не сдавался Философ.

— А вот это уж — совсем сказки! — засмеялся Заратуштра. — Если она, такая, его дочь, тогда и я, тем более, его сын. А впрочем, говоря, что все мы дети божьи.

— Все мы дети божьи, но ее бог все же выделил. Следовательно, он имеет на нее какие-то планы, решил посвятить ее жизнь какой-то высокой и священной цели? — продолжал настаивать Философ.

— Ты говоришь «какой-то», а я говорю «никакой», — сказал Художник. — Потому что от пророков никакого толку. И не пророки в этом виноваты, а люди, потому что порочны, даже самые лучшие люди, даже пророки в глубине души порочны. Но с другой стороны, если эти пороки не искоренили даже два миллиона лет человеческой эволюции, то, наверное, они нужны и важны точно так же, как и добродетели, точно также как добру, чтобы оно называлось добром, нужно зло. Потому я, поразмыслив, говорю: да здравствует порок!

Дверь палаты резко распахнулась, и с перекошенным от злобы лицом, шаркая ногами, ворвалась врач-психиатр Маргарита Васильевна, крашенная в блондинку старуха. Следом зашла медсестра с журналом назначений и санитар Женя.

— Где Петр Нирыба? — закричала психиатр старческим дребезжащим голоском.

— Я, — отозвался Нирыба, откидывая одеяло.

— Значит это ты делал эту мерзость Высокопоставленному? И как это называется?

— Высокопоставленный сказал, что это называется «тибет»... — испуганно проблеял Нирыба.

— И тебе даже не стыдно в этом признаваться, кретин!

— Вы не должны называть меня кретином, вы — врач, — осмелился проблеять Петя.

— Это ты понимаешь, а вот то, что сделал мерзость, не понимаешь?!

— Это не мерзость, потому что Высокопоставленный сказал, что я его девушка...

— Даже если бы ты был его девушкой, это все равно было бы мерзостью! Ну — ничего! Ты у меня попляшешь! Галоперидол ему с аминазином, а корректор не давать! Он у меня попляшет! В манипуляционную его!

— Ну, соска, пошли лечиться? — сказал санитар Женя, выводя Нирыбу под руку.

— Лечиться... — грустно произнес Философ, когда они ушли. — И это называется лечением? Не понимаю, почему ее все еще не увольняют? И как она вообще столько лет удерживается на этой должности? Ведь она же не лечит. Разве она лечит? Она — гробит людей!

— Увы! Мы не имеем права голоса! — сказал Художник. — Хотя, с другой стороны, после всего, мне его не слишком жаль.

— И по мне так ему, гомику, и надо! — сказал Озабоченный и добавил: — И, кстати, это — порок. И теперь ты скажешь: «Да здравствует порок!»? А? Художник? Что же ты молчишь?

— Вполне возможно, что не всякий порок во благо. Но, с другой стороны, может быть, мы чего-то не понимаем? Может быть, гомосексуализм, как говорят по Би-би-си, да и у нас нача-

ли говорить, вовсе не порок? Может быть, Европе лучше знать? Они куда развитее. У них университеты, а у нас профтехсельхозучилища. У них заводы по производству электроники и роботов, а у нас свинарники да коровники. У них везде ровнехонький асфальт и тротуарная плитка, а у нас колдобины, а тротуарная плитка только в районах, где особняки хитропупых. Гомосексуалисты же бывают очень вежливыми и приятными людьми, да и гениями. Чайковский, Элтон Джон, Оскар Уайльд. Да много их, сейчас не упомню.

— Достоевский говорил, что нужно называть зло злом, а ты пытаешься зло оправдать! — зло заметил Озабоченный. — Асфальт далеко еще не критерий нравственности.

— Не знаю, но внешняя приятность часто говорит о внутренней красоте... А они внешне часто приятные, — держался прежнего Художник.

— Вы меня простите, уважаемые, но это пустопорожний спор, — сказал Заратуштра. — Мерзавцами бывают все, и гомосексуалисты, и нормальные. Мерзавцами бывают даже внешне приятные люди. Неужели вам неизвестен главный закон социума?

— А есть такой закон? — спросил Озабоченный.

— Что-то не слышал ничего про главный закон социума, — заинтересовался Художник. — И о чем же он гласит?

— Нет ничего невозможного, — сказал Заратуштра. — Нет, погодите, погодите... Раз нет ничего невозможного, то, может быть, Магдалена действительно.... Нет, это все же невозможно. Таких безнравственных пророков не бывает.

Из коридора в палату донеслись крики:

— Плохо мне, плохо! Ох, как мне плохо, Маргарита Васильевна! Я вам клянусь, я больше не буду делать «тибет»! Дайте корректор!

— Да дайте ему, в самом деле, корректор! — послышался голос санитары. — Больно на него смотреть!

— Ты меня учить вздумал? Лучше загони этого извращенца в палату!

— Плохо мне, плохо! Если бы вы знали, как мне плохо! — причитал Нирыба уже в палате.

— Не ори! — оборвал его Озабоченный. — Сам виноват, соска гребаная.

— Плохо мне, плохо, как мне плохо! — не переставал стонать Петя.

— Слезами этому горю не поможешь, — сказал санитар. — Тебе дали галоперидол с аминазином. Аминазин — это снотворное. Поэтому единственное, что тебя спасет — это лечь и, несмотря на то, что тебя подрывает бегать и кричать, постараться уснуть. Давай, раздевайся и ложись.

Нирыба, постанывая, разделся и лег в постель.

— Мама, мама, мамочка! Зачем ты так со мной, мамочка! — все еще причитал он.

— Ты заткнешься или нет?! — вскрикнул Озабоченный. — Или мне самому тебя заткнуть?!

— Посмотрел бы я на тебя, если бы тебе вкололи то же самое! — повысил на него голос санитар.

— Верно! — сказал Философ. — Знаешь ли ты, что галоперидол гестаповцы использовали вместо физической пытки? Теперь ты понимаешь, какие это муки?

— Да плевал я на его муки! — воскликнул Озабоченный.

— Значит, и ты гестаповец! — вскрикнул Философ.

— Лучше быть гестаповцем, чем уродом, — парировал Озабоченный.

— Я думал, что ты только внешне урод, — сказал Философ, — но, оказывается, ты и внутри себя тоже урод. Ты думаешь только о себе.

— Да все думают только о себе и только притворяются, что думают и о других тоже, чтобы извлечь какую-нибудь выгоду.

— Удивительно! — воскликнул Философ. — Как ты можешь! Ты, совсем недавно разглагольствовавший про совесть и честь!

— Мама, мамочка! Зачем ты со мной так!

ГЛАВА 37

Философ и Магдалена сидели на скамейке, стоящей на дальней стороне заснеженной лужайки, метров в тридцати от неширокой асфальтовой дороги, за которой находился один из корпусов психиатрической больницы. На Магдалене было скромное темное пальто, под ним — юбка до щиколоток, а на голове темный платок.

— «И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараоново; он не хочет отпустить народ, — читала Магдалена вслух. — Пойди к фараону завтра: вот, он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою,

И скажи ему: Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение в пустыне; но вот, ты доселе не послушался.

Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь: вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь;

И рыба в реке умрет; и река воссмердит, и Египтянам омерзительно будет пить воду из реки.

И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой, и прости руку твою на воды Египтян: на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их; и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле Египетской и в деревянных и в каменных сосудах.

И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл, и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь;

И рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не могли пить воды из реки; и была кровь по все земле Египетской».

Магдалена подняла голову от библии и выпрямилась.

— Пока все, — сказала она. — Голос велел до сих пор читать. Типа, до двадцать второго стиха.

— Я вот что думаю, — сказал Философ, пытливо глядя на Магдалену. — Если мы такое же сделаем и вода везде воссмердит, то она воссмердит не только для фараона и египтян. То есть ошибся, для хитропупых. Она воссмердит и для нас, простаков.

— Господь, типа, усмотрит! — уверенно произнесла Магдалена.

— Я понимаю, что усмотрит, но как усмотрит?

— Не знаю. Верь — и все.

— Нет, это как-то не научно.

— Опять ты со своей, типа, наукой! Ты верь — и все!

Магдалена вгляделась вдаль и воскликнула:

— Иван идет!

— Тогда я пойду. Начнет меня угощать, а я не хочу вас объе-
дать.

— Да не объешь ты его, он богатый!

— Все равно пойду.

— Ну, ты хоть поздоровайся с ним!

— Хорошо, поздороваюсь.

— Здравствуйте, Иван, — сказал Философ, когда Иван приблизился.

— Здравствуй, Олежка! Ты куда? Вкусенького разве не хочешь?

— Не хочу, я сыт.

— Да посиди с нами!

— Нет, я сыт, — и Философ удалился.

Иван вытащил из пакета большую хлопчатобумажную салфетку, расстелил ее на скамейке и вывалил на нее разнообразную снедь.

— Спасибо, что вырвался, типа, навестить сестру, — сказала Магдалена, принимаясь за еду.

— Ты прости, я люблю тебя, но я существо кабинетное, тяжел я на подъем.

— Давай называть вещи, типа, своими именами. Ты не кабинетное существо, ты, типа, ленивое существо.

— Есть отчего облениться, — оправдывался Иван. — Ведь мы видимся по телефону.

— Такое общение живого общения, типа, не заменит, как не заменит колбасу ее изображение.

— Да, да, конечно, прости, — виновато согласился Иван.

— А колбаса вкусная!

— Вегетарианская, соевая, как ты любишь. Я на следующей неделе тоже постараюсь к тебе вырваться. А твой муж как? Так и не приходил?

— Муж объелся груш. Хотя, конечно, в том, что он так ни разу и не пришел, я сама виновата.

— А как у тебя с галлюцинациями?

— Это не галлюцинации. Мне действительно был глас божий.

— Да пойми ты, Магдаленочка, что в мире нет ничего сверхъестественного, что мир насквозь материален, что всему есть рациональное объяснение. Со мной тоже случались не совсем обычные вещи, яркие и четкие, словно явь, сны, например. Но если я лично не знаю им объяснения, это не значит, что они совсем не объяснимы. Не бывает чудес, не бывает!

— А не чудо ли то, что я вас опять нашел? — услышался голос позади, и Иван с Магдаленкой вздрогнули от неожиданности.

— Фу — напугали! — выдохнул Иван, увидев Заратуштру. — Знакомся, Магдалена. Это Ботиночкин Ботинок Ботинович. В девичестве — Заратуштра. Так он шутит. Это мой меценат, я ему по гроб обязан.

— Это правда, вы мне обязаны. И я пришел по должок.

— Но я еще не написал тот роман, еще и восьми месяцев не прошло.

— Я не про деньги. Я же не спонсор, я меценат, я это делал безвозмездно. Другой за вами должок. Вы видите эту трость? — он поднял вверх черную трость с набалдашником в виде головы змеи. — Это жезл пророка Моисея. С ним вы сможете творить чудеса. Помните про двенадцать казней египетских?

— Смутно, — сказал Иван.

— Я о них знаю, — сказала Магдалена. — После того, как мне, типа, был глас господень, я все время библию читаю. И не просто читаю, а намереваюсь, типа, проделать то же. Мне, типа, глас господень был.

— Это галлюцинации, — сказал Иван.

— Да, наверное, — сказал Заратуштра. — Ну, тогда это к делу не относится. Вы кушайте, кушайте на здоровье вашу вегетарианскую колбасу, вегетарианскую колбасу господь одобряет. Не обра-

щайте на нас внимания. А вы, Иван, как придете домой, прочтите о двенадцати казнях египетских, потому что нечто похожее вам придется проделать с Брехунцом и иже с ним с помощью этой трости. Вот возьмите ее, возьмите!

Иван взял трость.

— А теперь бросьте ее на землю.

Иван бросил трость на землю, и трость превратилась в извивающуюся змею.

— А теперь хватайте ее за хвост.

— Боязно! — сказал Иван.

— Хватайте, хватайте! Не бойтесь! Она не ядовитая!

Иван все же осмелился схватить змею за хвост, но она тут же вывернулась и цапнула его за руку. Иван ойкнул и отпустил змею.

— Дурацкие у вас фокусы, уважаемый Ботиночкин, — сказал он, высасывая выступившую кровь.

— Эх ты, Фома неверующий! — укоризненно сказала Магдалена, не колеблясь, схватила змею за хвост, и та тут же вновь превратилась в трость.

Заратуштра открыл в изумлении рот.

— Так это вы пророк? — удивленно произнес он. — Так это в вас попал второй самолетик?

— Самолетик? Да, был какой-то бумажный самолетик, я его использовала как веер, он изнашивался, и я его выбросила. А еще голос был: «Се есть дочь моя возлюбленная». Только так, как в библии, не получится. В библии Моисей с Аароном ходили к фараону. Но меня, во-первых, никто к Брехунцу, типа, не пустит. А вторых, если мне удастся дозвониться в его канцелярию и начать его, типа, шантажировать, меня вычислят, посадят, а потом, в лучшем случае, отправят на урановые рудники. Мне, чтобы шантажировать гетмана, нужно надежное укромное место.

Вдруг среди ясного неба раздался гром, и громоподобно прозвучало:

— Дочь моя возлюбленная! Предлагаю тебе летающий паровоз!

— Это бред... — прошептал Иван. — Со мной самый настоящий бред... Бред наяву...

— Придется поверить, что это вовсе не бред, — сказал Заратуштра, смущенно чеша затылок...

ГЛАВА 38

Гороховый Суп спустил ноги с кровати, в синем свете дежурной лампы нашарил на полу тапочки и с полузакрытыми глазами пошаркал к примыкающему к палате туалету, тоже освещенному синим светом. Он помочился, все так же с полузакрытыми глазами, чтобы сберечь полусонное состояние, поплелся обратно, как вдруг

что-то большое и темное, почему-то закрывавшее половину окна с решеткой, вдруг оторвалось от решетки и рухнуло на пол. Гороховый Суп от испуга отпрянул, глаза его широко открылись, он сразу понял, что произошло, и с криком: «Нирыба повесился!» — бросился в палату.

Палата проснулась не сразу. Кто-то еще продолжал спать, кто-то приподнялся в постели, кто-то сонно тер глаза. Гороховый Суп выбежал из палаты и снова закричал: «Нирыба повесился!».

Дремавший сидя на топчане у палаты санитар Женя проснулся и вскочил.

— Что ты кричишь? — спросил он.

— Там, там! — тыкал пальцем в дверной проем Гороховый Суп. — Там Нирыба повесился.

Санитар Женя бросился в палату.

Нирыба лежал на полу лицом вниз. Женя присел на корточки. Шея Нирыбы была стянута оборванной петлей, сделанной, по-видимому, из шнурков кроссовок.

Женя освободил шею от петли, обнажив глубокую темноватую борозду, и, пытаясь нащупать пульс, крикнул:

— Беги, скажи дежурной сестре. Хотя — нет, я сам. Он все равно уже холодный. Тут уже искусственное дыхание не поможет.

Все больные палаты были уже на ногах и толпились у двери туалета, так что Жене пришлось сквозь них пробираться. Все молчали, пока Философ не сказал:

— Отмучался, бедный...

— Да, отмучился... — повторил Художник.

— Все маму звал: «Мама, мама, зачем ты со мной так!».

— Ну, так она же свято верила Маргарите Васильевне, что ему требуется именно такое радикальное лечение! — возмущенно проговорил Художник.

— Неужели этой гадине все сойдет с рук? — сказал Философ. — Я имею в виду Маргариту.

— Как это ни печально, но сойдет, — сказал Художник.

— Мы не должны позволить, чтобы сошло с рук, — сказал Озобоченный.

— Тебе-то что? Ты его не любил, — заметил Художник.

— Просто меня его нытье раздражало. Но теперь — совсем другое дело. Смерти он не заслуживал.

— Да, — сказал Художник. — Хоть и был урод, но смерти не заслуживал.

Вспыхнул свет ламп дневного света, и в палату в сопровождении медсестры, санитары Жени и еще двух дюжих санитаров, кативших носилки на колесиках, вошел молодой врач. Он, с помощью санитаров, перевернул тело на спину, пощупал лоб, заглянул в глаза, затем осмотрел пальцы рук и, наконец, констатировал:

— Типичная асфиксия. Тут и специалистом не нужно быть.

— А откуда такая вонь? — поморщился один из санитаров.

— Он обкакался, да еще и обмочился, наверное, — сказал врач. — При асфиксии такое бывает: Судя по всему, точно, конечно, не скажу, но он уже часа три как умер. В морге точнее скажут. Я психиатр, а не патологоанатом. Ну, забирайте его.

Когда Женя закрыл за траурной процессией дверь и тоже ушел, Озабоченный повторил:

— Нет, не заслуживал он этого, — и добавил: — Мы не можем позволить, чтобы это сошло ей с рук.

— А что ты сделаешь? — спросил Философ. — Устроишь ради него голодовку?

— А это мысль... — сказал Озабоченный.

— Глупая затея! — поморщился Художник. — Нас будут вылавливать по одному и кормить через зонд.

— Ты не прав, Художник. Если забаррикадироваться, то не выловят, — возразил Озабоченный.

— Нет, разумнее попробовать написать коллективную жалобу главврачу. Может быть, ее хотя бы уволят, — сказал Художник.

— Ее судить надо, — сказал Философ.

— Судить ее, положим, не будут. Потому что дураки-то мы, а не она дура, а вот уволить могут, — сказал Художник.

— Не уволят! — воскликнул Озабоченный. — Ни за что не уволят!

— Почему ты так уверен? — спросил Художник.

— Как фамилия Маргариты? — спросил в ответ Озабоченный.

— Резниченко.

— А как фамилия главврача?

— Не знаю.

— А надо знать. Тоже Резниченко.

— Так они что, родственники? — спросил Художник.

— Она его мать.

— Тогда придется нам смириться, — сказал Художник.

— Не обязательно, — возразил Философ. — Можно позвонить в Отдел Ропота, объяснить все подробно, рассказать, почему мы объявили голодовку, и Отдел Ропота может раздуть такой скандал! Они заботятся о простаках.

— Ну, положим, это не забота, а показуха, но шансы есть, — согласился Художник.

— А без голодовки нельзя? — как-то жалобно спросил Гороховый Суп.

— Без голодовки скандала не будет, — сказал Художник.

— А долго будем голодать? — спросил Гороховый Суп.

— До победного конца! — сказал Художник.

— Не бойся, Гороховый Суп, — усмехнулся Философ. — Человек может спокойно прожить без пищи месяц. А ты, как толстый, и

два проживешь. Это нам тяжело придется. Где толстый сохнет, худой сдохнет. Ну, кто еще боится голодать? Говорите сразу! — он обвел всех глазами.

— Надо держаться, — сказал Озабоченный. — Иначе с любым из нас может такое случиться. Даже с тем, у кого врач Сергей Викторович.

— Да, Сергей Викторович хоть и хороший человек, а против Маргариты не пойдет, — сказал Художник.

— Ну что, будем держаться? — гнул свою линию Озабоченный. Послышалась разногласица:

— Да, будем... Придется... Да, ничего не поделаешь, ведь с каждым может такое случиться.

— А все ли выдержат? — спросил Художник.

— А знаешь, как говорил Наполеон? Вяжемся в драку, а там видно будет! — сказал Озабоченный.

Давид Давидович, все это время молча сидевший на своей кровати, вдруг вскочил, и энергично размахивая над головой сжатыми в кулаки руками, закричал:

— Вот это по-нашему, товарищи пролетарии! Сплоченность — это по-нашему! «Нам ли растекаться слезной лужею?» На баррикады, товарищи декабристы, на баррикады!

— Почему декабристы? — спросил Художник.

— Ну как же, как же! Сейчас же декабрь месяц!

ГЛАВА 39

Игорь с Людой сидели за столиком и попивали из бокалов. Перед ними стояли бутылка шампанского, ваза с апельсинами и лежала коробка шоколадных конфет.

— Поспешила ты замуж, Люда, поспешила, — горько говорил Игорь.

— Возраст, Игорь. Мне как-никак тридцать три года.

— Это не возраст, — возразил Игорь.

— Ну — не знаю... Хотелось семейного уюта. Детей...

— А он-то, твой, хоть хороший человек?

— Хороший, Игорь. Только скучно мне с ним. Хочется чего-то другого, откровенно говоря. Но разве одна я такая шлюха? Семейная жизнь либо скучна, либо несчастна. Несчастлива, когда разлюбили тебя, а скучна, когда разлюбила ты или когда безразличие взаимно.

— Так брось его.

— Он меня любит. Будет, не дай бог, мучиться.

— А ты не мучаешься с ним?

— Нет. Хоть и любви нет, а не мучаюсь. Во всяком случае, он не пьет. Да и то: если даже и любишь, то годика через три вся любовь, если ее не подпитывает ревность, куда-то улетучивается. Так

что же? Искать новую любовь или, что разумнее, постараться стать друг другу другом, раз любовь все равно улетучивается.

— У меня к тебе не улетучилась.

— Это потому, что мы не живем вместе.

— Ты думаешь?

— Я уверена. Такие уж мы, люди...

Зазвонил телефон, и Игорь взял трубку.

— Алло, — сказал он.

— Здравствуй, Игорь! Это я, Герда! Зайти к тебе хочу. Помнишь, ты говорил, что ты не делец, но знаешь одного дельца?

— Помню.

— Так вот: мне нужен твой делец. Можно к тебе зайти?

— Заходи. Номер квартиры ты помнишь?

— Помню.

— Заходи.

— Кто это звонил? — спросила Люда.

— Так, одна знакомая. Герда.

— Имя редкое. Уж не наша ли официантка?

— Какая еще официантка?

— Такая темноволосая и синеглазая, и без макияжа?

— Насчет макияжа не скажу, но да, темноволосая и синеглазая.

— Ей лет двадцать пять на вид?

— Вроде.

— Точно, наша Герда. Может, мне уйти? Она же знает, что я замужем. И тут вдруг наедине с мужчиной.

— Что? Доложит твоему мужу?

— Нет, конечно. Но я веду себя так же, как вела себя Анастасия по отношению к Ивану. Осуждала ее, а сама...

— А с чего она вдруг возьмет, что мы любовники?

— Это же ясно.

— Вовсе не ясно.

Раздался звонок в дверь.

— Быстро же она, — сказал Игорь и пошел открывать.

— Я так быстро, — входя, говорила Герда, — потому что была неподалеку, я по мобильному звонила. Так как насчет дельца?

— Хорошо. Я прям сейчас и позвоню ему. Только не ты, а я должен картошку покупать. Чужим Мотя не поверит. Только чего мы стоим в прихожей? Иди в комнату.

Герда прошла и, увидев Люду, в удивлении остановилась.

— Ты? — сказала она.

— Я, — сказала Люда. — Не ожидала? Да ты садись, бери конфеты. Если хочешь, шампанского с нами выпей.

— Нет. Ты же знаешь, что я не пью спиртного. Я после него плохо сплю.

— Ну, бокал шампанского не повредит.

- Нет.
- Ну, так мне звонить? — спросил Игорь.
- Звони.
- Тогда помолчите, — Игорь набрал номер. — Мотя? Это ты?
- Я, — слышалось в трубке.
- Я насчет картошки звоню. Как там, можно?
- Попробуем.
- Сколько будет стоить?
- Две тысячи евро.
- У тебя есть две тысячи евро? — спросил Игорь Герду.
- Найдется, — ответила она.
- Так когда можно приехать?
- Завтра. Часиков в десять.
- Хорошо, — сказал Игорь и положил трубку.
- О чем это вы там темните? — спросила Люда.
- Тебе лучше не знать. Меньше знаешь — крепче спишь, — сказал Игорь
- Отлично! — обрадовалась Герда. — С картошкой мы решили. Как поживает Сергей?
- Серый-то? Не знаю. Он — вор. Подлец он. Я теперь понял, что некому было, кроме него, у меня деньги украсть. И он, такой подлец, тебе нужен?
- И он мне нужен.
- Тогда ты по адресу. Он сказал, что полжизни отдал бы, чтобы переспать с тобой.
- Это делу не помеха, — сказала Герда.

ГЛАВА 40

Иван сидел у подоконника, на котором стояла початая бутылка коньяка и рюмка, и глядел в вечернее окно.

— Вот и поверил я, что бог есть. Невозможно было не поверить. Так что ж? Стало легче? Определенно легче. Так почему же мне по-прежнему нравится звать смерть?

Зову я смерть. Мне видеть неverteпех
Достоинство, что просит подаянье,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье...

На несколько секунд он замолчал, потом продолжил:

И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо...

Нам не жить друг без друга. Хотя, ты, конечно, без меня проживешь, а вот я без тебя... Нет, не покончу самоубийством, конечно. Я вечен, а потому это не решит проблемы, но снова затоскую. Да, женщина, красивая женщина, страшно приятное, но и страшно коварное животное.

— Что ты там бормочешь, Горацио? — из другой комнаты спросила Анастасия, в одном нижнем белье роясь в книжный полках.

— Я думаю! — крикнул Иван и добавил шепотом: — Опять какой-то Горацио... Вот уже три месяца какой-то Горацио.

— Ты лучше не думай, тебе сейчас вредно думать! — подходя к дверному проему, говорила Анастасия. — У тебя сейчас мысли набекрень после пары рюмашек. Мне вот тоже бывает тоскливо, но я же не заливаю тоску коньяком? Я стараюсь развеселить себя или отвлечься естественным образом. Может, если б заливала, у меня тоже все мысли были набекрень.

— Не преувеличивай, я выпил всего две рюмки. Я человек с тормозами. И потом, что здесь набекрень? Разве не правда, что женщина очень приятное, но и очень коварное животное?

— Мужчины тоже бывают очень приятными, но и очень коварными животными, — сказала Анастасия и снова ушла в соседнюю комнату.

— Я со своей мужской колокольни смотрю. Мне мужчина в сексуальном плане ничем не угрожает, потому что он мне в этом плане неприятное животное. А женщина — очень приятное животное. Как кошка. И надо, чтобы она всегда оставалась просто приятным животным. Просто кошкой. Сдерживать себя надо. Ну погладил раз, другой — и отойди от беды подальше. Так нет же, начинаешь ее целовать, обнимать. И поначалу вроде ничего страшного, но потом... Попробуй потом отвяжись. Наркотик, очень тяжелый наркотик. Тяжелее героина. Поэтому женщин надо запретить.

— Что ты там опять запрещаешь? — крикнула Анастасия.

— Я говорю, что ты, Анастасия — очень тяжелый наркотик, и что тебя надо запретить.

— Громче говори, я не слышу!

— Я говорю: «Зову я смерть»!

— Если ты не перестанешь это повторять, тебе не нужно будет кончать жизнь самоубийством. Я тебя сама убью.

— Интересно, почему, когда я понимаю, что другому тоже тошно, мне становится легче? Означает ли это, что я мерзавец, каких свет не видел, потому что получается, что я желаю людям зла. Но ведь из зла, говорят, выходит добро. Больше, говорят, ему неоткуда выходить?

Анастасия снова вышла из соседней комнаты.

— Да где же наш Кандинский? — спросила она.

— Не смущай меня, — сказал Иван.

— В каком смысле?

— В смысле нижнего белья. Оденься.

Анастасия стала надевать халат.

— Ты вспомни, Ваня, — говорила она. — Может, это ты его куда-то заныкал?

— А зачем он тебе?

— Для разговоров с умными людьми.

Она снова пошла к книжным полкам, громко говоря:

— Хотя ты и называешь клубящихся мужчин бездельниками, а женщин проститутками, не все там бездельники и проститутки, встречаются умные, читающие люди. Забредают. Надо же как-то поддерживать разговор или пыль в глаза пустить. Тебе не пустишь, ты меня знаешь как облупленную. Ах, вот он! Я думала, что это «Сальвадор Дали» стоит, а это «Кандинский».

Она вышла из комнаты, села с книгой на диван и спросила:

— Тебе нравится Кандинский?

— Я этих абстракционистов боюсь как огня. Я их не понимаю. Это тебе хорошо, ты умная. Вот только как-то странно ты умная. У тебя как будто две головы: одна для разговоров с Кандинскими, а другая — с Танями да Манями, с этим их: «Ой, какие симпатичные рюшечки! Ой, какие миленькие кармашки! Ой, какие оригинальные кнопочки!». Удаться от таких разговоров хочется.

— Ты ничего такого никогда не сделаешь, ты просто, как и Шекспир, нытик. Ну? Признайся себе, что ты нытик.

— Я нытик, — согласился Иван. — Но почему Шекспиру можно нуть, а мне нельзя?

— Потому что Шекспир ныл гениально и всегда о чем-то новом. А ты талдычишь все время одно и то же. Я твое «зову я смерть» слышу чуть ли не каждый день. Смени пластинку!

— Согласен, сменю. Тогда вот о чем. Ты никогда не думала, что мы неправильно живем, потому что мы к тридцати четырем годам не успели ни посадить дерево, ни построить дом, ни завести сына или дочь? Если интеллект передается от матери, то ребенок у нас родится нормальный, двухголовый.

— Я не собираюсь рожать будущего гомосексуалиста, мне это противно.

— И что же, по-твоему, наш сын обязательно родится гомосексуалистом?

— Ты посмотри на банер, который висит на главной площади страны!

— А что там висит, что-то не припомню...

— Двое целующихся мужчин и надпись: «Мы любим друг друга, а вы?».

— Такое, если ребенок родится с нормальной ориентацией, на него не действует.

— А если действует?

— Я бы смирился с этим. А впрочем — уже поздно. Зову я смерть.

— Между прочим, этот сонет запрещен.

— Но ведь уже позволено роптать?

— Но не бунтовать. Потому-то шестьдесят шестой сонет и запрещен. Своей моралью он угрожает нашим ничтожествам в роскошных одеяниях, называющихся хитропупыми. Разве ты сам не чувствуешь?

— Я не чувствую.

Иван включил радио, по которому передавали:

— Оглашаем очередной список возможных врагов Великого Гетмана Брехунца: Леонид Мережко, Петр Наливайченко, Семен Подопригора, Максим Оговоренный. Упомянутым особам следует немедленно явиться в ближайшее отделение Службы Безопасности для проверки на детекторе лжи.

— Сволочи! — выругался Иван и выключил радио.

— Нам бы с тобой поменьше болтать надо, чтобы не очутиться в подобном списке.

— Говорят, уже позволено роптать, — сказал Иван.

— Лучше не роптать.

— Можно и пороптать. У нас есть деньги на взятку.

— Не так много осталось, — сказала Анастасия.

— Но двадцать пять тысяч-то найдется?

— Больше найдется. Но все равно лучше поменьше молоть языком.

Анастасия посмотрела на часы, отложила книгу, подошла к платяному шкафу и стала перебирать одежду на плечиках.

— Как ты думаешь, это не пошло, надевать розовую юбку под розовый велосипед?

— Розовый велосипед — уже пошлость. А юбка... Я бы вообще запретил женщинам носить короткие юбки, чтобы не смущать мужчин. И просто красота губительна, а такая — тем более.

— А в чем ходить? — все-таки надевая юбку, спросила Анастасия.

— Зимой в ватных штанах и кирзовых сапогах, а летом в рабочих брюках и галошах с портянками. Магомеда на вас нет.

— О Боже! С каким дремучим динозавром я живу!

— Вот были бы у тебя уродливые ноги, чтобы мужчины смотрели на них с отвращением, тогда — да, тогда носи на здоровье такие ноги.

— Нет. Под розовый велосипед будет пошлогато, — произнесла Анастасия, глядя в зеркало. — Буду как обыкновенная простачка. — Все равно я настроена оптимистично, — снимая юбку, продолжила она. — Китайцы говорят, что если достаточно долго сидеть на берегу реки, сможешь увидеть труп проплывающего врага. Не бывает вечных режимов. Конечно, хорошо бы было, если бы режим

рухнул уже сегодня или завтра. Но даже если он рухнет через двести, триста, тысячу лет, все равно — это прекрасно!

— После того, как наши косточки давно сгниют? Ты издеваешься?

— Я просто пытаюсь тебя и себя подбодрить.

— Но звучит как издевательство. Через тысячу лет, когда наши косточки сгниют, — это издевательство. Ты как Чехов. Ненавижу его! Повеситься хочется, когда его читаешь! У него тоже все хорошее только через тысячу лет.

— Тебе с твоей депрессией давно пора к психиатру.

— Моя депрессия неизлечима, потому что она не органическая, не моя химия. У моей депрессии есть почва. Помнишь, как в «Гамлете»? «А на какой же почве? — Да на нашей, датской».

Анастасия подошла с синим платьем к зеркалу.

— А может синее надеть? Синяя ночь, синее платье. Нет, что-то я не то говорю. Это — поэзия. Ей нельзя руководствоваться, потому что жизнь — это всегда проза.

Она вынула из шкафа черное платье.

— Кажется, подойдет. Как ты думаешь?

— Подойдет, только не надевай позолоченный крестик на цепочке. Надень лучше что-нибудь серебряное. Золото — это пошло.

— С чем-нибудь серебряным я буду похожа на гота. Нет, надену что-нибудь позолоченное.

Надев платье, она нашла в шкатулке позолоченную цепочку с крестиком, надела ее и снова подошла к зеркалу.

— Интересно, куда это ты на ночь глядя?

— Вроде ты не знаешь, что я пишу о ночной жизни города!

— Мне просто интересно, кто такой Горацио.

— Горацио — миллионер и пока владелец половины ночных клубов города. Вот кто такой Горацио.

— Почему пока?

— Потому что он хочет их продать.

Она чуть повернулась к зеркалу, чтобы оглядеть себя сзади, потом снова вернула прежнюю позу и, довольно улыбнувшись, спросила:

— Ну как? Я красивая?

Иван тяжело вздохнул и сказал:

— К сожалению, удивительно красивая...

— Ну что ж, пойду тогда спасать мир.

Она подошла к входной двери, обернулась, сказала: «закрой за мной» и добавила:

— Да, Ваня. Прими душ и надень чистое белье. Я постель сменяла.

— Душ? Горячая вода — это же так дорого...

— На чистоте не экономят.

— Я, может быть, не хочу тебя с себя смывать...

— Это поэзия, а жизнь — это всегда проза. Прими душ, а когда ляжешь спать, держи руки на одеяле.

— Как это пошло. Сказала бы лучше: не скучай без меня.

— «Держи руки на одеяле» и «не скучай без меня» — это одно и то же.

ГЛАВА 41

Надежда ужинала, когда раздался звонок в дверь. В глазок был виден лысый бородатый мужчина в модных затемненных очках. В одной руке у него был букет белых роз, в другой — скрипичный футляр.

— Здравствуйте, Наденька! — сказал он. — Вот, цветы вам принес.

Он протянул букет.

— Ой! — воскликнула Надежда. — Я вас, Лекрыс, не узнала! Эта борода и очки. Борода вам так идет! И лысину не скрываете. Нет, вам так намного лучше! Прямо мачо. Давайте цветы. Да вы проходите, проходите!

Она посторонилась, и Лекрыс вошел.

— Как ваша бессонница поживает? Не мучает?

— Пришлось все же к психиатру обратиться за транквилизатором. Помогло.

— Рада за вас. Да вы в комнату проходите, а то — присоединяйтесь ко мне ужинать. Жареную картошку любите?

— Спасибо, Наденька. Только не беспокойтесь, я ужинал.

— Тогда я сделаю вам кофе. Вы растворимый пьете?

— Нет, ничего не надо. Вы, пожалуйста, не спешите мне угождать. Вы ужинайте, ужинайте на здоровье. А я пока так посижу. Я вот, — он оглядел комнату, — глянцевого журналы посмотрю.

— Они старые. Я уже давно их не покупаю. А не выбрасываю потому, что все собираюсь делать коллажи. Я раньше делала. Это так увлекает! Это почти творчество!

Надежда ушла на кухню, а Лекрыс, положив на журнальный столик футляр со скрипкой, прошелся по комнате и остановился у фотографии на одной из книжных полок. На фотографии была улыбающаяся Надежда в баскетбольной форме и с мячом в руках. Рядом лицом вниз лежала еще одна рамка с фотографией. Лекрыс поднял ее. На ней Иван обнимал Надежду за талию, оба при этом смеялись. По всему видно было, что в момент фотографирования их кто-то здорово рассмешил. Иван хоть и был немало роста, но здесь он казался ниже Надежды сантиметра на три. Послышались шаги, и Лекрыс поспешно вернул фотографию в прежнее положение.

— Вы, я вижу по футляру, сыграть что-то хотите? — спросила Надежда, поставила на столик цветы в вазе и села на диван.

— Да, Наденька. Только вы не беспокойтесь, я уже неплохо играю, не как раньше, я научился, — вынимая скрипку из футляра, говорил Лекрыс. — Правда, правда. Вы сейчас удостоверитесь.

Лекрыс как следует уюстил скрипку на плече и проиграл мелодию.

— Чье это такое трогательное? — спросила Надежда.

— Мое, — сказал Лекрыс.

— Вы — молодец, замечательная мелодия, и вы ее так чисто вывели.

— Я теперь играю чисто.

— Я когда слушала, мне подумалось, что на эту мелодию могут лечь такие стихи. Вот послушайте, — она запела:

Кажутся порой, в небе над тобой
Черными, как боль, тучи.
Тучи — это ложь, просто будет дождь.
После дождика всегда лучше.

— Ну давайте же, вступайте!

Не врачует боль даже алкоголь.
Попусту не гробь печень!
Лучше песнь спой, и забудешь боль,
Песня добрая всегда лечит.

Они приноровились друг к другу, и последний куплет прозвучал уже вполне слажено:

Больно, ну и пусть, плодотворна грусть,
Не кляни свою долю.
Тот не человек, не был им вовек,
Если не был никогда болен.

— По-моему — хорошо у нас получилось! — весело сказала Надежда.

— По-моему, тоже. Вот только неправда это.

— Что неправда? — спросила Надежда.

— Что грусть плодотворна. Это радость плодотворна. А, впрочем, — не знаю, я не творец. Я среднестатистический ноль без палочки. Я, как и подавляющее большинство людей, — червяк.

— Люди — не червяки.

— Может быть, но только в свободной стране.

— В тоталитарном государстве тоже можно не быть червяком. Если есть стремление совершенствовать душу — вы уже не червяк. А вы — совершенствуете, стремитесь стать лучше. Я знаю, вы не верите в бога, но, по-моему, богу все равно, верующий вы или не-

верующий. Лишь бы человек был хороший. А вы стремитесь быть хорошим. Кормите собачек, кошечек. Играете на скрипке.

— Но я не Иван, во мне нет никаких талантов. А что мелодию эту сочинил, так это в кои-то веки. Это случайно. С профессиональными композиторами я конкурировать не смогу.

— У нас профессиональные композиторы бывают и без таланта.

— Это верно. Но у них есть основное: музыкальное образование и умение себя продать. Нет, путь на эстраду мне заказан.

— Мне не совсем понятны ваши переживания по этому поводу, потому что вы врач, вы по-настоящему VIP, *вери импотент пёсен*. Вы очень, очень важная персона, если, конечно, вы хороший врач.

— Свою работу я делаю добросовестно. Я вообще очень добросовестный и терпеливый человек.

— Тогда вы должны быть уже этим довольны.

— Доволен? Да, доволен. Но счастлив ли? Нет. Конечно, удовольствие от хорошо сделанной работы есть. Но счастья нет.

— А разве человек рожден для счастья? Для жизни, а там как получится.

— Нет, все гораздо хуже, Наденька. Большинство людей рождено для пустоты, которую они заполняют суетой. Правда, эту суету они называют жизнью, но, по-моему, полноценной жизнью эту суету можно назвать только с большой натяжкой. Хотя, конечно, счастье и без творчества бывает. И мне иногда кажется, что я тоже могу быть счастлив. Помните легенду про рай, что я вам рассказывал? Помните?

— Помню. Грустна эта легенда.

— И все-таки там есть одна привлекательная мысль, которую сразу-то и не разглядишь.

— Какая же? Жизнь — это поиски потерянного рая? — спросила Надежда.

— И это тоже, но еще то, что они отправились искать новый рай вдвоем. Не поодиночке, заметьте, а вдвоем. Вдвоем легче его найти.

— Сартр сказал, что ад — это другие.

— Но кто-то не менее мудрый сказал, что ад — это когда других нет, — сказал Лекрыс.

— Одна глубокая истина против другой глубокой истины. В какую верить?

— В ту, что ко времени и ближе к сердцу, — сказал Лекрыс.

— Сердце переменчиво.

— Может быть, и ваше сердце ко мне переменялось? Вы спросили, как у меня со сном... Вы вспоминали меня?

— Вспоминала...

— И какой я был в воспоминаниях, не жалкий?

— Грустный вы были.

— А сейчас?

— Да и сейчас вы немного грустный. Но вы так внешне преобразились... Борода, модные очки, современная одежда... Туфли, смотрю, блестят от крема.

— У меня они и тогда блестели.

— Да? Я не заметила.

— Это потому, что я был вам не интересен как мужчина. Пустым местом я был для вас. Нет, что-то я далеко зашел, сказав, что был. И есть.

— Неправильно вы думаете. Мне нравится, что вы кошечек, собачек подкармливаете. У вас добрая душа.

— За добрую душу не любят.

— Вернее сказать, что подавляющее большинство в добрую душу не влюбляются, — поправила Надежда, — но любить, после того как появилась симпатия, — любят. Особенно на фоне других достоинств.

— Других достоинств у меня нет.

— Почему же нет? Вы теперь симпатичный.

— А давайте тогда, раз уж я стал симпатичным, назначим с вами встречу. По науке через четыре дня. Через неделю будет поздно. Мой образ мачо может припасть серой и скучной будничной пылью. Как вам такое предложение? По сердцу?

— Скорее, по душе.

— Так вы согласны?

— Вы позвоните мне прежде...

— Как бы вы ни решили, я все равно буду вас любить, Надя.

— Ну зачем вы так... Нельзя так...

— Да я знаю, что нельзя так сразу. Но я не тот человек, чтоб играть. Такой уж я. Это, конечно, плохо...

— Да. Искренность — палка о двух концах... Но вы позвоните...

ГЛАВА 42

— Вот, Горацио. Это и есть мой дом, — глядя из Мерседеса, сказала Анастасия щегольски одетому среднего роста brunetu. — А вон те два окна от угла на предпоследнем этаже — моя квартира.

— А бывший муж не приходит?

— Не придет. Он в Конотоп к родителям уехал. Это дня на три. Ну? Пошли, если хочешь?

— Пошли, помогу тебе любимый вещи нести. Только бери самый любимый.

Они вошли в подъезд, подошли к размаляванным и поцарапанным дверям лифта, и Анастасия нажала на кнопку вызова.

— Какие вы вандалы! — брезгливо оглядываясь вокруг, сказал Горацио.

— Это от бедности. Вандализм — он ведь от бедности и беспросветности.

— Нет, не от бедности, от невежества.

— Нет, все же от бедности, — возразила Анастасия. — У хитропурых не так.

Подожел лифт. Оба вошли в размалеванную и поцарапанную кабину лифта, которую Горацио оглядел все с той же безгливостью.

— От бедности и беспросветности, — повторила Анастасия, нажимая на кнопку. — Все это от бедности и беспросветности. Но бывает и хуже.

— Да, в Африке, — сказал Горацио.

— У вас разве такого не бывает? — спросила Анастасия.

— Бывает, но мало-мало, — ответил Горацио.

— А с языком у меня в Риме проблем не будет?

— Ты же знать английский, поэтому не будет. У нас все знать английский. А итальянский потом выучить.

— Ты знаешь, Горацио, мне иногда кажется, что все это мне только снится, просто не верится, что я скоро буду жить в Италии. Это такая древняя культура! Мы, по сравнению с вами, — дики. Только что с деревьев слезли, по сравнению с вами.

Лифт остановился, они вышли и подошли к дверям квартиры.

— У вас даже номера на двери нет, — заметил Горацио.

— Я же тебе говорила, что мой Иван очень ленивый, — открывая ключом дверь, сказала Анастасия.

— Не говори «мой». Ты же с ним не спать?

— Не сплю. Он на этом диване спит, а я в спальне на кровати.

— Тесновато у вас, — оглядывая комнату, сказал Горацио.

Заскрежетал замок, и через мгновение в квартиру вошел Иван. При виде Горацио его глаза расширились от удивления, но он быстро нашелся и сказал:

— Здравствуйте.

— Ты почему не в Конотопе? — спросила Анастасия, пряча глаза.

— Решил, что лучше сходить к психиатру, — сказал Иван и несколько невежливо добавил:

— Кто это?

— Я — Горацио. Вам обо мне Настя должна была рассказывать. Разве не рассказывать хоть мало-мало на кого она решила жениться.

— Видимо так мало-мало рассказывала, что я и не упомяну.

— Я — Горацио Лох, — полностью представился Горацио и поклонился. — Я, собственно, помочь вещи забрать. Вот я зачем.

Иван молча подошел к окну, стал смотреть в него, а потом, повернув голову, произнес:

Зачем ты здесь, Горацио, я знаю.
Пришел ты, верно, сообщить, что Клавдий будет жить,
И будут жить бедняги Розенкранцы,
И Гильденстерны тоже будут жить.
Смешно, Горацио, для Гамлета не ново,
У Гильденстерна есть коза, у Клавдия — корова.
Протянут как-нибудь.
А Розенкранц... Он был здесь и сказал мне «До свидания».
Я полагаю, Розенкранц уже не в Дании.
И ты езжай, тебя здесь Теодор научит пьянству.

— Ты хоть при Горацио не придуривайся, — сказала Анастасия.

— Между прочим — это стихи, а стихи — это всегда святое. А что по поводу Лохы — это вы зря. Зря вы так о себе уничижительно. Вы далеко не лох. Лох тут я. Поздравляю.

— И вас с наступающим вас праздником! — сказал Горацио.

— С каким?

— С Днем рождения Первый Великий Гетман.

— Спасибо, только лучше бы он не родился.

— Ну — ропщите, ропщите. Роптать позволено. Может быть, как у вас принят, выпить по рюмке за знакомство?

— Выпить? Да, пожалуй, надо выпить.

Иван вынул из мини-бара коньяк, три стакана и налил каждому понемногу.

— За вас, Горацио.

— Почему именно за меня? Давайте выпить за здоровье Первый Великий Гетман? У него же день рождения?

— И все же законы гостеприимства велят выпить за вас.

Иван выпил свою порцию. Горацио же с Анастасией только пригубили.

— Я первым у нее был, — сказал Иван, наливая второй стакан. Горацио понимающе кивнул, а Анастасия усмехнулась.

— Это после меня уже рота солдат повалила.

— Да что ты мелешь! — закричала Анастасия.

— Ну, насчет роты — это я хватил, но двое солдат действительно были.

— Да что ты несешь! — вскричала Анастасия.

— Судя по всему, он говорить правда, — сказал Горацио. — Продолжайте про солдат.

— Про солдат ничего сказать не могу, не знаю. Скажу про себя. Выписала мне она антидепрессант какой-то, а также прописала бег трусцой и контрастный душ.

— Дошло до тебя, Горацио? Это же он про психиатра говорил!

— А-а-а! — протянул Горацио.

— Ты будешь пить таблетки?

— Мне таблетки не помогут. Я из тех, кому нужна результирующая идея. Раз уж я пишу такое, что без купюр нельзя напечатать, то нужна другая результирующая идея, которая оправдывала бы мое существование.

— Всем нужна результирующая идея, — заметила Анастасия. — И все могут ее осуществить, если сумеют правильно выбирать цели и следовать им.

— Я уже выбрал. Убить Великого Гетмана, — сказал Иван, снова наливая коньяк.

— Тише! Тише! — в один голос закричали Анастасия и Горацио.

— Не бойтесь. Уже позволено роптать, — опрокинув свой стакан, сказал Иван.

— Это — не ропот! — сказал Горацио. — Это — бунт!

— Да не бойтесь вы!

— Как же не бояться? — повышенным тоном заговорил Горацио. — Стены могут иметь прослушивания! Если так, то вы нас подставлять!

— Да шучу я, шучу! — с улыбочкой проговорил Иван. — Ну как я, по-вашему, убью гетмана? Где я — и где гетман, — он замолчал, потом добавил: — Хотя, может быть, я и не прав. Может быть, гетман совсем неплохой человек. Он не виноват. Просто его погубило властолюбие. Как там Шекспир писал?

Тот, кто достиг пределов высшей власти,
Опасен тем, что властолюбие губит
Сердечность в нем.

Его пожалуй надо, гетмана. Ведь он, бедняжка, себя губит. И, может быть, даже страдает от этого, мучается, не спит ночами, все плачет. Уже подушка мокрая от слез, хоть выжимай, а он, бедный, все плачет и плачет. Поэтому я и не прав. Разве люди бывают правыми? — Он поднялся и подошел к окну. — Вот снег идет — он прав. Не идет снег? — он все равно прав. Звезды высыпали — они правы. Не высыпали — все равно правы. С человеком же все куда сложнее...

С улицы послышался вой сирены.

Горацио бросился в прихожую, схватил пальто Анастасии, помог ей одеться, а затем поспешно оделся сам. Входная дверь хлопнулась.

Иван снова сел за журнальный столик, снова налил, снова выпил, а потом подошел к окну.

Люди бежали в подъезд, в бомбоубежище, но, тем не менее, какая-то женщина спокойно качала в коляске ребенка, а неподалеку старушка палкой перебирала мусор в мусорном контейнере, в котором искали поживу еще и кошка с собакой.

— Ты смотри! — сказал Иван. — Удивительно! Кошка и собака, а несколько друг дружку не бояться и не дерутся! Даже старушка не дерется, а ведь у нее палка есть! И древним, библейским повеляло: «И сказал Господь: сотворим человека по образу и подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Хорошо-то как, а тошно. «Какая-то в державе датской гниль».

Он вернулся к журнальному столику, занес было руку, чтобы взять бутылку, но другой рукой как бы убрал занесенную руку и лег на диван.

По часам на стене прошел час, когда в комнату вошла Анастасия.

— Меня очень сейчас интересует один вопрос. Ты с кем будешь? Со мной, с лохом? Или с Горацио? Или сразу с обоими? Это негигиенично.

— Я тебе не говорила, потому что жалела тебя.

— А теперь не жалеешь?

— И теперь жалею, но себя жалею больше. Я за кое-какими вещами пришла. Горацио внизу меня ждет, в Мерседесе.

— Даже так?

— Как есть. Я же говорила, что он миллионер.

— Очень рад за тебя.

— Ты прости меня, Ваня, но ты нытик.

— Но ведь не только из-за этого ты уходишь?

— Не только, но и из-за этого тоже.

— По правде сказать, я понимаю, что я нытик. По правде сказать, так я сам себе говорю сейчас: так тебе и надо!

— Ты будешь принимать антидепрессант?

— А тебя это волнует?

— Волнует.

— Это почему же?

— Не каменное у меня сердце, Иван. Как не хорохорься, а, клянусь своим велосипедом, не каменное...

ГЛАВА 43

Погода 31 декабря выдалась не зимняя. Вовсю светило и грело солнце, с крыш капало, оседал на газонах снег, покрытый влажной грязноватой коркой, а ледок на тротуарах почти везде растаял.

Иван сидел на площади Первого Великого Гетмана на скамейке под табличкой «Для тоски» и курил сигарету. Рядом сел неопрятный и помятый мужчина с бутылкой пива в руке и спросил:

— Закурить не будет?

Иван молча вытащил пачку и протянул мужчине.

— Благодарю, — сказал тот, выудил из пачки сигарету и добавил:

— И спички.

Иван поднес ему горящую зажигалку.

В это время подошла и села рядом с Иваном толстенькая женщина, одетая по моде, ушедшей в небытие лет тридцать назад. У женщины на сапогах развязался шнурок, и она, поставив ногу на скамейку, принялась его завязывать, бормоча при этом:

— Говорила мне мама: не надевай сапоги со шнуровкой, надей мои. А я ей: со шнуровкой хочу, со шнуровкой! Вот и мучайся теперь со своей шнуровкой! Вот и получай теперь свою шнуровку! Со шнуровкой хочу, со шнуровкой!

Иван поднялся, выбросил сигарету в урну и снова сел на прежнее место.

— А сигаретой, красавчик, не угостишь?

Иван протянул ей пачку.

— Погодка так и шепчет: займи да выпей! — вытащив из пачки сигарету, сказала женщина и добавила, обращаясь к Ивану: — Я правильно говорю?

Иван пожал плечами.

На скамейку села еще одна молодая женщина. Стройная, черноглазая, лет тридцати пяти, с ярким макияжем, с фиолетовыми волосами, довольно вычурно одетая и с гитарой.

— Тебе с этим парнем ничего не светит, — сказала она хрипловатым голосом. — Клянусь своим велосипедом!

— Подумаешь! Я и не собиралась!

— Она не виновата, что какие-то сволочи такие шнурки выпускают, что все время развязываются, — невпопад сказал мужчина. — Не понимают они, что, может быть, своими шнурками жизнь чью-то гробят. Нет в них сердца. А с другой стороны, что такое развязанный шнурок? Подумаешь! Шнурок развязался! Опрятность — не главное. Главное, чтобы у человека было сердце!

— Сразу видно, что у тебя есть сердце, — сказала толстушка.

— Мне, может, когда я тебя увидел, сразу же перестало тосковать, до того захотелось завязать тебе шнурок.

— У тебя большое сердце! — сказала толстушка и добавила: — А четвертак у тебя найдется?

— Займем! Погодка так и шепчет: займи да выпей!

— Тогда пойдем отсюда, они скучные.

Оба поднялись и пошли, продолжая переговариваться друг с другом с какой-то особенной, присущей только алкоголикам в предвкушении выпивки, радостью.

— И смех, и грех! — сказала фиолетововолосая, глядя им вслед.

— Смех сквозь слезы, — поддержал ее Иван.

Какая-то дородная женщина с полиэтиленовыми пакетами в руках, не заметив еще кое-где сохранившуюся наледь, поскользнулась и, охнув, упала. Из пакета выкатились два апельсина прямо под ноги к фиолетововолосой. Та подняла их, подошла к женщине и сказала:

— Вот, возьмите.

— Спасибо за помощь, возьмите один себе, — сказала женщина и пошла, прихрамывая.

— Спасибо, — сказала фиолетововолосая и, посмотрев ей вслед, села на скамейку.

— Дают — бери, — высказала она народную мудрость и принялась чистить апельсин. — Мне ее, конечно, жаль, с одной стороны, а с другой стороны — сама виновата, потому что уж больно спешит. Муж, дети, все такое. В общем — квочка. А квочка она и есть квочка. Тоска!

— Вам к психотерапевту надо, — сказал Иван.

— А кому не надо к психотерапевту? Всем, абсолютно всем надо к психотерапевту, потому что все мы больны смертью, разве не так? — она, грустно вздохнув, протянула Ивану половину очищенного апельсина. Иван взял.

Зазвучал гимн:

Широка Угодия родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно любит человек.

— Вы почему не встаете? — спросил Иван. — Не боитесь?

— Не боюсь.

— Тогда и я не встану. Кстати, меня Иваном зовут.

— Ну так иди, раз зовут. Шучу!

Гимн закончился, и тут как из-под земли явился полицейский.

— Возрадуемся! — сказал он.

— Возрадуемся! — сказала фиолетововолосая.

— Возрадуемся, — сказал Иван.

— Любите ли вы гетмана? — спросил полицейский.

— Воистину, гетмана. Воистину, гетмана! — по очереди сказали Иван и фиолетововолосая.

— Почему же не встали?

— Заговорились, простите! — извинилась фиолетововолосая.

— «Простите» в карман не положишь.

— Сколько? — спросил Иван.

— Четвертак.

Иван вынул из кармана бумажник и протянул полицейскому двадцать пять евро.

— Двадцать пять с человека, — сказал полицейский.

Иван протянул ему еще одну такую же бумажку.

— Честь имею! — сказал тот, козырнул и ушел.

— И это у них называется честь! — возмутилась фиолетововолосая. — А тебе спасибо, выручил. А я так и не представилась. Меня Александрой зовут.

— Вот и иди, раз зовут, — сказал Иван.

В лице Александры промелькнула растерянность.

— Ты серьезно? — спросила она.

— Да нет, пошутил. Ты пошутила, и я пошутил.

— Это хорошо, что ты только пошутил, потому что ты симпатичный.

— Спасибо за комплимент, — сказал Иван.

— А почему бы нам, не в честь гетмана, конечно, а в честь Нового года не устроить себе праздник? Чтобы стихи хорошие, музыка тихая, свечи, полумрак...

— Новый год уже сегодня, — сказал Иван.

— Так и что? Не успеем что ли? Ты где живешь?

— Здесь. Рядом. На улице Самой Светлой Надежды.

— А я на улице Самых Зеленых Штанов. Смешная у меня улица. Хорошо, что когда-то улицы переименовали, чтоб туристов привлечь. Как в других городах людям, наверное, хочется жить на улице Самых Зеленых Штанов или на улице Самой Светлой Надежды, а живут они на какой-нибудь Заводской или Эскаваторной. Нет, не живут. Только ждут, что будут жить. На таких улицах нельзя жить, а можно только ждать, что будешь жить. Тоска!

— И так и так тоска, — сказал Иван.

— И так и так тоска, — согласилась Александра. — Потому что и я не живу. Я тоже все время жду, что буду жить. Нет, ты симпатичный. Наверное, уже живу.

Она достала из кармана плоскую бутылочку, открыла крышечку и протянула бутылочку Ивану.

— Бальзам на раны.

Иван отпил и сказал:

— Да он крепкий...

— Но ничего?

— На вкус ничего.

— Ты не думай, я только иногда.

— Я и не думаю. Я сам только иногда. Иногда, правда, бывает, что чаще, чем иногда, — он протянул ей назад бутылочку.

— Каламбуришь?

— Разве это каламбур?

— А что это?

— Не знаю что, просто предложение, не каламбур. Каламбур это:

Вы, щенки! За мной ступайте!

Будет вам по калачу,

Да смотрите. Не болтайте,

А не то поколочу.

Вот это — каламбур.

— А ты образованный! Люблю образованных! Правда, наплакалась я в свое время от одного образованного... Разошлась... Но с другой стороны, разве можно меня, свободную женщину, сравнить со всеми этими квочками? Тоска!

— И так и так тоска.

— И так и так тоска, — согласилась Александра. — Но моя тоска высокая. Тоска одинокого человека всегда выше по качеству. Это, если хочешь, качественная, плодотворная тоска. Такая тоска как поэзия, как музыка. Может быть, самое важное происходит с человеком, когда он тоскует. Когда его тоска так туго натянута, что аж звенит. «Звенит высокая тоска, не объяснимая словами». Помнишь?

— Помню, — сказал Иван.

— А молодые уже, наверное, и не знают, что была такая песня. Мне их жаль.

— Другие знают, не хуже прошлых.

— Но и не лучше.

— Но и не лучше. Новей только. Новизна — вот что в первую очередь нужно молодости. И мы были такими же.

Иван чуть подался вперед. У памятника Первому Великому Гетману появились Лекрыс с Надеждой. Лекрыс вынул скрипку, сделал проигрыш, а потом Надежда запела. Запела чисто и звонко. Иван вспомнил прошлое. У нее был такой же чистый и звонкий голос, как и в прошлом.

Кажутся порой, в небе над тобой
Черными, как боль, тучи.
Тучи — это ложь, просто будет дождь,
После дождика всегда лучше.

Сыграв песню, Лекрыс снова положил скрипку в футляр, Надежда взяла Лекрыса под руку, и они ушли.

— Мерзавец! — сказала вдруг Александра.

— Кто?

— А скрипач! Футляр не подставил для денег. У меня из-за такого же скрипача психоз был. Лет девятьсот назад играл на этом самом месте, но футляр тоже никогда не подставлял.

Иван посмотрел на Александру с недоумением.

— А что ты так смотришь? Просто гордый был. Во фраке был. При бабочке. Паганини играл, Шуберта, Моцарта. Теперь эти имена почти никто не помнит. Теперь они только в кроссвордах. Теперь другие великие: Поплавский, Пенкин, Боря Моисеев, Шура. Так этот скрипач лет двести назад прям тут же, за игрой и умер. А что ты с таким удивлением на меня смотришь? Ничто не вечно. Наверное, именно из-за этой не вечности людям и приходится иногда черт знает чем согревать себе душу. Согреешь душу? — она снова протянула бутылочку.

— Спасибо, но не надо. Я коньяк предпочитаю.

— Да ты, видно, богат! Но не отвлекайся, я тебе про этого скрипача не все рассказала. Так меня из-за него кошмары мучили. Как будто стоит, играет, а футляр не подставил. Люди бросают ему деньги, а деньги эти куда-то катятся, катятся, закатываются куда-то за тридевять земель, а меня это страшно мучает. «Скажите ему, пусть футляр подставит! — кричу. — Ну скажите же, люди! Да люди вы али нелюди!» А люди от меня шарахаются. И я понимаю, что делаю что-то не так, а сдержаться не могу, все бегаю и кричу: «Да люди вы али нелюди! Скажите ему, что б футляр подставил!». А что ты на меня так странно смотришь?

— Ты сказала: «девятьсот лет назад», А потом «двести лет назад» в твоём присутствии умер.

— Я же про кошмары говорю! Что кошмары замучили! В кошмарах это! — она на мгновение замолчала, потом продолжила: — Мне часто кажется, что люди на меня как-то не так смотрят. Ну и пусть. Внутреннее важнее внешнего. Во мне, конечно, куча недостатков, и взбалмошная я, но зато честная. Все говорю как на духу. Как на духу скажу тебе, что у тебя печаль в глазах. К тебе бы ни одна приличная женщина не подошла бы. Женщины боятся печали. А я твою печаль ценю. У тебя печаль высокая. Печаль от мудрости. «Много мудрости — много печали», как говорил Экклезиаст, — она помолчала. — А он вчера приходил, извинялся. «Прости, — говорит, — Александра, был во многом не прав». Выгнала.

— Экклезиаста?

— А с тобой легко! Ты мудрый.

— Не мудрый. Когда-то думал покончить жизнь самоубийством. Это — не мудро.

— Ты прав. Жить надо. Даже в горе. Гомо сапиенс вышел из горя. А я знаю, что такое горе. Однажды приснилось, что балзам кончился. Задрожала все в поту холодном. А время — три часа ночи. Бегу сломя голову в дежурную аптеку, смотрю, а в переходе стоит Эйнштейн и на скрипочке своей пилит. Я поздоровалась — и бегу дальше. А он: «Александра! У тебя в сумочке куча денег, пожертвуй безработному физику!». А я ему: «Нашел время деньги зарабатывать! В три часа ночи в подземном переходе!». А он мне: «Любое время и любое пространство — это либо потерянные, либо заработанные деньги». А я ему: «Это что, теория относительности такая? Тоже мне физик нашлся!». А он мне: «Да сама ты физик после этого!». А я ему: «А ты еврей!». А он мне: «Да ты сама еврейка!». А я ему: «А ты поэт!». А он мне: «Да сама ты поэтесса!». — «А ты ученый!» — «Да ты сама ученый!». Долго, долго мы орали друг другу гадости. Но тут в пере-

ход трамвай въезжает. Без рельсов, без проводов. Но зато на лбу у него, у трамвая, бегущая строка была: «В Европу, в Европу, в Европу». Ну я и села, дура.

— Ну и чем кончилось? — спросил Иван.

— Без трусов вышла. Вот тебе и Европа. Так и поплелась голая. Руками лицо прикрыла, чтобы не узнали, и поплелась. Ревела, как корова.

— Н о ведь это только сон? — сказал Иван.

— Разве? Разве не обнищали мы с этой хваленой Европой? Нет, надоела я тебе, наверное, со своими кошмарами. Давай я лучше тебе спою. Я ведь пою.

Она вытащила из чехла гитару, чуть ее подстроила и запела:

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И как с небес добывший крови сокол,
Спускалось солнце на руку к тебе.

Но время шло, и старилось, и глохло,
И поволокой рамы серебра,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября...

Она замолчала, потом спросила:

— Я не старая?

— Ты только усталая. И глаза печальные.

— Это не комплимент, не вранье?

— Нет, я — правду. Я стараюсь, чтобы без обмана, — Иван помолчал, потом сказал: — «Но время шло, и старилось, и глохло». Красиво. Почему?

— Секрет утерян. Вымерли знающие такие секреты или уехали в золотые города под голубым небом. Я бы тоже уехала в какой-нибудь золотой город под голубым небом, если бы были деньги. Но с другой стороны, можно ведь и не уезжать? Можно замкнуться и сотворить себе маленький уютный мирок даже в глуши, в скиту, в Конотопе. Хорошо там, тихо. Купим дом с огородом, свиней будем разводить, картошку выращивать, а по вечерам стихи друг другу читать и думать о вечном. Тогда и скит или Конотоп будет тем же, что и золотой город под голубым небом. Может быть, движения и не должны быть передвижениями. Движения должны быть внутри тебя. Душа должна трудиться, а не метаться, как это так часто бывает, — она помолчала и добавила: — А он вчера приходил, извинялся. «Прости, говорит, Александра, но новая, счастливая жизнь будет только через тысячу лет». Выгнала.

— Чехова?

— А с тобою легко! Ну что? Пойдем, зажжем свечи? «Свеча горела на столе, свеча горела»...

ГЛАВА 44

— По-видимому, мы ошиблись, — сидя на кровати свесивши голову, грустно сказал Художник.

— Да, — согласился Озабоченный. — Голодовка — это уже не ропот. Голодовка — это уже бунт.

— Теперь, по прошествии, можно сказать, что в нашем рабском положении это была глупая идея. Не продумали мы ее до конца, — продолжал Художник.

— А кто предложил голодовку? Какой идиот? — повысил голос Озабоченный. — Ах, да! Художник и предложил, сволочь!

— Сохраняйте спокойствие, товарищи декабристы! — призвал к порядку Давид Давидович. — Эти империалистические прихвостни только рады будут посеять раздор в наших рядах!

— Зря ты, Озабоченный, на Художника взъелся, — сказал Философ. — Мы все виноваты. Мне сдается, что все мы как-то вместе воодушевились. Вопрос теперь не кто виноват, а что делать. Ведь заколют же...

— Терпи, товарищ декабрист! — все с тем же воодушевлением произнес Давид Давидович. — Пусть даже мы погибнем, мы погибнем не зря! Декабристы разбудили Герцена, и мы, их потомки, сегодняшние декабристы, тоже кого-нибудь разбудим!

— Не разбудим. Давид Давидыч. О декабристах знала вся Россия, а о нас никто так и не узнает, — грустно произнес Художник.

— Эй! Голодающие! — раздался старческий голос Маргариты Васильевны из-за забаррикадированной кроватями двери. — Тут ваши родственники под дверью собрались. Послушайте, что они скажут!

— Виталик, а, Виталик! — жалобным голосом проговорили за дверью. — Ты меня слышишь?

— Слышу! — отозвался Гороховый Суп.

— Послушайся маму, брось дуришь. Я ведь знаю тебя, ты ведь добрый мальчик был, все к врачу ходил, все докладывал! Чуть что случилось неправильное в палате, ты сразу же к Маргарите Васильевне, так, мол, и так. Молодец. А тут тебя словно подменили. Но я знаю, тебя подбили на это. Ты сам бы ни за что! А я, между прочим, колбасу тебе копченую принесла. Ты слышишь? Что молчишь?

— Слюнки текут.

— Ну так чего же тогда дуришь?

— Ну, у меня есть товарищи!

— Она тебе не товарищи, раз на такое тебя подбили!

— Позвольте теперь я, — послышалось за дверью. — Леня, ты меня слышишь?

— Слышу! — отозвался Леня-барабанщик.

— Я знаю, ты не виноват. Ты барабанщик, ты ноты не знаешь. Поэтому скажи своим друзьям, если их только можно назвать друзьями, пусть разбирают свою баррикаду. Вы делаете себе только хуже.

— И Маргарите Васильевне это убийство так и сойдет с рук? — спросил Художник.

— Это было лечение. Не я, между прочим, выдумала это лекарство!

— Знаем. Фашисты выдумали!

— Это ты, Ван Гог? — снова донесся голос Маргариты Васильевны. — Так это ты зачинщик? Молчишь? Ну — молчи, молчи. Я все равно вычислю, кто зачинщики.

— И будете мстить? — спросил Философ.

— Лечить буду, а не мстить. Лечить от неадекватного поведения. Потому что адекватным поведением вашу голодовку не назовешь. Но вы не врачи, вам этого не понять. Этому учиться надо.

— Да куда уж нам! — сказал Философ.

— Маргарита Васильевна, я не хотел, это все они! — крикнул Гороховый Суп. — Я адекватно себя вел.

— Знаю, знаю, милый! Ты всегда был послушным мальчиком!

— Я тоже послушный, Маргарита Васильевна! Это все они. Художник, Озабоченный и Философ! Да еще Давид Давидович! Это они нас с Гороховым Супом подбили! — закричал Леня-барабанщик.

— Вот и молодцы! А теперь не бойтесь, разбирайте вашу баррикаду и спокойненько себе обедать!

Гороховый Суп с Леней-барабанщиком ухватились за кровать, но остальные тут же воспротивились, и началась потасовка. Хотя декабристы и были в численном преимуществе, но Гороховому Супу из-за одной только его огромной массы противостоять было трудно, поэтому, если и было на стороне декабристов преимущество, то самое минимальное.

Неожиданно что-то большое и темное надвинулось на окно, закрыв собой небо, и в палате потемнело. Потасовка почти сразу прекратилась: все расширившимися от изумления глазами смотрели в окно. А изумляться было от чего. Снаружи, на расстоянии вытянутой руки от окна, колыхался блестящий новенький паровоз.

Первым пришел в себя Давид Давидович.

— Я знал, я верил! — закричал он.

— Глазам своим не верю! — воскликнул Философ. — Это же третий этаж, как же это?

— Он, скорее всего резиновый или матерчатый. Как воздушный шар или дирижабль — нашелся Озабоченный.

— Да, наверное... — согласился Философ.

— Да бросьте вы! Тут же явно металлический корпус. Дирижабль с жестким металлическим корпусом. Просто дирижабль в виде паровоза, — все разъяснил со знанием дела Художник.

В кабине летающего паровоза появилась Магдалена. — На ней было черное пальто, черное платье до щиколоток, а на голове поцерковному завязанный темный платок.

— Я за тобой, Олежка! — крикнула она в окно. — Мне голос, типа, был. Типа, возлюбленная дочь моя, не шантажируй одна Брехунца, потому что я, типа, косноязычная. Пусть вещает ему мой возлюбленный отрок. Типа, ты, Олежка. На вот ключ от окна.

Паровоз поднялся чуть выше, так что голова Магдалены оказалась на уровне открытой форточки, и Магдалена бросила в нее ключ от окна. Философ открыл окно, отворил его, шагнул в кабину и обернулся на оставшихся.

— Ну, товарищ машинист! — обиженно заговорил Давид Давидович. — Разве вы не говорили, что за всеми прилетите, а тут вдруг берете с собой только одного Философа!

— Надо их взять, Магдаленочка, — сказал Философ. — Иначе им как.

— Всех?

— Не всех. Подойдите сюда, ребята, — сказал Философ.

К окну подошли Озабоченный, Давид Давидович и Художник.

— А тот жирный? — спросила Магдалена и тут же сказала: — Жирного не возьму. Жирный в кабине не поместится.

— И не надо его брать, он предатель! Вперед, товарищи декабристы! — закричал Давид Давидович.

— Вообще-то, можете, на самом деле, типа, пройти в тендер. Только осторожно. Там всякая всячина свалена, надо, типа, разобрать.

Декабристы прошли в кабину, а затем в тендер.

— О! — воскликнул радостно Художник. — Да тут и холст есть, и краски, и кисти!

— Я же говорю, что тут, типа, всякая всячина.

— Ну что, в Небесный Хитропупинск, а, товарищ машинист? — спросил Давид Давидович.

— Нет, — сказала Магдалена. — Приземлимся где-нибудь в лесочке и будем ждать гласа божьего.

— Понимаю! Понимаю! — воскликнул Давид Давидович. — Гласа совокупности духов великих людей, живущих в ноосфере!

ГЛАВА 45

Сергей со скучающим видом лежал на диване перед телевизором и пультом переключал каналы. Раздался стук в дверь.

— Войди, — сказал Сергей.

Вошла мать, низенькая худенькая женщина лет пятидесяти, с таким же, как у сына, треугольным лицом и длинным крючковатым носом, чуть ли не достигающим верхней губы.

— Саша сегодня плакала, — сказала она. — Говорит: «Где мои яички».

— А ты ей объяснила, что у девочек не бывает яичек? — усмехнулся Сергей.

— Это не шуточки! — мать возвысила голос. — Ребенку нужны протеины, а у нас денег только на крупы и картошку, да и то не хватает. Пора бы тебе слезть с моей шеи. Работать пора.

— А что я умею? — по-прежнему глядя в телевизор и переключая каналы, сказал Сергей. — Умел бы замки вскрывать — мог бы открыть свое дело: отпирать двери потерявшим ключи. А так...

— Мог бы чернорабочим пойти, чернорабочим и с судимостью можно устроиться.

— Чернорабочий — это мелко.

— А голодать не мелко?

— И голодать мелко. Надо смотреть на жизнь философски. Жизнь любого человека — это мелочь по сравнению с необъятным космосом.

— Философ сраный! — сказала мать и вышла из комнаты.

Зазвонил телефон.

— Тебя, философ сраный! — крикнула мать. — Женский голос.

— Алло? — подойдя, сказал Сергей в трубку.

— Это я, Герда. Помнишь меня?

— Как такую красавицу забудешь! — усмехнулся Сергей. — Только зачем тебе нужен гусь?

— У меня очень серьезный разговор по поводу твоей специальности.

— На сколько кусков серьезный?

— На две тысячи евро. Устроит?

— Ну — не знаю. У меня тут нечто более денежное намечается.

— Могу добавить еще пятьсот. Больше у меня попросту нет.

— Ладно, где и когда встретимся?

— Давай в кафе «Грот». Знаешь, где это?

— На улице Самых Счастливых Людей.

— Верно. У тебя нет клаустрофобии?

— Вроде нет.

— Тогда, как войдешь в кафе, спускайся вниз, в сам грот. Там встретимся. В 19:00. Устроит?

— Сегодня второе января. Они могут не работать.

— Я узнавала. С утра они не работают, но с 18:00 уже работают. Пока.

Герда пришла чуть раньше и только успела заказать два кофе, как появился Сергей. Герда отметила, что на нем был все тот же вышедший из моды костюм и та же рубашка.

— Ну, привет, Герда, — сказал он, ухмыляясь.

Герда пододвинула ему чашку с кофе.

— А ведь дела у тебя вовсе не так хороши, как ты пытаешься представить. На тебе все тот же старый костюм. А ведь ты еще молодой, чтобы так совсем уже не следить за модой. Ну? Признайся? — сказала она.

— Ну, признаюсь, и что? Давай лучше о деле. Что нужно вскрыть, сейф?

— Нет, дверь на технический этаж.

— А зачем тебе?

— Тебе это не надо. Меньше знаешь — лучше спишь.

— Значит, это опасно?

— Опасно. Но я же плачу хорошие деньги?

— Что-то я пока не вижу никаких денег.

Герда полезла в сумочку.

— Вот, — сказала она, выкладывая на стол деньги. — Здесь тысяча пятьсот. Остальные — как сделаешь дело.

Сергей взял в руки купюры.

— Ах, денюжки! Как я люблю вас, мои денюжки! — пропел он, положил деньги в карман пиджака и добавил:

— Ну что? Затаримся и пойдем ко мне?

— Ты хочешь вот так сразу их пропить?

— Ну, не пропить, конечно. Но повеселиться не мешает. Быть может, последние сутки перед новой отсидкой живу. Пошли ко мне.

— А без меня никак?

— А вдруг я где-нибудь заведу? Тогда ищи-свищи меня завтра!

— Тебе нужна нянька?

— Нет, я не хочу, чтобы ты была мне нянькой. Я хочу нечто поинтимнее.

— У нас сугубо деловые отношения, раз я тебе плачу. Разве это не ясно?

— Ясно... Ладно, согласен на няньку. А то ведь заведу!

— А у тебя есть, где спать? Другая кровать?

— Найдется.

Герда вытащила из сумочки телефон.

— А куда ты звонишь? — спросил Сергей.

— Отцу. Скажу, чтобы не ждали меня сегодня.

— Вот это — дело! Вот это ты молодец!

Когда Сергей с Гердой, нагруженные продуктами, пришли в квартиру, дверь открыла мать Сергея.

— Вот, на, — Сергей протянул ей деньги. — Чтоб не плакалась больше, что денег нет. А где Саша? Я ей вот, — он вынул из кармана плитку шоколада, — шоколадку купил.

— Температурит что-то Сашенька.

— Врача вызывала?

— Нет. Напоила чаем с малиновым вареньем. Думаю, что не страшно. Думаю, что к утру пройдет. Ты скажи, деньги откуда?

— От верблюда. Давай свою куртку, Герда.

— Опять какая-то афера? — спросила мать.

— Не говори так, а то Герда подумает, что я аферист.

— А что тут думать, если дело ясное, что дело темное.

— Не слушай ее, Герда. Пошли в мою комнату. И попрошу нас не беспокоить.

Они прошли в комнату, довольно тесную и бедную: разложенный продавленный диван, поцарапанный журнальный столик и шкаф, продавленное кресло-кровать. Сергей принялся извлекать из пакетов продукты. На столике появились шпроты, красная икра, копченая колбаса, сыр, баночка маринованных огурцов, нарезанный батон, две бутылки горилки с перцем и бутылка шампанского.

— Неужели ты выпьешь две бутылки? — спросила Герда.

— Ты мне поможешь. Да ты присаживайся.

Герда села в кресло.

— Я не буду пить. Ты же знаешь, что я не пью. И потом у меня завтра должна быть твердой рука. Вот кофе я бы выпила.

— А зачем тебе твердая рука?

— Тебе это не надо. Меньше знаешь — крепче спишь.

— Ладно. Пойду тарелки принесу и сливочное масло. Икру вкуснее всего есть со сливочным маслом.

Сергей ушел, а Герда взяла в руку баночку с красной икрой и принялась изучать этикетку. Потом, все еще не удовлетворившись, открыла банку и понюхала. Появился Николай с тарелками и масленкой.

— Ну, шампанского ты, я надеюсь, выпьешь?

— Шампанского выпью.

— Намажь пока бутерброды, — сказал Сергей, открыл бутылку горилки, налил себе в рюмку, потом открыл шампанское, разлил по бокалам и сказал:

— Ну — за нее, за удачу! — он выпил горилку и запил шампанским.

— А ты дикарь, — сказала Герда, пригубив шампанское. — Кто же водку запивает шампанским?

— «И вкусы и запросы мои странны. Я экзотичен, мягко говоря», — сказал Сергей, зажевывая горилку бутербродом с маслом и икрой. — Знаешь такую песню? Сейчас дожую бутерброд и спою.

- Не спеши. Мне тоже подкрепиться надо. А Сашенька это кто, сестренка твоя?
- Сестренка.
- Сколько ей?
- Семь лет.
- Как и моему брату. А отец твой где? Развелись?
- Умер отец от цирроза печени. Слишком много пил. Но мне его не жаль. Бывало, напьется, и давай меня ремнем обхаживать.
- За что?
- Да ни за что.
- Разве можно так. Детей вообще бить нельзя, а тем более ни за что.
- Жизни ты не знаешь, Герда. Ну что? Споем?
- Он снял со стены гитару, чуть подстроил и запел:

Не тверди в строфах унылых:
«Жизнь есть сон пустой!» В ком спит
Дух живой, тот духом умер:
В жизни высший смысл сокрыт.

Жизнь не грезы. Жизнь есть подвиг!
И умрет не дух, а плоть.
«Прах еси и в прах вернешься», —
Не о духе рек господь.

Не печаль и не блаженство
Жизни цель: она зовет
Нас к труду, в котором бодро
Мы должны идти вперед.

Путь далек, а время мчится, —
Не теряй в нем ничего.
Помни, что биенье сердца —
Погребальный марш его.

На житейском бранном поле,
На биваке жизни будь —
Не рабом будь, а героем,
Закалившим в битвах грудь.

Не оплакивай Былого,
О грядущем не мечтай,
Действуй только в настоящем
И ему лишь доверяй!

Жизнь великих призывает
Нас к великому идти,
Чтоб в песках времен остался
След и нашего пути, —

След, что выведет, быть может,
На дорогу и других —
Заблудившихся, усталых —
И пробудит совесть в них.

Встань же смело на работу,
Отдавай все силы ей
И учись в труде упорном
Ждать прихода лучших дней!

Он положил гитару.

— А все-таки, ты замечательно поешь! — улыбаясь, сказала Герда.

— А сам я? Сам я разве не замечательный?

Он встал с дивана, подошел, присел на подлокотник кресла и одной рукой обнял Герду за плечи.

— А сам ты — гусь, — сказала Герда, убирая его руку.

— Все-таки гусь? Даже сейчас?

— Почему ты говоришь «даже»? Что такое особенное произошло, что ты говоришь «даже»?

— Когда я пел, мне показалось, что наши души так сблизились, такими родными стали...

— Тебе показалось.

— Огорчительно. Очень огорчительно. Даже больно. Ну что ж. Налью себе еще обезболивающего.

Он, вздыхая, сделал себе бутерброд с икрой, снова налил горилки, выпил и, закусывая бутербродом, пробормотал:

— Странная вещь получается. Ведь теперь, в связи со всеми этими контрацептивами, совершить половой акт — это все равно, что выпить стакан воды, а ты против. Почему?

— Потому что.

— Спасибо тебе большое. Как доходчиво и подробно ты все объяснила. Ну да ладно. Еще шампанского?

— Лучше кофе.

— Сколько сахару?

— Две ложечки.

— Хорошо.

Сергей вышел из комнаты и прошептал:

— Ну, бля, пойдем другим путем...

На кухне он поставил на огонь чайник, вынул из аптечки бутылек с таблетками, высыпал все в кофемолку, перемолот, высыпал получившуюся белую пудру в чашку, добавил ложку растворимого кофе, воды и размешал.

В кухню вошла мать.

— А что тут делает мое снотворное? — спросила она.

— Это я выставил. Искал что-нибудь от головной боли.

— Там должен быть анальгин, поищи.

— Уже.

Он вернулся в комнату и поставил перед Гердой чашку с кофе.

— Пей пока горячий, — сказал он.

Герда сделала глоток и сказала:

— Да он только теплый!

— Пей пока теплый, а я тебе пока еще спую.

Загудел над перроном прощальный гудок,
Заскрипели колесные пары,
Покидаю я вновь свой родной городок,
Ждут меня деревянные нары.

Вы стройны, вы гладки, но какая тщета:
Утончать свою душу в бараках.
Пусть помолвлен я с вами, вы мне не чета,
Я противник насильственных браков.

Я за веру, надежду, любовь. Мой кумир
Был Христос, но все вязло в тирадах.
Оттого не вписался я в ссученный мир
Демагогов и де демократов.

Загудел над перроном прощальный гудок,
Заскрипели колесные паты.
Покидай, моя плоть, мой родной городок,
Ждут тебя деревянные нары.

Ну, как тебе?

— Хуже, чем предыдущая. Сыровата.

— Ну да. Предыдущая была все-таки Генри Уодсворта Лонгфелло, а это — моя.

— Ты заставляешь меня изменять своим привычкам, — сказала Герда, ставя на столик пустую чашку. — Вообще-то я не пью чуть теплый кофе.

— С волками жить — по волчьи выть.

— Ты — волк?

— Все мы друг другу волки. Вот ты. Ты хочешь, чтобы я открыл тебе какой-то замок, но ведь это опасно?

— Опасно, — подтвердила Герда и клюнула носом.

Сергей налил себе еще горилки, выпил и стал жевать бутерброд.

— Но ты все равно подвергаешь меня этой опасности. Ну, разве ты не курва после этого?

— Что ты себе позволяешь? — уже со слипающимися глазами проговорила Герда.

— То есть, я хотел сказать не «курва», а волк. Разве ты мне не волк после этого? А раз ты мне волк, то справедливость велит, чтобы и я был тебе волком. Ну, бляха-муха, разве не так?

Видно было, что Герда борется со сном.

— Что? Засыпаешь, волчара?

— Ты мразь! — только и сказала Герда, и голова ее безвольно свесилась.

Сергей подошел к креслу и ударил Герду по щеке. Не было никакой реакции. Сергей подхватил Герду, дотащил до дивана, уложил, расстегнул молнию на ее джинсах и стал их снимать.

ГЛАВА 46

— Я подозревал, что она мне изменяет, — говорил Иван Людмиле, сидя в баре на табурете у стойки. — Пару раз назвала меня чужим иностранным именем и даже, по-моему, не заметила. Или сделала вид, что не заметила. Не знаю. Женщины, все как одна, умеют жутко как правдоподобно притворяться. Мужчине, если в лоб сказать об его измене, — он тут же себя выдаст. Взгляд отведет или глаза опустит, или как-то еще. Женщины не так.

— А, по-моему, умело притворяться могут как женщины, так и мужчины. От пола это не зависит. Артистами бывают и мужчины, и женщины, — сказала Люда и занялась клиентом.

Иван допил свой коньяк и закурил.

— Сильно переживал? — спросила Люда.

— Переживал, но ей не говорил. Ныл, правда. Каюсь, я нытик, ныл, конечно, но про измену не намекал. Разве что раз не выдержал и спросил: кто такой Горацио.

— Тебе надо было бы завести любовницу, и чтобы Анастасия об этом узнала. И при этом вести себя как ничем не связанный холостяк. Надо было, чтобы она тебя приревновала, вот тогда бы она одумалась, начала бы ревновать и забыла бы своего хахалю.

— Не одумалась бы. Тут пожирнее кусок, чем сто тысяч евро, тут миллионы.

— Неужели хитропупый?

— Нет, иностранец. Миллионер из Рима.

— Да, Хитропупинск не Рим! Мы еще по деревьям лазили, когда у них уже была великая цивилизация и культура.

— Ну ладно, Люда. Дай мне вон ту стограммовую бутылочку коньяка. Пойду за столик и выпью за упокой.

— За чей упокой?

— За свой.

— Как это?

— Позвонили мне из Службы Безопасности Сельхозугодии, сказали явиться для проверки на детекторе лжи. Но я не пройду эту проверку. Рыльце у меня в пушку. Я действительно сказал, что хочу убить гетмана.

— Говорят, можно дать взятку — и не отправят на рудники. Говорят, 25 тысяч евро.

— Аж неудобно тебе жаловаться, получается, что я тебе все время жалуюсь. Но это уже в последний раз. Обчистила меня одна девица, все деньги унесла, все 50 тысяч. Пью на ту мелочь, что в бумажнике оставалась. Эх! А сколько я тебе должен? — он полез за бумажником.

— Нисколько. Ты в таком положении, а я буду с тебя деньги брать?

— Ну да, ну да... спасибо, — сказал Иван, снова тяжело вздохнул, встал, прошел через весь зал и, миновав какую-то парочку, сел спиной к залу за самый дальний столик в углу.

— А я во сне меняю мир, — слышался позади до боли знакомый хриловатый женский голос. — Во сне ведь все можно. Это вчера меня выгнали за пьянку на рабочем месте из супермаркета, а сегодня я была императрицей Японии. А тут вдруг почему-то революция, и я сразу же стала комиссаром, потому что умела читать и писать. А потом, когда Каплан стреляла в Ленина и промахнулась, я в него не промахнулась и сразу же застрелила Каплан, чтобы на меня не подумали. А Ленин, истекая кровью, сказал: «За то, что она застрелила эту мерзавку Каплан, пусть будет моим преемником». Так у меня на руках и умер. Потом мы с Троцким задушили Сталина подушкой. Только ты не подумай, что я извергиня какая-то, я ведь только за ноги держала. Потом Троцкий убежал в Америку, но я и там его достала, я многих тогда достала, и меня, низость-то какая, тоже хотели расстрелять.

— Расстреляли? — спросили мужским пьяным голосом.

— «Но время шло, и старилось, и гложло». То есть, но время шло, и ружья заржавели.

Ивану было и грустно, и смешно одновременно. Александра была в своем репертуаре.

— А может быть, как ты думаешь, направим стопы свои в скит, в Конотоп, в Саратов? Дом купим, огород. Картошку будем сажать. Свиной разводить. Стихи друг другу читать и думать о вечном. А по вечерам: «Свеча горела на столе, свеча горела». Ты допил? Ну что, пошли?

Только они поднялись, как Иван пошел следом и, обогнав их, загорол собою проход. Александра, увидев его, сказала «привет», попыталась продолжить свой путь как ни в чем не бывало, но Иван по-прежнему стоял у нее на пути.

— Где мои деньги, Александра? — спросил он.

— Не знаю, о чем ты говоришь, — твердо сказала она.

— Мужик, — сказал мужчина. — Ты что-то путаешь.

— Ты не знаешь, она воровка, как видно, профессиональная. Где мои пятьдесят тысяч, Александра?

— В глаза не видела! — продолжала упорствовать Александра. — Миша, убери с прохода этого нахала. Это же надо?! Какая беспардонная клевета! Убери его с прохода, Миша!

Миша, небольшого роста полный мужчина, схватил Ивана за рукав. Иван попытался отцепиться, в процессе борьбы оба повалились на пол, а Александра тем временем выскочила из закуской.

— Она воровка! — кричал Иван и, понимая, что Миша не виноват, не пытался его бить, а только пытался сковать его движения. Миша же все старался изловчиться, чтобы посильнее ударить, что ему не слишком удавалось.

— Да разнимите их кто-нибудь! — закричала Люда.

Это была не полноценная увлекательная драка, а возня, и вероятно, поэтому несколько мужчин их скоро растащили. Иван сразу же выбежал из бара, взгляделся налево, направо, но Александры, как и следовало ожидать, и след простыл. Он вернулся в бар.

Мужчина, растрепанный, расстегнутый до пупка, сидел на стуле, но, увидев Ивана, снова кинулся в драку. На этот раз Иван ударил. Миша упал на спину. Иван, постояв над ним, беззлобно произнес: «Дурак ты!», подошел к зеркалу, причесался, привел в одежду в относительный порядок, после чего отправился к стойке и сел на табурет.

— Это была та девица, которая меня обчистила, — сказал он.

— Только ищи-свищи ее теперь! — сказала Люда.

— Откровенно говоря, мне не очень жаль этих денег. Какие-то они были шальные, случайные. Ты же помнишь того мецената?

— Помню. Но как бы то ни было, тебе было бы чем дать взятку.

— Это — да, это — печально. Но даже если меня расстреляют, на этой жизни жизнь еще не кончается.

— А я в бога не верю.

— А я теперь верю.

— Ну и как? Легче с верой жить?

— Немного легче. Без бога тоска, а с богом только грусть.

— Странно это, что есть грусть, когда ты бессмертен, — сказала Люда.

— Ничего странного, — сказал Иван. — И маленькие дети бывают несчастны, хотя и не знают, что их ждет смерть.

— А какой он, бог, по-твоему?

— Не знаю. Только чистые сердцем бога узрят.

— Тогда ты, Ваня, узришь.

— По-твоему, я чист сердцем?

— Во всяком случае, ты хороший человек. Ты ни на кого не держишь зла.

— Этого мало, надо еще и не делать никому зла, а только добро.

— Ну, это еще ни у кого в полной мере не получалось, — сказала Люда.

Иван посмотрел на ширму, за которой скрылась худенькая посудомойка.

— Да, давно собираюсь спросить у тебя, как там Герда? Она не сильно на меня тогда обиделась?

— Нет. После того, как ты позвонил, что к тебе вернулась жена, мы все обговорили и решили, что сердцу не прикажешь. «Чы вынна ж голубка, що голуба любыць?»

— Ну, я, положим, не голубка... — заметил Иван.

— Какая разница? От неразделенной любви и женщины, и мужчины страдают одинаково. Любой в твоём состоянии снова сошелся бы с женой. А кто была тебе Герда? Только знакомая. Ведь между вами ничего серьезного не было. Какие тут могут быть обиды.

— Не скажи, обиды все равно быть могут.

— Но не у Герды. Хоть ты ей и нравился, но она девушка умная.

— У нее есть кто-нибудь?

— Да, она встречалась. То с одним, то с другим. Но что-то не слышала, чтобы она была хоть от одного из них в восторге.

— И все-таки зря я тогда снова сошелся с Анастасией. Знал ведь, что она ненадежная жена. Но надежда на лучшее, черт ее подери, всегда остается.

— А ты позвони Герде, — сказала Люда, — ведь ты ей нравился. Ах, я забыла, что тебе в Службу Безопасности... — она помолчала, потом сказала: — А ты спокойный. Неужели тебе не страшно идти завтра в Службу Безопасности?

— Страшно. Очень страшно. Но я хорохорюсь, а когда хорохоришься, не так страшно.

ГЛАВА 47

С трудом выбравшись из тяжелого, вязкого как смола медикаментозного сна, Герда почувствовала боль внизу живота и, потянувшись туда рукой, оцепенела. Трусики на ней не было. Она встала и огляделась. Трусики и джинсы валялись на полу.

— Мразь! — выругалась Герда, одеваясь и глядя на храпящего в кресле Сергея. — Какая ты мразь!

Перед Сергеем на столике валялось содержимое ее сумочки: расческа, носовой платок, ключи от квартиры, помада, духи, револьвер и деньги. Одна бутылка горилки была пуста, другая выпита наполовину.

Герда собрала высыпанное в сумочку, посмотрела на часы, и крича: «Черт! Черт!» — стала тормозить Сергея.

— Проснись, мы опаздываем! Да проснись же!

Наконец Сергей открыл глаза и посмотрел на Герду мутным полупьяным взглядом.

— Опаздываем! — снова закричала Герда.

— Я, бля, никуда не опаздываю, — сказал Сергей, взял шампанское, стал пить из горлышка, но Герда вырвала у него бутылку.

— Ты же деньги взял! Давай, отрабатывай! — кричала Герда.

— Деньги я взял, — снова беря в руку бутылку, сказал Сергей. — Но это значит лишь то, что я, бля, восстановил справедливость. Ты, бля, хотела меня использовать, а вместо этого я использовал тебя.

— Ты что же, отказываешься вскрыть замок?

— Я не умею вскрывать замки, я пошутил.

Герда безвольно опустила на диван.

— Значит, получается, что все было зря?

Она произнесла эти слова не глядя на Сергея, со взглядом, обращенным как бы вовнутрь себя.

— Смотри на это философски, — сказал Сергей. — Жизнь — она, бля, вообще зря. Смысла в ней нет.

Герда подняла на него гневные глаза.

— Ошибаешься! — сказала она, вытащила из сумочки револьвер и навела его на Сергея. — Пристрелить такого мерзавца, как ты, — уже смысл.

— Эй! Ты, бля, не шути так! — в безнадежной попытке защититься Сергей вскинул руки.

— Мразь! — сказала Герда и выстрелила ему в голову.

Через несколько секунд в дверь постучали, и тут же на пороге появилась мать Сергея.

— Вы что тут, петарды взрывае...

Слово «взрываете» застряло у нее в горле: под дулом наведенного на нее револьвера она потеряла дар речи.

Герда некоторое время держала револьвер наведенным, но скоро опустила его.

— Вызывайте полицию, — сказала она.

ГЛАВА 48

У подъезда на скамейке, как обычно, сидела Вера Львовна и читала все ту же книгу. Подошла Полина Васильевна с метлой и совком, и присела рядом.

— Все Чеха читаете, Вера Львовна?

— Да. Как хорошо он все-таки пишет! Вот послушайте, вот, Тузенбах.

— Еврей? — подозрительно спросила Полина Васильевна.

— Нет, это не Тузенбах, это Вершинин.

— Тогда читайте.

— «А пройдет еще немного времени, каких-нибудь двести-триста лет...»

— И настанет новая счастливая жизнь и будет тебе счастье! — гневно перебила ее Полина Васильевна. — Все одно и то же! Все одно и то же! Ну, а вам-то что?! Да ваши косточки давно сгниют! Двести! Триста! Тысячу лет! Глупая вы женщина. Вера Львовна, коли нудоту такую читаете!

Она встала, отошла на несколько шагов, что-то подмела в совок, вернулась и прокричала Вере Львовне на ухо:

— Дура!

Маленькое личико Веры Львовны сморщилось, она подняла на Полину Васильевну жалобные глаза и уже готова была разреветься, но вдруг выражение ее лица переменялось: отвис подбородок, а глаза в изумлении расширились.

— Федор... — прошептала она.

— Опять залез на дерево, скотина! — привычно проговорила Полина Васильевна, обернувшись, произнесла «ах ты, скоти...», но не договорила: на дереве в петле из бельевой веревки безжизненно висело то, что было прямым потомком Фридриха Великого, при рождении получившее гордое имя Теодор.

ГЛАВА 49

И снова площадь перед дворцом, куда направлялся Заратуштра, была вся запружена народом, а из громкоговорителей над толпой звучно гудел голос Сидорова, стоящего на ступеньках дворца:

— А теперь давайте продолжим рассматривать все логически от начала бытия. Вот что говорится в библии:

— «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке; и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в тот день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Спрашивается, зачем тогда сажать древо познания? Уж не провокация ли это? Самая настоящая провокация! Так не провокатор ли господь? Самый настоящий провокатор. Так нужен ли нам такой бог? Нет, такой бог нам не нужен!

— Нет бога, кроме Сидорова! — крикнул кто-то, и толпа начала скандировать:

— Нет бога, кроме Сидорова! Нет бога, кроме Сидорова! Нет бога, кроме Сидорова!

Сидоров повелительно поднял руку, чтобы прервать скандирование.

— Пойдем дальше, — сказал он. — Бог сотворил Адама и Еву и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Но вот вопрос: как дети Адама и Евы могут плодиться и размножаться, если они родные братья и сестры? Налицо инцест, самый настоящий инцест! И если это «совокупляйтесь, братья и сестры» — слово божье, то нужен ли нам такой безнравственный бог? Нет, такой бог нам не нужен!

— Нет бога, кроме Сидорова! — снова начала скандировать толпа.

— Люди, одумайтесь! — закричал Заратуштра. — Библия — не слово божье! Библию писали люди! И зачастую невежественные люди!

Кое-кто из задних рядов обернулся.

— Да, да! Невежественные люди! — повторил Заратуштра.

— Уж не это ли пресловутый Ботиночкин? — спросил кто-то.

— Он, он! Его козлиная борода!

— Я Сапожков, — сказал несчастный Заратуштра, но толпа начала его окружать.

— Ботиночкин он, Ботиночкин! Его козлиная борода! Бей его, ребята! — крикнул кто-то, и не поздоровилось бы Заратуштре, если бы он не вознесся над толпой и не стал невидимым.

Став невидимым, Заратуштра пролетел над толпой и сквозь стекло влетел в закрытые двери дворца. Там, сразу за золотым треном, уже не виден был помост с лабораторией господина, а была стена с фреской, изображающей Сидорова, схватившего бога за бороду.

Пролетев сквозь эту стену и очутившись в лаборатории, Заратуштра снова застал господина за электронным микроскопом.

— А, это ты... — сказал господин, мельком глянув на него. — Ну, что нового?

— Как вы можете быть таким спокойным? Вы что, не знаете, что какой-то Сидоров организовал бунт?

— Знаю, конечно. Но, понимаешь ли... Что-то скучно жить стало в раю. Давно уже мне хотелось какого-то бурления, чтобы страсти так и кипели, так и кипели. Надоело мне, что все тишь да гладь да божья благодать. «Кубок жизни был бы сладок до приторности, если бы не падало в него несколько горьких слез», — сказал Пифагор, и я с ним согласен. И ты бы, если бы не проводил большую часть времени на земле, истосковался бы в раю, в этом болоте счастья. Так что пусть этот Сидоров потешится. Ты мне лучше скажи, как там Иван и Герда? Неужели их обоих посадили в тюрьму?

— Нет, Иван на следующее утро нашел деньги на взятку в коробке с гречневой крупой, куда сам же их по пьянке и спрятал. А Герду суд оправдал.

— Рад это слышать. А как ты думаешь, они будут вместе?

— Как же не быть. Будут они не разлей вода, будут жить долго и счастливо и умрут в один день.

— Спасибо тебе, Заратуштра. После этих твоих слов так хорошо стало на душе, так тепло.

— «Умрут в один день» — это тепло?

— Тепло, Заратуштра, тепло... Печально, но тепло.

ЭПИЛОГ

Над подернутой кроваво-красным ледком зловонной рекой на высоте примерно пятидесяти метров в воздухе парил паровоз. Под паровозом висело полотнище с нарисованным на белом фоне оранжевым круглым пятном, под которым было написано: «Восходящее солнце. Супрематист Максименко-Малевич». Под тендером тоже висело полотнище с надписью огромными буквами: «Брехунец, сойди с трона по-хорошему!». На набережной толпились люди и обсуждали все эти невероятные явления. По поводу кроваво-красной зловонной реки было высказано мнение, что лед окрасили какие-то водоросли. Было также сказано, что «нет, это не так, это с какого-то химического предприятия отходы слили, сволочи!» По поводу же паровоза большинство сходилось на том, что это такой формы дирижабль. Правда, кто-то сказал, что «никакой это не дирижабль, а настоящий паровоз. А летает он потому, что наконец-то ученые придумали антигравитационный аппарат. Не наши, конечно. Западные. У нас его просто испытывают». Через некоторое время снова было многократно произнесено слово «сволочи». Но на этот раз, кто сволочи и почему сволочи — так и осталось неизвестным. Неизвестным осталось также и то, что люди думают по поводу реющих под паровозом таких смелых, бунтарских полотнищ. Правда, кто-то начал было восторженно: «А посмотрите, какие они смелые! Ну, совершенно не боятся роптать!» Но: «Тише, тише!» — зашикали на него. «Почему? Разве уже не позволено роптать?» — «Да разве это ропот? — возразили ему. — Это уже бунт. На урановые рудники захотели?».

Мимо проходила, судя по выражению лица, крайне захлопотанная мама с мальчиком лет шести.

— Мама, мама! Посмотри! Там — летающий паровоз! — закричал мальчик.

— Я видела, — сквозь зубы процедила захлопотанная мама.

— Да не видела ты, не видела! Ты в другую сторону смотрела!

— А я говорю: видела!

— А я говорю: не видела. Летающий паровоз ты не видела!

— Не показывай пальцем, кому говорю! Ну, погоди! Вот придем домой, я тебе все пальцы поотбиваю! Обещала купить тебе свистульку, а теперь вместо свистульки все пальцы поотбиваю! Выбери, что тебе больше нравится?

- Мне летающий паровоз нравится!
- Ах, так? Опять показываешь пальцем? Вот тебе, вот!
- Больно!
- Больше не будешь?
- Больше не буду. А свистульку купишь?
- Куплю.
- А водяной пистолетик?
- Куплю.
- А вертолетик с моторчиком?
- Все, хватит! Твой папа не миллионер. Ты думаешь, мне не хотелось бы всё-превсё купить?
- Мама, а ведь так не бывает... — мальчик как будто задумался. — А раз так не бывает — значит это чудо. А раз это чудо, значит это сделал бог...
- Бога нет, — грустно сказала мама. — Вот такая беда, сынок. Свистульки есть, водяные пистолетики есть, даже вертолетики с моторчиками есть, а бога — нет.
- А Деда Мороза тоже нет?
- И Деда Мороза нет.
- И вправду, тоска...

P. S.

Дорогой приятель! Тебе, конечно, интересно, как сложилась наша с Прессией жизнь. Рассказываю: поначалу было тяжело. Да, мой роман напечатали, но разве заработаешь много денег книгами в этом мире гаджетов? Особенно тяжело пришлось после того, как у нас с Прессией родились двойняшки, мальчик и девочка. Мальчик — весь в меня, черненький, а девочка — вся в Прессию, беленькая. Мальчика мы называли Прессом, а девочку Прессой. Я, правда, устроился на вторую работу, так что оставалось время только на сон, но денег все равно не хватало. Но потом как-то мы посидели-посидели, покумекали-покумекали — и решили продать нашего Пегаса. Все равно он дурака валяет. Поместили объявление в Интернет, и — о чудо! Мы и не думали, что найдется столько желающих приобрести летающего коня в этом мире самолетов, вертолетов и дельтапланов. Решили устроить аукцион. Победил султан Брунея. Не будем называть сумму, за которую он купил нашего Пегаса, а то вас зависть загрызет. Скажем только, что мы купили роскошный загородный дом, пентхаус в районе метро Печерская, кучу престижных автомобилей, а также огромный Боинг, оборудованный внутри под роскошную многокомнатную квартиру. Я, набив руку, стал писать новые романы, а Прессия, помимо воспитания детей, организовала фонд под названием ВПУЖ. То есть: Веганы Против Убийства Животных. Кроме того, мы наняли детям няню-англичанку и четырех гувернанток: французенку, немку,

испанку и китайку. Теперь наши дети уже лопочут сразу на пяти языках. Правда, иногда путают слова, все-таки пять языков сразу. Но специалисты говорят, что это с возрастом пройдет. Кроме того, наши дети очень умны: в четыре года они умеют читать, писать и считать, а также часто поражают нас с Прессией своей рассудительностью. И теперь мы за будущее наших малыша и малышки почти спокойны. А что еще надо для счастья?

Одно огорчает. По ночам я часто просыпаюсь от тихого плача. Это плачет Прессия. Удивительно, ведь Прессия — это полная противоположность Депрессии, как же она может плакать? Я спросил ее об этом, и она ответила, что ее плач — это мечта об автомобиле «Ситроен» выпуска пятидесятих годов.

— Так в чем же проблема, — сказал я ей, — мы вполне можем позволить себе еще и «Ситроен» выпуска пятидесятих годов.

— И что тогда? — возразила она. — Тогда я лишусь мечты.

— Да, дилемма... — согласился я.

Быть может, я порадовал тебя, приятель, этой маленькой ложечкой горечи в огромной бочке моего меда. Но, может быть, и огорчил. Тогда — прости. *Нам не дано предугадать...*

Михаил ОКУНЬ

/ Аален /



* * *

Они придут, чужие люди,
И жить по-новому велят, —
По частоте и амплитуде
Не отличаясь от телят.

Отнимут всё, что было мило,
Пугнут угрозой извне,
И ты окажешься, терпила,
В говне...

* * *

Не называй родными именами
Те вещи, что любили мы,
Которые уже не с нами...
Распался их привычный круг —
Ушли, чужими стали вдруг.

ПРЕДГРОЗОВОЕ

Темнеет грозою долина,
Сокрылся во тьме перевал...
Исполни — хотя бы для сына —
Всё то, что Ты наобещал.

От бури в мерцающем свете
Не спрятаться нам никуда.
Но дай мне поверить, что эти
Дела Твои — не навсегда!

* * *

Все умирали, умирали,
и вот осталось их лишь двое —
из тех, которые знавали
семидесятилетнего изгоя
в его беззломном детстве —
двоюродная сестра
по линии матери,
по линии отца —
двоюродный брат.
Обоим за восемьдесят.
Время утрат.

* * *

Увы, «наследья» не останется,
Как от маститых эмигрантов.
На кафедрах не рвал я задницу,
Стипендий не алкал и грантов,
Не бронзовел на нудных сборищах
Вершителей литературы,
И, к счастью, избежал позорища,
Не ставши «деятелем культуры».

* * *

Завотделом толстого журнала,
поэтесса Юлия Мандрыч,
патриоткою-ура внезапно стала,
и один весьма почтенный хрыч,
но пиит до боли неизвестный,
ей прислал новейшие стихи,
где изобличает повсеместно
противороссийские грехи.

День придет, и лучшие поэты —
Вертухайцев, Усиков, Бидя,
Говорун, Мордаунт, Пересветов —
выйдут, не таясь, на площадь,
и прочтут стихи, и мы восплачем,
осознав, что заблуждались зря...
Только так, мой друг, а не иначе,
воссияет новая заря!

* * *

Что в том, что никто нас не любит,
Что сырость и мрак за окном? —
Ведь жизнь нас отнюдь не погубит
Ни водкой, ни крепким вином.

Иной в этом видит проблему,
А не на бессмертие шанс.
Лет тридцать муссирует тему
Упорный прозаик Рекшанс.

Но лишь посвященные знают:
Иллюзия — наша сестра!
И в облачный купол взлетают
Не помня, что было вчера...

* * *

Как после многодневной пьянки,
Очухавшись среди тяжких дней,
Звучит «Прощание славянки»
Над бедной родиной моей.

Другие времена и лица,
Автобусы, военкомат...
Не верилось, что повторится —
Вокзал, теплушки, крепкий мат.

И, оказавшись под лавиной
Огня, спроси себя хоть тут, —
В степях далёкой Украины
Как очутился ты, якут?



Олег СЛЕПЫНИН

/ Черкассы /

СНЕГ¹

(Черкасское княжество)

Космический роман

Ибо снегу Он говорит: будь на земле!

Иов 37:6

ЧАСТЬ I. Февраль и бывшее

1. Сквозь снежинку

— Ура. Ура. Ура, — тихо и размеренно проговорил Иван, глядя в ночное окно, за которым вспыхивал и гас фонарь, и вдруг опять повалил снег, закрашивая жёлтым снежинки, вылетающие к его глазам из тени.

Снежинки липли к стеклу, сползали. Правда ли, что каждая неповторима, как сетчатка глаза, как отпечаток пальца? Он завалился в постель, укрылся до носа. Синий экран монитора с цифрами и картинками ещё пару минут светился, и пока светился экран, не засыпал и он, по инерции пребывая в затухающих ощущениях своей страстной жизни. Соображения были с оттенком настоящего счастья: в вычислениях всё сошлось, «Маска» — точно не только лишь «Маска»; ну и название новому астероиду придумалось при остром взгляде в окно. И ещё промелькнуло в нём предощущение появления в его жизни женщины, что, собственно, и наложило на всё радостный отпечаток.

Выключился монитор, уснул и он.

Человек во многом несуразный — Иван Кириллович Глебушон, научный сотрудник Черкасского университета — потерял покой и мало спал с того момента, как вник в тему «астероид Mask».

¹ Журнальный вариант.

Отчего-то, — скорее всего как предчувствие, — его чрезвычайно взволновало известие о небесном страннике, который лет сто никак не напоминал о себе. На старом фотоснимке астероид действительно походил на трагическую театральную маску с неким подобием опущенной горькой улыбки и двумя кратерными провалами глаз. Современные фото сняты были несколько в ином ракурсе, горькая улыбка почти пропала, глаз угадывался лишь один, зато появился «нос» — как бы картошкой, но мутный. Метаморфозу объясняли: в поясе астероидов *Mask* столкнулся, как часто и бывает, в неизвестном месте в неизвестное время с неизвестным собратом, вот он и трансформировался. Помимо прочего, в чате «Коперника» резонно было замечено, что этот *Mask* (один южноафриканец об этом писал) — не тот старый *Mask*, потому что у него после столкновения с неизвестным братом траектория бы непременно изменилась.

Много чего высказывалось.

Частёхонько в мировых информационных эфирах возникают сообщения вроде: «На нас несётся астероид, второе длиннее синего кита!», «К Земле приближается 400-метровая гора...», «Астероид 2022JE1 потенциально опасен...». Интерес к подобным сообщениям пропадает сразу после уточнения, что каменная гора (кит) пролетит на удалении от Земли в десятки и сотни тысяч километров, а то и миллионов! Случалось и обратное. Интерес возникал, когда об астероиде становилось известно после того, как он пролетал в опасной близости от Земли. «Ух, ты! — поражались. — Прозевали звездочёты!».

На чате «Коперника» минимальное сближение с «Маской» оценивалось в 70 миллионов километров; никакой опасности каменный странник не представлял. При этом по неведомой причине интерес к «Маске» проявили не только серьёзные учёные, но и любители, непонятный интерес: «Маску» полюбили.

У астероида был свой порядковый номер и какое-то официальное название из списка малоизвестных древнегреческих богинь, но закрепилось именно это — *Mask*, которое первооткрыватель когда-то и внёс в графу «временное название» при сообщении об открытии.

Озарение на Глебушона снизошло днём, в минуту внезапного восторга от взгляда в окно, когда сквозь солнечные лучи вдруг медленно начал падать снег. Одна снежинка дивной хрустальной красоты прилипла к стеклу. Он глянул в неё и сквозь неё, глаз приблизив. Словно б душу резануло! Безо всяких лишних отглаголиванний Глебушон тут же занырнул через свой компьютер в расчёты, проверяя догадку, и завершил дело уже ночью. Выявился факт: на фоне известного астероида и как бы параллельно ему,

но на огромном удалении, пребывает другой астероид, много меньших размеров, причём визуально так плотно сливаясь с «Маской», что и параллакс не очевиден.

Пребывает неприметно на фоне «Маски», как полосатая пчела на цветке одуванчика, как снежинка в сугробе, как убийца в тени куста... Последнее сравнение точно отражало суть дела: неведомый астероид незамеченным почти вплотную подкрался к Земле. Публикуя расчёты и оформляя заявку на регистрацию открытия, в графу «временное название» Иван вписал: Sneg — латиницей русское слово, как дань острому впечатлению, которое и подстегнуло вдохновение, наделив на миг даром прозрения: снег. Хотя правильнее б было — «снежинка».

«...прошлогодного снега не выпросишь, говорят, — это не только о жадном *типе*, но и о малоценности снега. Нет ничего более ненадёжного, чем сложная красота снежинки. Но и всё таково — мимолётно, в свой час растают как снег — и детские сны и классные книги, и сплетённые руки, и звёзды; всё сгорит... А может, и не всё. Может, случается среди прочего всего нечто несгораемое, снег золотой», — в лёгком бреду зимнего сна думал он.

2. Коллоквиум в замке Banff

Когда на сетчатке закрытых глаз Ивана ещё удерживался свет мерцающего экрана, на другой стороне Земли, в Северной Америке, в Скалистых горах парка Banff сиял день. На заснеженной террасе отеля-замка, глыбящегося пятнадцатью своим этажами над ледяным озером, встретились два человека. С некоторой заминкой Снежана и Ричард узнали друг друга, а узнав, с разной степенью смущённости обрадовались. Помнили в детстве: занятый дядечка в малиновом берете катал их отряд по тихой мутной реке в лодке с гребцами. А вечером у костра, — из которого в небо убегали по извилистым тропинкам горящие искры, — рассказывал ужасные истории. Одна история была по потерявшуюся девочку с синим ногтём, который её бабушка увидела в купленном на рынке пирожке, надкусила, а внутри синий ноготь!

Потом виделись ещё раз, уже подростками, на юбилее баронессы Виктории Вестринг; тогда, повзрослев, немного стесняясь друг друга, повздорили. Рич точно помнил, что в *десятилетнем детстве* они катались в лодке в Италии, а Снежана — ещё «точнее точного» — в Испании. Поссорились так, что Рич сказал «дура упрямая», и она заплакала. Увалень подросток Рич оказался джентльменом, сумел извиниться, преподнёс юной Снежане белый цветок лилии на очень длинном стебле. Вытерев слёзы, она, сделав книксен, приняла.

Теперь встретились в третий раз почти двадцатипятилетними. За хрупкими плечами Снежаны в недавнем прошлом, как он слышал, была какая-то совершенно неприятная и скандальная свадьба и скорый развод. У неуклюжего, но упрямого Ричарда, как она знала, и свадьба была тихой и развод: денег и ума у него хватило откупиться от шума в прессе, не то, что ей. А женился он, как она слышала, из упрямства на какой-то случайной горничной, ух, дурень!

Они приехали в Банф каждый сам по себе, приняв приглашение некоей организации «Альтернативный коллоквиум Штёрта». Формат и его содержательная часть, как заверили, были эксклюзивны и разработаны именно для людей из их круга. Именно для отобранной группы людей с особым складом мышления.

Ричард полагал, что слух об эксклюзивности запущен, чтобы задранная стоимость мероприятия выглядела поубедительней. А в то, что при отборе проводился какой-то закрытый конкурс, не верил. Приглашительные билеты доставлены были курьерами — ей в Ливерпуль, ему — в Сан-Франциско.

Поселившись в отеле, знакомясь заново, они вместе поужинали и, выпив вина, отправились на крышу. Рич сказал, что хотел бы взглянуть на шахматный клуб, который, как он слышал, находится *где-то в одной из башен*. Шахматный клуб из башни переехал, и они его не нашли, зато попали в маленький бар, откуда открылся вид, как из кабины вертолёт, на вечерние горы и длинное заснеженное озеро.

Он спросил, долго ли она добиралась из Англии. Она не ответила. Он решил, что она не расслышала, переспросил. Она сморщила нос, посмотрела так, что теперь понял: неинтересно ей говорить о вздоре, о котором все говорят; стало как-то неловко.

Она показала на луч солнца, прорезавший из-за горы белое озеро. Он не понял, спросил:

— Что?

— Красиво, — сказала она. — Розовая полоска на снегу.

— Полоска? Что именно в этом красивого?

Она опять очень мило сморщила нос, не ответила, поняла, он её подзуживает.

— Я слышал, ты искусствоведческий курс в Оксфорде прослушала?

— Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, — проговорила она. — Ещё в русском колледже училась, здесь, в Америке.

У неё было сложно организованное и очень странное лицо, про которое можно сказать лишь то, что оно привлекательно. На

улице мимо не пройдёшь. Впрочем, и в детстве она именно этим ему понравилась.

— Вот научи меня, — попросил он. — Полоска солнца на снегу, ты сказала. Объясни, с какой стати работы какого-нибудь Марка Ротко стоят десятки миллионов? Я бы такое, как он, так мне кажется, мог бы малевать по сто метров в день.

Он улыбнулся.

Его улыбка ей понравилась — улыбается не так выучено, как все американцы.

Она рассмеялась от удовольствия:

— Ты знаешь Марка Ротко?! Не может быть!.

Это была её тема. Она могла объяснить. Но ей в глубине себя не хотелось ему ничего объяснять. *Суть абстрактного искусства, если говорить обобщённо*, — сказала она скучным голосом, — *в том, что в этих произведениях нет человека, нет природы, нет предметов, как в традиционной живописи, как ты заметил...*

— Но есть то, — она вдруг заговорила с вдохновением, — что является самым главным в жизни — есть эмоции, лишь эмоции, одни эмоции! В чистом виде. Как в музыке, как музыка. Человек, пейзаж, натюрморт — ни к чему на всё это краску переводить. Лишнее! Сейчас некоторые так и учат: люди вообще не нужны, ни народы, ни нации... Важен эмоциональный мир, это самая важная сторона в человеке, человечество приближается так к миру духовному, к отрешению от телесного.

— Важнее слов и дел?

— Конечно! — сказала Снежана уверенно. И ему захотелось её поцеловать: сам собою живот втянулся, напрягся. — Эмоции имеют способность закреплять в памяти минувшее, — она не заметила перемены в нём, смотрела на озеро вниз и высокие тёмные ели. — Только эмоции и способны рождать новые значительные смыслы: от избытка сердца глаголют уста, сказано. Слова порождают дела. Дела без эмоций мертвы. Результаты дел в свою очередь порождают новые эмоции.

— И так по кругу?

— Да. Но всё неповторимо и всё имеет свой конец.

— В бессмертии, — вставил слово Рич и опять улыбнулся.

Как *физический мужчина* он её не заинтересовал, кисти рук, правда, красивы. Но как человек показался симпатичен: не на показ воспитан и вполне остроумен. Почувствовала — она ему физически нравится. И Снежана, слегка захмелев, — в баре они пили коньяк из очень маленьких, напёрсточных стаканчиков, — вдруг решила, что именно поэтому могла бы выйти за него замуж! Хватит бесплодных бурь и ураганов. Совсем бесплодных, совсем. А если вдруг потом всё-таки захочется бурь и ураганов — то вот и хватит, ни к чему! *Как в монастыре учили.*

Ричарда всегда влекли особые женщины. Такой ещё не было. И он с мужской эгоистичностью, ещё не поняв, что она уже в нём, решил, что надо бы её по-быстрому взять, тем более, вряд ли в Банфе найдётся более интересная женщина.

Он ещё захотел выпить. Она возразила: всё, пора спать. Он выпил и остро почувствовал, что если с ней не скучно под звёздами в башне, то, возможно, не будет скучно и при восходе солнца в его апартаментах. Тем более, она в разводе.

Предложение своё он завернул в шутку, доведя Снежану к двери номера. Она улыбнулась и подумала, — и мысль её простая никак не была связана с её улыбкой: *начинает как Робб. Интересно, скоро ли замуж начнёт звать?*

— Отлично! — сказала она. — Встретим утро вместе! Но на лыжне. Любишь лыжи?.. Вижу по лицу, любишь, но скрываешь, — она рассмеялась. — А зимние велосипеды? Решено, утром катаемся на велосипедах! Умеешь?

— Это не совсем то, что я имел в виду, — иронично взгрустнул Ричард. Но согласился: — Велосипеды так велосипеды, только бы шею не свернуть.

Извилистая дорожка металась вдоль озера; в просветах между зеленью высоких елей виднелись снежные языки в черноте зубчатых скал. Воздух был свеж и резок. Оказалось, он почти не умеет ездить. Подучила — показала, как перескакивать, приподнимая руль, через торчащие из снега древесные корни и камни, как притормаживать на поворотах, чтобы не вылететь с тропинки.

Ричард оказался одет совсем не по погоде. Замёрзли уши и пальцы на руках.

— Замёрз? — сказала она.

— Да, — ответил он.

— У тебя уши побелели.

Она остановила его и растёрла ему уши шерстяной перчаткой.

Отдыхая на скамейке, устроенной на большом валуне, они вновь поспорили — о названии реки их детства. Впрочем, она не стала настаивать, что это была Гвадиана, река в Испании, а он, что — Тичино, река в Италии.

Рассмеялись своей уступчивости.

— Можешь называть меня не Ричард, а Рич, — сказал он. — У тебя есть короткое имя?

— Нет. Есть длинное. Прадед называл меня... *Merry Snowflake*. Как тебе такое — Весёлой Снежинкой меня называть? Не очень? А короткое — *Snezhana*. Почему так меня назвал — не сказал, русская тайна. А крестил меня с именем Хлоя.

— Как у тебя всё загадочно и непросто, — с радостной улыбкой, проговорил Рич, понимая, что наверняка сегодня же её возъ-

мёт. — Даже и сложно... Но почему тайна русская? Почему Хлоя? Почему Снежана? Никогда такого не слышал.

— От русского слова «снег» — Снежана. На его родине было много снега. Как и здесь, в Канаде, — просто пояснила она, не обращая внимания на его легкомысленно-ироничный настрой, не заражаясь им.

— Буду и я называть тебя *Merry Snowflake*.

— Ни в коем случае, — ответила она напряжённо. — Это только для самых-самых... близких.

— Как твой муж Роббер Ротшильд?

— Что ты! Робб не знал и никогда не узнает о таких подробностях моей жизни! — Снежана оттолкнулась, на лету ставя ступни на педали. — Что ты! — прибавила она, уносясь с утёса вниз, в прогал меж елей. — Мы опаздываем!

Она удивительно вильнула на велосипеде бёдрами.

Рич подумал, что добьётся её — чего бы это ни стоило!

3. Некоторые аспекты его необыкновенной жизни

Здесь самое место сказать, что жизнь Ивана Глебушона, во всяком случае, его личная жизнь, была столь же необычна, того же порядка преисполнена странностей, что и судьбы иных астрономов, считая, скажем, от Клавдия Птолемея, — о предшественниках которого известно меньше, чем о самом Клавдии, — до Николая Козырева, о котором известно многое, но при этом хотелось бы узнать и больше.

Лет десять тому назад Иван влюбился.

Была Света для него прекрасна фигурой, искрила электричеством, замечательна причёской и примечательна лицом. Фамилия — *Псова*, называл её Светик-Светка (придуманное двойное имя, как ему слышалось, гармонично сочеталось в нём с той лихорадочной нежностью, которую он к ней испытывал). Светлана Псова была студенткой биофака, он — студентом физтеха. В её фамилии была музыка светил из древнего манускрипта «Альмагест», содержащего описание созвездия «Пёс». Она же фамилию свою ненавидела, ругала отца, что не взял фамилию матери, мечтала от неё избавиться.

«Мог бы ты, — словно бы в шутку сказала она, — если точно *лихорадочно любишь*, совершить подвиг?». Она не была романтической девушкой, знала, откуда деньги берутся, книгам предпочитала сериалы, письмам — смайлики, но вот отчего-то в голову взбрело — о подвиге заговорила. «А что, можно попробовать! — Глебушону стало интересно. — Что именно совершать будем?». Светик-Светка задумалась: «А вот можешь... Что бы такое придумать?! Можешь перебежать здесь улицу?!». Они были на уни-

верситетской экскурсии в Москве и, оторвавшись ото всех, стояли напротив высотного здания со шпилем, похожего на сталагмит, изображённый художником-кубистом. В их планах было: перекус в Макдоналдсе, который таился где-то за сталагмитом, и прогулка по знаменитому Арбату до Красной площади. Бежать предстояло через Смоленский бульвар — через дугу Садового Кольца. «Легко!» — ответил он. Воздушное словечко «легко» было в ходу. И он, ликуя, ускакал по ступенькам в неоновое свечение подземного перехода. Через пару минут Глебушон уже махал ей телефоном с противоположной стороны, подпрыгнув, чтобы она увидела. Машины между ними неслись, словно б бешеные в сомнамбулическом сне. «Так не честно! — смеялась она в телефон. — Нужно по поверхности!.. Ну да ладно, подвиг зачётный!». Последних слов Глебушон не расслышал, потому что на словах «по поверхности» посмотрел в одну сторону, глянул в другую и ринулся поперёк потока, обскакивая капоты, отстраняясь, уклоняясь от торчащих зеркал, притормаживая перед бамперами. На разделительной полосе, одолев половину бульвара, глянул на неё. Светик-Светка стояла, закрыв лицо ладонями, ожидая ужасного — перелома черепных костей, выбитых наружу мозгов и вывернутых рёбер. Ему повезло, лавина сама собой вдруг замедлилась, залипла, уткнувшись где-то в светофор. Глебушон обнял девушку. Обхватил. Она целовала ему лицо куда попало, плакала и смеялась.

«Вот и всё. Подвиг зачётный?» — «Зачётный!»

Вытирая мокрое лицо о его плечо, чувствуя его всего и узкие его нежно-страстные ладони на спине, предложила: поехали в гостиницу, пока все на экскурсии? И тут слева засвиристело пронзительно: полицейский топал к ним, не выпуская свистка из губ. Оказалось, нужно платить штраф. Денег лишних не было. Глебушон взялся остроумно, как ему казалось, спорить; для неё старался: Светик-Светка была восторженный зритель. Глебушон стал со значительным видом доказывать, что нигде не написано, что переход и перебег запрещены. На берегах рек пишут: «Купание запрещено». Это понятно. Или про собак на газоне. «Перестань!» — попросила она. Ей очень не понравилось, что Глебушон не смог красиво, как в кино, отделаться от полиции — сунуть купюру свистуну в карман, чтобы тот заткнулся и сделал граблей под козырёк. Подошёл второй полицейский, много старше первого. Глебушон сник, потопал в их окружении с ними, куда велено было, сказал ей: «Едь в гостинцу. У меня денег нет, скоро отпустят». Она стояла, соображая, что же делать. И вдруг вскрикнула, увидев, как Глебушон, вырвав локоть из руки полицейского, двинулся вглубь автомобильной лавины, гудящей, жуткой, визжащей. Старший полицейский что-то лениво говорил в рацию, молодой побежал к ступенькам перехода, чуть не сбив

её. Светик удержалась на ногах, крикнула: «Куртка, куртка!» Глебушон понял: слишком приметная куртка на нём, со звёздами; стаянул на бегу, в комок смотал.

Потом они слушали песни около памятника Окуджаве, подпевали: «Часовые любви по Арбату идут...». Когда Иван вдруг взволнованно спросил, она с радостным смехом тут же у памятника согласилась выйти за него замуж. Он повёл её в планетарий, в котором *сто лет мечтал побывать*. Ночью в холе на диване, изнемогая от истомы и болей, Иван долго её целовал, ничего не умея и не решаясь на главное. Она, устав от его глупости, вдруг грубо сказала: «Хватит! Ничего уже не хочу. Ты слабак. Найди мне сигарету!». Он оскорбился, словно б его, как уличного пса, приласкав, бахнули палкой по ушам.

В поезде ехали в разных концах вагона. Когда начались занятия, он несколько раз видел её с вихлястым пареньком; подсказали: «Миша, якобы друг детства». Иван замкнулся на учёбе. Перед Новым годом Света прислала смешную открытку со снеговиком и с пожеланием богатырской силы. Он позвонил. Они встретились. Сидели в предновогоднем кафе. Света с надрывом стала объяснять, что он бесчувственный как дерево, потому что не смог даже понять её, что она специально попадалась ему на глаза с Мишей, чтобы он приревновал. А он — бесчувственная мумия, как камень, как голограмма! Иван чувствовал свою вину во всём. Такое с ним вообще часто случалось. При этом он вдруг как-то перестал называть её двойным именем. Просто «Света» звучало гармоничней и без внутренней лихорадки. Посидев в кафе, погуляв по городу, вдруг оказались перед дверьми Дворца бракосочетаний. Для Глебушона совершенно неожиданно. Она как-то странно рассмеялась: «Ну, ты и хитёр бобёр, наверное, и паспорт с собой?» — «С собой», — ответил он. И они написали заявление на регистрацию брака. Света писала, у неё почерк красивый.

Через два месяца мутно-жизнерадостной суеты с подготовкой было покончено: золотые кольца куплены, изящное платье — белое с розовым отливом — сшито, банкетный зал в «Чайке» — заказан. Взошло солнце над днём их свадьбы — пятница; на следующий день, в субботу, в церкви Рождества Христова назначено было венчание.

Родственники и некоторые друзья-приятели-подруги уже тёрлись у стен загса, кто-то стоял на просторном крыльце, вдаль, в сторону бульвара Шевченко поглядывали. Приближался час регистрации. Вот уже и Света подъехала с наилучшей подругой. Телефон его отбивался фразой: «Абонент находится вне зоны действия сети». Встретил её вихлястый Миша во всём чёрном и на чёрной своей машине. По-злодейски шепнул, что ещё не поздно, что он всё простит, на что она пробормотала, глядя с улыбкой по сторонам: «Не морочь голову. Нечего прощать. С

Иваном ничего не было. Но скоро будет, не дури!». Через пятнадцать минут Света и её родители уже откровенно волновались. А ещё через полчаса она рыдала в туалете в обществе подружки, выкуривая третью сигарету подряд. Телефон Ивана, словно б для разнообразия, стал выдавать фразу: «Абонент временно недоступен, перезвоните позже».

«Он сбежал, он сбежал! — твердила Света, всхлипывая и пуская дым. — Вот козёл. Мы с ним по «Ретро» вчера дурацкий фильм смотрели — «Женитьба», там женишок, тупой гоблин, когда карета свадебная у ворот стояла-аа... в день венчания в окно убежа-аал! А Иван смеялся-аа...». В туалет заглянул Миша, шепнул: «Кони воронные ждут тебя, бежим!». И она почти неожиданно для себя бросилась к нему на грудь, не выпустив сигарету из размазанных губ. Миша, подобрав жёсткий шлейф, смяв платье, подхватил её, понёс, чувствуя плечом, что сигарета прожигает траурный его пиджак. Он усадил Свету на переднее сидение, объявил в окно наружу: «Росписи, *звиняйте*, господа-панове, не будет, свадьба и рестораны, *звиняйте*, отменяются». Он скомандовал себе: «Вперёд!». Светлана успела крикнуть в окно: «Мама, папа, простите! Иван — ужасный козёл!». Чёрная машина рванула с визгом с места так, что траурные воздушные шары оторвались и ещё с десяток метров летели следом, кружась в пыли.

Иван попал в чужой жизненный водоворот, как в иное пространство, как на иную планету, и там застрял, как водится в таких случаях, ничего не понимая вокруг.

За сорок минут до регистрации — наряженный в серый новенький немецкий костюм, присланный ему в подарок коллегой из Мюнхена, — он свеженьким вышел из парикмахерской и уселся в поджидавшее его такси. Езды до ЗАГСа было минут пятнадцать, и то, если подолгу стоять на каждом светофоре. Около рынка на Ярославской Иван попросил: «Притормози, друг, цветы возьму». У тётки, торговавших с ног, ничего подходящего не нашёл, что могло бы вызвать в душе невесты волнение; ему такого хотелось! В глубинах рынка он помнил магазинчик «Глория» с изображением красочного букета. Отобрав семь роз, разнообразно приоткрывающих свои бутоны, страстно приоткрывающих, зашпешил к такси. В душе в тот момент кольнула тревога. Прокручивая события в обратном порядке, он вспомнит и об этом, решит: было, было предчувствие! Выбираясь из рыночной толчеи через коридоры и туннели из палаток, магазинчиков, прилавков, угодил в тупик. Поняв, что заблудился, услышал хмельной женский голос: «Молодой человек!..» Женщина в расшитом петухами переднике и с накрашенным лицом стояла на крылечке пристройки, пытаясь закрыть дверной шпингалет, встав на цыпочки. «Помо-агите!» — попросила она. Иван сообразил: роста не хватает. «Момент, ма-

дам!», — сказал он. Передав хмельной женщине букет, он вступил в чёрный сумрак хибары, собираясь притянуть узкую створку и толкнуть затвор шпингалета в паз. В этот момент его ударили кулаком в загривок с такой силой и ловкостью, что он тут же утратил способность держаться на ногах. Обе створки захлопнулись, мелькнули какие-то огни. Ивана подхватили за подмышки, как куклу, очень сильные руки, поволокли по ступенькам вниз. «Только бы свадебные ботинки не потерять», — по-хозяйски подумал он и стал задыхаться. Он пробовал вырваться, пытаясь встать на ноги, и не мог; попытался крикнуть — не получилось. Крепкие руки расцепились, Иван, наконец, глубоко вдохнул. Под ним был бетонный пол. Откуда-то пришёл неприятный голос: «Ну шо?!». Над головой спокойно ответили: «Скажи берёзе, чувак в кондиции». — «Берёза на Казбете», — был ответ. — «А ракета?..». Слушая невероятный разговор, Иван решил объяснить, что случилась ошибка, что он бы хотел разобраться, что если его на органы, то этого нельзя, он переболел гепатитом. Но сумел лишь издать звук «э!». Перед глазами во мраке проплыла тень, за ухом возникла боль, словно бы от удара иглой, и он потерялся во времени. Очнулся Иван в крошечной темноте на холодном бетоне; чудовищно болела голова; повернулся на бок, всё в теле ныло, каждая кость, мышца, жила. Ощупал вокруг себя грязный пол (*конец мюнхенскому костюму*), барсетки с телефоном нигде не было. Значит, ограбление? Но зачем держать взаперти? Иван с усилием поднялся, принялся водить вокруг себя руками, сделал полшага вперёд, ещё полшага, наткнулся на сырую кирпичную стену. Двинулся вдоль, нашёл разбитый выключатель, тряхнуло током, и он запнулся о какие-то доски. *Конец штиблетам*. Обнаружил дверь, постучал — сначала робко, потом громко. Сверху услышал спокойный голос: «Сиди тихо, не мешай людям отдыхать». Было ясно, его жизнь для обладателя столь спокойного голоса не стоит ничего. Послышалась музыка, несколько человек пели «Владимирский централ, ветер северный...». Хлопнула дверь вверх, оборвалась песня. Ясно, его похитили. Это факт. Очевидно, по недоразумению. Да, и это факт. Третье — он в подвале, из которого самостоятельно не выбраться. Вывод: надо сохранить силы и не подхватить воспаления лёгких. Главное — не унывать, ведь не на органы же его похитили! Хотя... Он попытался себя развеселить, выстроив улыбку — подперев и вытянув вверх уголки рта пальцами, сказал: «Вот такая она, первая брачная ночь, Света!». Немного помогло. Он был человеком церковным и стал молиться; прилёг на занозистые доски, сваленные у стены, задремал. Мучаясь во сне от холода, страхов и болей, он засыпал и просыпался, и опять засыпал. Вдруг дверь с длинным стоном открылась, резанул свет фонаря. «Не смотреть и молчать», — приказал спокойный голос. На голову надели пластиковый пакет и

приказали: «Держи ручки, а то придётся голову скотчем заматывать, оно ни к чему». Иван ухватился за ручки. Придерживая его за локоть, широкая сильная ладонь повела его вверх по ступенькам. Стало вдруг светло. Значит, утро. На пакете изнутри прочиталась реклама магазина «АТБ». Прошли каким-то коридором, в котором пахло сахаром. Незримая рука вела его в тихом светлом пространстве. Лязгнул замок, вышли на воздух. «Не упади, — велел голос, — переступи, тут траншея». Он переступил. Свернули за угол, рядом промчалась тяжёлая машина, обдало выхлопным газом. Рука усадила Ивана на плоскую металлическую скамейку. Голос велел: «Расследования, Ваня Глебушон, не проводи и считай сегодняшний день вторым своим днём рождения. Пакет сейчас не снимай, подъедет троллейбус — садись в него, ехай домой». Шаги спокойного человека удалились. Иван сдёрнул пакет, глубоко вздохнул. Барсетка лежала на скамейке рядом, колец и денег внутри не было, но был телефон. Набрал Свету. Ответил Миша: «О, женишок обозначился! Докладываю, ты жёстко опоздал на свою первую брачную ночь. Но она состоялась! Светлана передаёт тебе, что ты, извини, козёл, просит её не беспокоить». — «Врёшь, собака, — не поверил Иван. — Дай ей трубку». — «Она спит!». Глебушон тут же услышал её голос: «Я всего этого, Ваня, тебе никогда не прощу. Никогда-никогда! Видеть тебя не хочу. Даже в гробу!».

Он первым отключил телефон и сказал три слова, которые хотел сказать: «Знаешь, меня похитили». Услышал воробей, сидевший на ветке пыльного куста, сочувственно чирикнул.

Годами пытался узнать, «что это было?» Почти сразу нашёл нужную будку, это была пристройка к шашлычной «Заходи, не бойся!». Хозяин кафе уверенно поведал, что пристройка к нему отношения не имеет, *лет десять закрыта на два замка и железную перекладину!* Действительно, два замка и перекладина. Дядька даже ногой дверь пнул: «Так и хочется замки сорвать. Очень бы мне помещение пригодилось!».

В соседних палатках Иван расспрашивал о пристройке и о женщине, описывал её расшитый передник. Все кривились: «А я знаю?» Никто ничего не знал. Летом шашлычная с хулиганским названием и плакатом на выходе «Выходи — не плачь!» сгорела. В руинах пожара он отыскивал вход в подвал, в котором провёл свадебную ночь, и не нашёл: подвала не было! Тогда и сообразил: пристройка не та! Нашёл другую, похожую. Но и там никто ничем не помог. Загадка оставалась загадкой. Тайна — тайной. Так и жил.

4. Клаус Штёрт — человек в малиновом берете

Зал в золотистых тонах был просторен, высок и светел.

— Хоть на маленьком вертолёте летай! — сказала Снежана. — А про себя подумала: «Вот бы перформанс вышел занятный: из

высокого окна замка вылетает зелёный её вертолёт, подаренный на свадьбу, спускается к озеру, даёт круг, взмывает и залетает обратно в замок!».

Уселись на белый пухлый диванчик, дух перевели.

Зал огромен, людей мало. Ещё бы, избранные!

— Точность — вежливость королей, — выдохнул Рич. — Успели.

Цифры на стене перевернулись и показали: «12:00». Срединные двери распахнулись обеими значёнными створками, и в зал, приподняв руку, въехал на моноколесе невероятный человек в голубом смокинге и красном берете. Имя главного спикера коллоквиума они уже знали, прочитали в программке: «Dr. Klaus Stort».

— Как я спешил! — воскликнул Клаус Штёрт. — Чуть каблук не сломал. И, встав с колеса, показал подошвы полусапожек, которые оказались густо-красного цвета.

— Шут! — с усмешкой проговорил Рич. — Лживый шут! Он же стоял под дверью, когда мы входили в боковые.

— Просто фантазёр! — с милой улыбкой оправдала Снежана удивительного человека. — Как я люблю такие умные лица!

Лицо Клауса Штёрта было исключительно приметным — изрезанным морщинами остроумца, улыбка — мраморно белозуба, радужки глаз редкостно черны.

— Некоторые тут, вижу, удивлены, — благожелательно заметил доктор Клаус. — Думаете, дежавю? — он указал на свой нелепый угловатый берет с блестящей брошью. — Многие из вас когда-то видели этот восхитительный головной убор. Правильно?..

Снежана мысленно выдохнула: «Да!».

Некоторые кивнули.

От спикера исходил весёлый напор. Хотелось в ответ улыбаться. И Снежана простодушно улыбалась, совершенно вдруг забыв о сидящем рядом Риче.

Представившись полным именем, главный спикер попросил обращаться к нему запросто, по-дружески, *как в детстве*:

— Помните как?

Вышла заминка.

— Ну-ка, ну-ка, — продирижировал он рукой с белым перстнем. — Ах, как мне обидно! — Он изобразил обиду. — Ну да ладно, называйте меня хоть горшком...

— Дядюшка Клаус! — выкрикнул кто-то.

— Точно! — вспомнила и Снежана: — Дядюшка Клаус?

Она глянула на Рича. Тот скептически поджал свои красивые губы.

— Именно! Иногда так и обращайтесь, — обрадовался спикер. — Мне будет приятно. Договорились? Как в детстве.

Кивали согласно, произносили «да», улыбались.

Снежана, вспомнив имя, вдруг опечалилась, как в прошлое заглянула, когда все были живы. А Ричард не поверил, что человек из их детства.

— Столько не живут, — сказал он: — Когда у костра рассказывал про синий ноготь, был с седыми кудрями.

— Живут, — возразила Снежана, вытерев платочком слезу. — Максим прожил сто одиннадцать лет. Правда, печень и два сердца сменил».

— Максим — это кто?

— Мой прадед, он меня воспитывал.

— Сегодня на рассвете, — вновь заговорил Штёрт, — за миг до пробуждения, я услышал... О, ужас! Как падают комья земли у меня перед лицом, на крышку моего гроба.

Лица вытянулись, улыбки исчезли.

Снежана нахмурилась. Рича прокомментировал:

— Злой шут!

— И это ждёт всех нас! — безжалостно продолжил спикер. — Неизбежность, из какой не вырваться. Да? Нас учат, что обо всём таком не надо говорить, не надо помнить о смерти, не надо расстраивать людей, не надо себя огорчать и тревожить. Но мы-то люди такие, что нам это мнение не указ, правильно?

Снежана заметила: как и некоторые другие, Ричард тоже кивнул, явно побледнев, и при этом заметил:

— Дядюшка Клаус так ставит вопросы, что с ним хочется соглашаться, говорить «да».

— Но есть выход! — вдруг улыбнулся дядюшка Клаус задорной улыбкой. — Чтобы не стучали комья земли.

И у всех почему-то вдруг отлегло, словно бы действительно он мог сказать нечто, что даст бессмертие.

— Кремация! — зловеще проговорил он.

Некоторые тяжело рассмеялись, смех был тёмным.

— Я вас развеселил и огорчил для того, чтобы вы поняли: у нас будут очень серьёзные беседы, несмотря на мой внешне шутовской видок.

Участников коллоквиума — Рич посчитал, — ему видны были все, некоторые частью, — оказалось одиннадцать человек, не считая самого дядюшки Клауса. И каждый был живописен!

Располагались произвольными группами по три-четыре человека. Одни пребывали в центре за длинным белым столом, одна группа — на мягких белых диванах у стен, еще две группы — в нишах с окнами, в высоких чёрных креслах. Из ниоткуда возникла музыка. Светло заплакала флейта. Ричард подумал: дверь, что ли, скрипит? Снежана сказала: «Моцарт мой!». Квартет музыкантов обнаружился на небольшом балконе, все четверо в золотистых фраках. Флейта тоненько пела, виолончелист, альтист, скрипач,

ещё без смычков, пощипывали, подёргивали пальцами струны. В момент, когда в дело вступили смычки, а флейта притихла, чтобы через мгновение вывести флейтиста словно бы в танце к краю балкона, дядюшка Клаус двинулся по залу на моноколесе, заглядывая каждому в лицо, каждого приветствуя, услышав имя, прикосновением пальцев к краю берета. Когда он подкатил к Снежане и Ричу, они рассмотрели его редкостные глаза. Штёрт смотрел на них как бы с сочувствием, трогательно. На лице его была запечатлена природная горечь, скрываемая иронией. Ричард почему-то вдруг внутренне окаменел, словно б какой-то ужасный сон вспомнил. Снежана же прониклась к удивительному спикеру ещё большей симпатией.

— Дорогие мои! Господа! — заговорил дядюшка Клаус с сердечной доверительностью, вернувшись в центр зала. — С немалым трудом мы собрали вас... Вас, людей, принадлежащих известным кланам, кто не соизволил войти в те или иные советы директоров могущественных корпораций, не захотел по каким-то причинам контролировать банки, СМИ, кто не пожелал проторенным путём двигаться к вершинам власти... Коллоквиум собрал людей особых, как бы *тысячников*... но в хорошем смысле.

Снежана слушала с весёлым интересом, присматриваясь к окружающим. Весёлость её несколько смялась, когда в нише справа она различила явно нездоровое лицо.

— Ваши братья и сёстры, порой не только старшие, впитав с молоком матери основные понятия и правила жизни, ушли вперёд. Это так?

Рич с удовлетворением наблюдал, как многие, в том числе Снежана, ответили: — да!

— Отлично! Переходим к делу. Но прежде чем мы перейдём к теме «Библия наизнанку», ответьте мне, если, конечно, сможете снизить до ответа мне, что является вашим жизненным кредо?

Главный спикер неожиданно повернулся к нише, подошёл к предельно худой и очень молодой даме в огромной розовой шляпе:

— Как бы вы ответили на мой вопрос, леди Бреда Роджерс.

— Как бы я ответила? — с истинным достоинством переспросила Бреда. — Отвечу так... Поскольку все свои, а по условиям коллоквиума мы должны поддерживать дискуссию...

— Как же вы ответите? — замер перед ней на колесе дядюшка Клаус.

— Моё кредо, если честно... То есть мой символ веры в том, что я точно знаю: всё, что я лично хочу — это правильно и хорошо. Ведь не мог всемогущий Бог, наделив меня по всем меркам приличным состоянием, наделить меня плохими желаниями?!

— Отличная мысль, глубокая!.. Но как вы относитесь к тем, кто мешает исполнению ваших желаний?

— Если каждый человек — это маленькое государство, а я исхожу из этого, то я таким людям всегда объявляю войну. Я налагаю на них санкции, я с ними не общаюсь до тех пор, пока они не приползут ко мне... Перед тем как сдохнуть!

— Жёсткий ответ. Честный. Прекрасный ответ!

В огромном кресле, у него за спиной, шевельнулся ужасной толщины человек.

— Хочу... как бы это выразиться...

— Мы вас слушаем, господин Морган! — тут же развернулся к нему Клаус.

— Хочу развить и обогатить, что ли, кредо леди Роджерс, — произнёс он с живой мимикой на толстом своём лице.

— А именно?

— Думаю, мы вправе говорить решительное «нет» всему, что нам мешает, нас сдерживает. «Нет» — любым границам!

— Замечательно сказано, мистер Морган! — заскучав, подержал его дядюшка Клаус, и философически развил мысль: — Точно так же, как в нашем мире не должно быть препятствий для распространения наших идей и товаров, так не должно быть препятствий для наших желаний, даже если они иногда и выходят за рамки тех или иных национальных законодательств. Правильно ли я вас понимаю, мистер Морган?

— Исключительно, доктор Штёрт!

И вот тут всем пришлось пережить неприятную сцену. В зал вломилась, оттолкнув опешившего охранника, растрёпанная дама, уронив при этом на пол с головы резной гребень слоновой кости.

— А я, Клаус, своего добилась! — выкрикнула она с вызовом, подбегая к нему. — Мой сыночек настоящий «тысячник». Не то, что эти! — она обвела рукой зал, выставив палец как пистолет. — Нам разрешили участвовать! Коллоквиум — для неординарных, это и для моего сына!

Огромный негр в рыжей меховой шубе ввез на механизированной каталке человека с большой головой и идиотическим лицом, с выставленными вперёд зубами полуоткрытого рта.

— Прошу вас, сэр и леди Гамильтон, не волнуйтесь! — дядюшка Клаус с сердечностью прижал руки к сердцу. — Меня предупредили, что вы приехали. Когда не увидел в зале, даже расстроился. Теперь отлегло. Как вы добрались?

— Вам плевать, как мы добрались, — гордо вскинула голову. — С приключениями добрались! Нас чуть не убил грузовик. Но это не всё! В условиях нашего попадания на коллоквиум стоит: возможный опрос сэра Гамильтона на предмет соответствия критериям коллоквиума. Прошу прямо сейчас: проэкзаменуйте моего мальчика! Я требую!

— Это который из Гамильтонов? — смущённо спросила Снежана.

— Думаю, из тех самых, — рассеянно ответил Рич. — Хотя не уверен.

— Солнечный мальчик?

— Да, немного даун, немного церебрал. Солнечный.

Леди Гамильтон быстрым движением убрала слюну с лица сына и предложила:

— Ну-ка, Луидж, скажи нам, что ты выучил по истории.

Луидж закинул голову, отвалив её набок, и проговорил не вполне внятно неожиданное, как робот, разнообразно кривя рот:

— Вторую мировую... войну развязали Стал... и Гит... Германский... фашизм разгром... США и... Велик-об...

— Ну как вам? — с нескрываемым ехидством поинтересовалась леди Гамильтон, безумно уставясь на Штёрта.

Доктор Клаус снял берет двумя пальцами и поклонился даме.

— Потрясающе! При этом, леди Гамильтон, я должен вам кое-что разъяснить. Обрисовать ситуацию, чтобы вы всё правильно поняли... Ваш прекрасный сын — изумителен. Но дело в том, что здесь, в Банфе, увы, на этот раз, не его уровень. Здесь собраны люди, которые пока ещё не умеют так изящно формулировать... Леди Гамильтон!.. я вам торжественно обещаю: через два месяца в Швейцарии будет проведён коллоквиум для людей Солнца из нашего круга. Да, в Швейцарии, весной! В замке Тан на озере Тан. Вы, конечно, знаете, там удивительный воздух — целебный!

Он ещё что-то говорил, галантно выводя даму из зала. В дверях дядюшка Клаус оглянулся:

— На этом и завершим ознакомительное заседание. Тема завтрашнего заседания — «Библия наизнанку»! Всего доброго, господа!

— Надо же, куда я попала! — расстроено проговорила Снежана, переводя взгляд с дауна в коляске на человека-капусту и на даму в розовой шляпе. — Просто кунсткамера какая-то, прости Господи!

— Как ты сказала? — не понял Рич. Такого оборота речи он в жизни не слышал.

— Жила одно время в монастыре, — нехотя призналась Снежана. — Там так говорят «прости Господи». Вырвалось.

Они спустились в зимний тропический сад, чтобы прогуляться, а вышло, чтобы поссориться первый раз в жизни.

5. Тонкий момент

Когда Снежана и Ричард спускались в зимний сад, Иван Глебушон в состоянии вдохновенного сияния внутреннего мира погружился в проверку одного тонкого момента недавнего своего от-

крытия. Совершенно не слыша снежного урагана за окном, Иван темпераментно постукивал по клавишам ноутбука. Выходило так, что Sneg, после того как он перестал сливаться с «Маской», оказался значительно массивней, чем можно было ожидать. Глебушон почему-то предполагал, что объём и масса «Снега» должны быть пропорциональны массе и объёму Mask, как если бы они были одинаковы по составу. Теперь стало ясно: это ошибка! Sneg не может быть уроженцем основного пояса астероидов, к которому принадлежит «Маска», а судя по всему, принадлежит он одному из скоплений «Троянцев», если вообще он не сам по себе. Самым интересным оказалось то, что траектории «Снега» и Земли вроде бы пересекаются. Конечно, вероятность столкновения совсем ничтожна. Мало ли чьи траектории пересекаются. Для столкновения этого мало. Нужно, чтобы объекты оказались в одно время в точке пересечения траекторий.

Иван готов был уже выложить часть расчётов для обсуждения на «Коперник». В дверь позвонили. На пороге стоял Борис Угольник с улыбкой на круглом лице и с оттопыренным нагрудным карманом.

— Давно не виделись, — нерешительно сказал он, подозревая, что заглянул не вовремя.

— Да, давно, — быстро проговорил Иван. — Извини. Сейчас занят. Перенесём? — и он вернулся к своим занятиям, захлопнув дверь.

6. В зимнем саду

Среди лиан и пальм разбросано росли невиданные цветы, порхали бабочки. Ссоры ничто не предвещало. На тропический антураж Ричард внимания не обращал, пытаясь увлечь Снежану собой.

— Может, покинем мероприятие? — предложил он. — А то действительно, какой-то паноптикум вырождения. Возьмём да и рванём... Друзья звали в Чили, в Каванчу. Кстати, отличные друзья! День на пляже, на море, потом перелёт на самолёте — и ты в горах, катаешься на лыжах в Аргентине, в Барилоче. Очень удобно: день там, день там. Кстати, на гербе города Барилоче снежинка...

— Ты же не умеешь на лыжах.

— Зато плаваю прилично. А на лыжах хотел бы научиться... Научишь? Нет?.. В Барилоче как раз проходит небольшой шахматный турнир...

— Почему, «как раз»?

— Там сезон в феврале. Лето. Думал побывать.

— Увы, не могу! — Снежана выставила руку перед подлетевшей к ней жёлтой бабочкой, та уселась на безымянный палец, в том месте, где носят кольцо. Крылышки трепетали, словно б дирижировали. — Пообещала быть на этом коллоквиуме.

— И я не могу, — тут же признался Рич. — И я обещал.

— Вот тот-то!.. Знаешь, — сказала Снежана, — где-то здесь есть этнографический музей. В нём мумия русалки... Точнее, русала! Мужская особь.

— Муж русалки? Водяной?

— Любишь ли ты музеи, как люблю их я? — с театральным пафосом, внимательно глядя ему в глаза, воскликнула Снежана и рассмеялась непонятно чему.

Рич соображал:

— Что-то из литературной классики?

— Не важно.

— Жизнь люблю больше, чем музеи, — ответил он тускло.

— В музеях её не меньше! Обожаю, всякие такие художественные штучки, инсталляции и перформансы, не исключая и мистификаций, — она смеялась, видя его подавленность. — Наверняка, русал — мистификация...

— Пойдём посмотрим на русала, — согласился Рич. Если любишь.

— Сейчас? — она дунула, бабочка улетела.

— Сейчас.

Но они никуда не пошли, продолжив бродить по джунглевому саду.

— Интересно, кому ты обещала побывать на нашем шутовском коллоквиуме? — как бы вслух подумал Рич. — Ты же с мужем рассталась?

— У вас принято о личном спрашивать?

— В Штатах вообще всё не принято, извини, — Рич повинно склонил голову.

— Пообещала поехать дяде Виталию, — просто сказала она. — Ему зачем-то надо, чтобы я побывала в Банфе. Сделал предложение, от которого я не смогла отказаться. Потом когда-нибудь расскажу. А тебя, Рич, за что сюда *запроторили*?

— Отец полагает, что человек я абсолютно не системный. Не надёжный. Правильно полагает. И всё бы ничего, но я его единственный сын.

— Наследник всех своих родных?

— Некоторых. У него на меня расчёт. Был. А я влип, я игрок...

— Геймер? — недоверчиво улыбнулась Снежана. — Рубишься на *компе* с чудовищами и террористами?

— Не угадала.

— Рулетка?.. Карты?..

— Нет.

— Игра Го?.. Китайское домино? — Снежана говорила с показным азартом, с интересом разглядывая бабочек, выходящих около красного остролепесткового как взрыв цветка. Рич в ответ произносил словечко «по».

— Много проигрываешь?

— Не в этом проблема... Неужели не догадаешься? Кодовое слово уже произнесено.

— А! Поняла. Шахматы.

— Затянули как смерч... Ты видела смерч?

— В новостях.

— Воистину... дьявольская игра. Я воспитывался без телефона, без планшета, в смысле, без интернета. Такая атмосфера в доме, интернет — для мозгов плебса... В ноутбуке была одна игра — шахматы, и я на неё подсел. Влип. Открылись миры, параллельные пространства, бури, катастрофы...

— Стал гроссмейстером? — Снежана с интересом на него глянула.

— Если бы. Компетентный любитель. Хуже чего и нет ничего. Максимальный рейтинг 1955.

— Что это значит?

— Это значит — неудачник. Это когда постоянно думаешь об игре, шахматами живёшь, содержишь тренеров, участвуешь в каких-то турнирах, разбираешь партии, следишь за таблицами, переживаешь о собственном рейтинге... Если в плохой физической форме, рейтинг падает. Даже если насморк — всё, катастрофа!

— Тысяча девятьсот — маленький рейтинг?

— 1955-го. Средний. Совсем так себе.

— А у чемпионов?

— О!... Совсем, совсем другой уровень. Совсем. У Фишера был 2785, у Магнуса Карлосана — на сотню выше... Разница в сотню — это много, хотя потерять сотню можно легко... Решил бросить. Даже без тренера сюда приехал.

— Правильно! Клин клином вышибают, — сказала она. — Надо найти шахматам альтернативу.

— Я и нашёл — тебя! — выпалил Рич.

— Что ты имеешь в виду?.. Я не игра, ты это понимаешь? — вдруг сказала она строго и по глазам увидела: нет, не понимает. Глаза у Рича жадно вспыхнули! — Почему ты так смотришь?

— Как?

— Как обезьяна на самку! — ляпнула она.

— А как надо?

— Это... Это... — она забыла слово. — Это сексизм! — вспомнила, наконец, развернулась и, вскинув голову, направилась к выходу, ловко огибая лианы. Рич понял: они поссорились. Не понял — из-за чего. Рванулся было следом и замер, наступив на большую лимонницу. Бабочка хрустнула под его ботинком, за спиной раздался непонятный шум. Он оглянулся. К нему с криком бежала смотрительница.

7. Антисобутельники

Когда Света Псова исчезла из его внешней жизни, он, остро переживая беду, не занялся, по примеру иных, ни в отчаянный, ни в тихий блудный загул. Усвоив мудрое слово духовника «*живут и одиноко*», сосредоточился на науке и учёбе. По прошествии лет прежние друзья-приятели отпали, с сослуживцами в университете, включая начальство, общался в меру необходимости, женщин сторонился. На этом фоне неожиданным образом он сошёлся с журналистом и *бывшим поэтом* Борисом Угольником.

Познакомились так.

Угольник с оттопыренным нагрудным карманом пальто, бродя по коридорам университета, отыскивая доцента Пашу Фритцева, сунул голову в дверь без таблички, в коморку Глебушона. Иван протирал спиртом линзы. Ощутив замечательный запах, Борис как доброму знакомому показал содержимое оттопыренного кармана: «А у меня с собой тоже есть! Войду?». Глебушон понятия не имел ни о Борисе, ни об интернет-газете «Город Че и окрестности». Даже, кажется, и не слышал о такой: не интересовался Глебушон местными делами и делишками — ни криминальными хрониками, ни перестановками в Белом доме, ни некрологами. Иван и телевизор не смотрел, в котором мог бы видеть Угольника. Не узнавание себя Бориса позабавило.

— Выпьём? — предложил он. — Я бывший поэт.

— Вирши бросил писать?

— В стадии бросания.

Глебушон, не моргнув глазом, выставил на стол рюмку и стакан («чем богаты»), а в блюдце положил пучок розовых редисок — сезон был. Борис налил в рюмку, перелил из неё в стакан и вновь налил в рюмку — чтоб поровну было. Чокнулись, Борис проглотил, Иван лишь к носу поднёс и вернул рюмку с коньяком на стол.

— Душа не приемлет? — с сочувствием догадался Угольник.

— Душа принимает, организм артачится, — пояснил Иван. — В детстве переболел гепатитом, выпивать нельзя.

— Ну, хоть вдохнуть можно, — с пониманием оценил ситуацию Борис, перелил из стакана себе в рюмку, а в стакан капнул:

— Ну, давай по второй, за знакомство.

У Бориса был замечательно широкий круг общения — в среде местных деловых людей, бандитов и политиков (порой всё это было перемешано); был у него приятель — тренер по боевым искусствам, было где спортом заниматься, была у него милая жена и отчаянная подружка-журналистка — из пресс-службы банка — для

неугасимости остроты чувств, был у него свой парикмахер, а на рынке — молочник, мясник и зеленщик. А вот выпить, когда накатит, и чтобы при этом за языком не следить, не с кем было.

— А я стихи ещё по инерции пишу, — после третьей разговорился Борис.

— Когда-то... ух, носился с ними, как дурень с писанной торбой... Во всех местных газетках печатал. С утра бежал в киоск, к торговцам газетами, покупал с десяток, дарил знакомым... Дамам, конечно, в первую очередь.

Хмель имеет свойство воздействовать на всех участников застолья, проникая в мозг, словно б по незримым сообщающимся сосудам, иначе и не объяснить, почему Иван вдруг признался: «А я одну картину хочу сделать». — «Написать?» — уточнил Угольник, хрустя редиской. — «Сделать, — не согласился Иван. — Ты почитай стихи. Только сейчас я Гомера люблю». — «Гомера не читал, только проходил. Древние сказки». Иван возразил: «Энергия в нём межзвёздная». — «У меня тоже была». — «Ну, читай!» — хрустел редиской и Глебушон. — «А вот:

Сложно вывернуть из меня душу:
Хоть матом крой, хоть верёвкой души,
хоть жги, хоть выбрось медузой на сушу.
А может, и нету во мне души?..»

С таким настроением мог бы стать бандитом или бухариком, подумал Глебушон и, выслушав все пять строф, похвалил за то, что не стал: «Молодец». А о том, что эти вирши — графомания, замутнённая порывом шального вдохновения, умолчал. Угольник похвалу внутренне принял и ещё одно стихотворение прочитал, *тоже новое, инерционное*. Начиналось оно про муравья, который плачет в отчаянии, что Бог, наделив его *стальными челюстями-жвалами* (рифмовалось с *глазами алыми*), не дал голоса, чтобы песни петь или хотя бы мычать, хоть бы и став при этом *размером с быка* (что рифмовалось: *так и жил внутри себя как ээка*). Бог, вняв, превратил муравья в быка, который, обнаружив у себя рога, выйдя на лужайку, сошёл с ума и бросился бодать хозяйку. Хозяин обухом топора быка уgomонил. Утром хозяйка смотрит с сеновала в окошко на ласковое солнышко и думает: «*Ох, как Петенька меня всю ночь любил! как топором меня рубил, как будто муравья петь учил!*». Завершался дикий вирш так: «*Сидит и думает бабёнка: мальчонка будет или девчонка?*».

«Да, есть межзвёздная сила, — одобрил Глебушон. — Не графомания, чистый бред». — «Хорошо бы стихи эти сжечь, — согласился Угольник. — Но невозможно». — «Почему это? — Не поверил Глебушон. — И звёзды сгорают, не оставив следа». — «На планшете записаны». — «Тогда — вариант: переписать в тетрадь

и сжечь. А в планшете удалить и забыть». — «У меня и в тетрадах много чего есть! Но начать бы с конца, с планшета! Не пойти ли нам прямо сейчас на реликтовые океанические пески Днепра, чтобы там планшет сжечь?» — вытряхивая последнюю каплю из горлышка в стакан, предложил Угольник. На что непьющий Глебушон, хоть и чувствовал себя под хмельком в соответствии с законом о сообщающихся сосудах, ответил так: «Сжигание стихов, думаю, дело интимное. Мы слишком мало знакомы. Да и планшет пожалею. А пески реликтовые этим не удивить. Они и не такое выдывали!».

— А чем докажешь, что у Гомера — межзвёздное. «Илиада», кроме войны, про что?

— «Илиада» про то, как человек из безжалостной дьявольской машины смерти превращается в человека сострадательного, собственно, в человека человеческого. Ради этого, судя по всему, поэма и была нам дана.

В последующем они года два или три таким же образом выпивали и беседовали в разных местах университета, иногда в кабинете Паши Фритцева, иногда в обсерватории, чаще же в маленькой комнатке, устроенной под винтовой лестницей, запасной, ведущей в обсерваторию.

За три года странной дружбы они ну ни разу не говорили о делах житейских, никогда о делах личных, никогда о политике. Всё в их разговорах было как-то так, по сути, задушевно, без чего и жизнь не жизнь, без накипи. Иногда Борис читал новые стихи и тут же желал отнести их на берег Днепра, но всё как-то не складывалось. Иногда рассказывал забавные истории из жизни местных начальников и бандитов. Порой Угольнику не хватало, тогда Глебушон наливал ему рюмку спирта из своей особой склянки с притёртой пробкой, после чего уж и вызывал ему такси или звонил одной из его женщин. Глебушон смотрел сквозь Бориса на мир людей как в телескоп, видел отсветы далёких жизней — и это ему нравилось.

Глебушон не посвящал Бориса ни в свою личную катастрофу со Светланой, ни в преподавательскую работу, как не посвящал и Борис Ивана в свои политические пристрастия и особенности семейной жизни. Но о жизни Глебушона Угольник всё-таки знал, что у того была и сплыла невеста. Знал и Глебушон о Борисе, что он второй раз женат и что у него есть несколько дочерей, то ли две, то ли три. Бориса как-то поразило, что Иван не пребывает в *поиске, как все нормальные мужики*. Узнал нечаянно. В каморку по делу заглянули студентки-близняшки Маша и Лиза Ослят, которые, кажется, были к Ивану равнодушны. Угольник буквально воспламенился и предложил немедленно позвать их в компанию, а потом на звёзды в телескоп смотреть. Иван же ответил Борису

скучным голосом, глядя мимо: «Это ни к чему». В кургузых этих его словах, слеplенных невзрачно, обнаружилась такая сила, что Угольник никогда больше при Иване о его студентках не заговаривал. Даже старался не смотреть в их сторону, хотя там явно было на что посмотреть, явно.

Однажды Глебушон взялся рассказывать о замысле своей иллюстративной картины «Тайна мироздания», но начал неправильно. Рассказал, что когда-то при строительстве университета начальство *нахимичило и село*, но село за взятки с абитуриентов, а не за то, что нахимичило, устроив в здании при строительстве небольшие тайные помещения. Глебушон намеревался сказать, что эти неучтённые метры, без окон и с низкими потолками, так и стояли без пользы лет сорок, пока он случайно не наткнулся на хитрую дверь неподалёку от лестницы в обсерваторию. Всего этого рассказать Глебушон не успел. Угольник перебил: он знал историю с посадкой каких-то университетских людей в конце семидесятых и начал говорить о них. Иван решил: потом, при случае расскажу про «Тайну мироздания», да и покажу, когда будет готово. Но не показал. Даже когда в закрывшемся планетарии купил по цене металлолома прибор «Планетарий». Аспирантке Фритцева Диане Грибоядовой как-то хотел показать. Но и ей не показал.

8. Тайна вечного пирата

На второе заседание они опоздали порознь, каждый по своей причине. Но в зал вошли одновременно: она в боковые двери, он — в центральные. Расселись, как пришлось, но оказались в поле зрения друг друга. Клаус Штёрт говорил с вопросительной интонацией:

— ...ведь мы знаем, что делать, ориентируясь на Библию?..

На этот раз Штёрт был в строгом песочного цвета костюме.

Рядом со Снежаной оказался господин с гривой волос, окрашенных в радугу. Желая положительно ответить, господин тряхнул гривой; кто-то впереди неуверенно проговорил «йез». Снежане заинтересовалось, захотелось понять, о чём идёт речь.

Ричард смотрел на неё, желая узнать, что же вчера в ней произошло; смотрел неотрывно, пока она не покраснела и не задвинулась вглубь диванчика.

Дядюшка Клаус энергично, с оборотами, свойственными некоторым университетским профессорам, продолжал:

— Если помнить, что, ориентируясь на Библию, человечество не обрело счастья, то следует заметить: никто счастья не обещал. Не так ли?.. Христианство обещало Царство небесное для спасённой души в мире ином, если носитель оной души исполнит на земле то сё, пятое десятое: Заповеди Божии, если покается в грехах и если будет притом при всём на то воля Божия.

Потеряв из поля зрения Снежану, Рич вслушался.

— В нашу *постхристианскую эру*, когда религия заметно выветрилась из обихода, а обрядовая составляющая в ортодоксальных изводах выглядит анахронизмом, когда в нашем сонении религия стала великим преданием и превратилась в руины, занесённые песком ненужных знаний, христианские храмы Европы становятся музеями и ресторанами. Можем ли мы при этом полностью отказаться от Библии? Может, ей место в литературном музее при какой-нибудь пока ещё не списанной на макулатуру библиотеке?

Человек-радуга, заикаясь, радостно произнёс:

— Не-не-неплохая идея — в ма-ма-макулатуру!

Из ниши с окном, где три человека сидели на высоких чёрных стульях, выделился молодой человек в моднейшем костюмчике от *Томми Хилфигира*.

— Позвольте вопрос, доктор Штёрт? — сказал он.

Рич обратил внимание: Штёрта в строгом костюме «дядюшкой» уже никто не называл.

— Разумеется, мистер Фогель, — ответил тот.

— Мне бы хотелось услышать хоть одно доказательство того, что Библия устарела. — Если вас, конечно, не затруднит.

Вопрос был с подковыркой. В нём скрывалось желание посадить Штёрта в лужу. Штёрт нисколько не смутился.

— С лёгкостью чрезвычайной я докажу это! — Штёрт сверкнул чёрным взором, подошёл к молодому Фогелю и, как видел Рич, глубоко заглянул тому в глаза, в самые интимные глубины. Фогель вспыхнул от возмущения и тут же подавленно поблел.

— Простейший пример! — Клаус Штёрт распрямился. — Заглянем в какой-нибудь текст Библии. Например... В Книгу Иова!

— Да! — пискнул кто-то из второй ниши, где стояли кресла.

Штёрт проговорил в пульт управления плазмой, вделанной в стену:

— Библия. Книга Иова.

Тут же на мониторе высветилось: «Библия. Книга Иова».

— Древнейший текст!.. Глава тридцать восемь... Напомню сюжет. Иов Многострадальный, на которого обрушились все мыслимые и немыслимые несчастья, сознавая себя безгрешным, напросился на буквально юридическую процедуру, чтобы Бог доказал ему Свою правоту, наказывая столь страшно безвинного. И напросился. Господь прибег к методу «от противного», стал задавать Иову вопросы, указывая на непостижимые для человека тайны и законы мировой гармонии. Вседержитель вполне мягко спрашивает Иова, намекая на его человеческую ничтожность. Цитирую: «Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя?». Это о чём? Это о том, что человеку не дано вызвать дождь по своему хотению, не в состоянии че-

ловек сотворить искусственный ливень, гром и молнию. Из контекста на вопрос «можешь ли» подразумевается ответ «нет». Но мы-то знаем...

— Ответ «д-да!», — напугав Снежану, крикнул человек с гривой разноцветных волос. — Хим-мики давно у-у-умеют у-у-устроить дождь. Как д-душ в ванной вк-включить!

— Вот именно! — торжествуя проговорил Штёрт. — И молнии можем создавать искусственно. В той же главе говорится и о молнии и о говорящем громе...

Молодой человек с радужными волосами был настолько вдохновлён похвалой, что решил перебить Штёрта:

— Ещё в Ев-евангелие, я п-помню, про волосы!

— Ну-ка, ну-ка, — доктор Клаус и ему заглянул в глаза, молодой человек замер в восторге, Снежана видела.

— Да, про волосы, — сказал совершенно не заикаясь сосед. — Про то, что человек не может *ни одного волоса сделать белым или черным*. Взглянув на меня, думаю, каждый поймёт, что текст потерял свою актуальность.

Штёрт захолопал в ладоши:

— Вы, сэр Анжей, воистину лучшее тому доказательство!

Фогеля тут же поддержала *как бы женщина*, с татуировкой на всю голову в виде дракона, причём зелёные глаза чудовища, глядящие с лютой ненавистью, располагались у неё на щеках:

— Волосы можно вообще сделать невидимыми, как у меня!

Она рассмеялась драконьим ртом и провела татуированной ладошкой по бритой голове, погладив когтистую чешую.

— Отлично смазано, леди Серж! — похвалил и её доктор Клаус. — Я продолжу, с вашего позволения...

— Конечно, Библия в целом не устарела, потому что по факту никогда не была ещё актуализирована. И это — проблема. Вот что имею в виду. Не только ваши отцы и старшие братья, но и все наши предки — десятки поколений, жили в парадигме вывернутой наизнанку Библии. Впрямую, разумеется, никто не говорил, что всё это вздор — «не убивай», «не прелюбодействуй», «не кради», «не лги», «не желай чужого». Не говоря уж о христианских заповедях, взвинчивающих названное до проповеди всеобщей любви. Всё в истории осуществлялось с оговорками, с вывертом и *подвыподвертом*. «Не убий»? Но убивались целые народы. Пачками. Подскажите, куда делись миллионы индейцев, коренные народы Америки?.. Их земля стала нашей землёй, их сокровища — нашими сокровищем. Нами осуществлён грабёж и разбой, если говорить прямо. Себе мы можем и должны говорить прямо. Наши корабли, наш флот по пиратской технологии прибирали острова и континенты. Но плохо это или хорошо?.. Отвечу: не важно, хорошо или плохо, потому что это правильно! Да, мы превратили в рабов целые континенты. И останавливаться не собираемся. Это от-

вратительно или замечательно? Не важно, потому что это правильно!.. Мы придумали гениальные технологии по изъятию ценностей, по распространению своей могучей воли, научившись стравливать и обуздывать строптивых, извлекая из этого выгоду. Видели картинку, слышали шутку? Пилот американского бомбардировщика: «Если у вас плохо с правами человека — мы летим к вам!» Отчасти лишь шутка... На своём щите мы написали «Права человека». Идея движется по планете. Когда-то на знамёнах армии Константина Великого стояла монограмма Иисуса Христа, Лабарум... Часто потом носители идеи превращались в мародёров и пиратов... Да я и сам... Не планировал. Но рассказав.

Знаете ли вы, что я потомок известного пирата Клауса Штёртебекера, памятники которому установлены в славном морском городе Гамбург и в не менее славной германской деревеньке Мариенхаф? А вот послушайте! В XIV века (это 1390-е годы) *шведский король Альбрехт в борьбе за престол с датской королевой Маргрете* нанял пиратов. Король гостеприимно открыл свои гавани для всякого корабля, который станет наносить ущерб датскому королевству. Попросту говоря, грабить и топить. Разумеется, как настоящий пират, — а в тех местах пиратов называют *каперами*, — Клаус Штёртебекер грабил помимо датчан и все прочие корабли, какие попадались, даже и союзников короля Альбрехта. Любил он своё дело. При этом был человеком чести: не грабил корабли самого короля Альбрехта. Принципиально. То есть чтил мой предок Библию, хоть и с вывертом. Не оставил он своего любимого ремесла и после того, как шведы и датчане заключили мир.

Когда Клауса Штёртебекера казнили в Гамбурге, он объявил свою последнюю волю: помиловать на эшафоте тех членов команды, мимо кого он успеет пройти, неся в руках свою отрубленную голову! Каково?! Прошёл мимо одиннадцати и сделал уж было двенадцатый шаг, но палач выставил ногу, дал подножку, подлец! Но и понять можно. Ведь получал он оплату за каждую отрубленную голову. А тут, видя, что терпит ущерб, и совершил подлость! В народе поднялась кутерьма. Толпа как с ума сошла! Люди бросились к эшафоту, чтобы развязать спасённых... Когда власти навели порядок, ни тела, ни головы Клауса Штёртебекера найти не удалось... Люди во все времена любили фокусы! А иначе как бы я родился через шестьсот лет?

Всем рассказ понравился: аплодировали.

— Кстати, — доктор Штёрт приподнял руку. — Сколько вас здесь?

Все в очередной раз пересчитали друг друга.

— Одиннадцать, — сказал кто-то

— Да, одиннадцать, — проговорила и Снежана. — Это что-то значит?

Доктор Штёрт находился рядом и заглянул ей в глаза. Она как в колодец из чёрных кристаллов попала. Всё в ней ждалось. Вырываясь, пролепетала:

— А что, одиннадцать пиратов действительно спаслись?

— Нет, конечно, — Штёрт продолжал смотреть ей в глаза. — Бургомистр к радости палача велел казнить всех! Господин Розенфельд, такова была фамилия палача, а прозвище его — Мастер! Он отлично знал своё дело. Но был хвастун, вероятно, по причине художественности своей натуры. Управившись с командой Штёртебекера и, услышав похвалу от господина бургомистра, Мастер заявил сгоряча, что мог бы и продолжить и с такой же лихостью отсечь головы хоть всему городскому совету! Отцам славного города Гамбург шутка не понравилась. И его тут же его приговорили к отсечению его собственной головы. По сути, всем просто хотелось продлить зрелище. Однако, как же исполнить приговор?! Действительно, чтобы казнить палача, нужен палач... Сам палач казнить себя не может. Приглашать со стороны, из другого города? Долго и дорого. Просить самого Мастера, чтобы тот побыстрому обучил кого-нибудь секретам казни? Глупо. Да и невозможно быстро найти человека, желающего стать палачом. С бухты-барахты люди убийцами становиться не желают, в соответствии с заповедью «не убивай». *А вдруг там спросится!* Какой же выход? Городской совет нашёл выход. Как вы думаете, какой?

Снежана задумалась лишь на мгновение.

— Не того ли назначили палачом, кто в совете был самым молодым и более других топил за казнь Мастера?

— Правильно! — воскликнул спикер. — В точку! Назначили самого молодого, потому что он может успеть замоливать свой грех... Не зря я настоял, чтобы вас, леди Снежана, пригласили на коллоквиум!.. Самый молодой исполнил, съёс голову Мастеру с третьего раза, изуродовав, муче предав невольно... Но я отвлёкся!

9. Угольник и все

Борис Угольник был силач и смельчак, но его сердце позаячы встрепенулось, когда в руках запел телефон с уведомлением: «Номер не определён».

Увидев неприятную фразу, Борис, передразнивая кого-то, осуждающе фыркнул. Именно так фыркал босс, который, не исключено, сейчас и звонил. Звонить с неопределимого могли и другие — хоть «Николай Николаевич» из СБУ, хоть мэр Ярослав Лысяк и даже Архип Ракета...

Куратор Бориса Угольника, отвечающий в рамках фонда «Феникс» за финансирование и линию издания Угольника «Город Че и окрестности», звонил редко. Звонок *кормильца* из прекрасного далёка бывал всегда неприятен тем, что сулил получение вводной

(«ценных указаний»), после чего Борису предстояло сконцентрировано поработать, буквально брызжа энтузиазмом, над тем, что на момент получения вводной его совершенно не занимало. При этом ц/у босса никогда не бывало против шерсти, наоборот! Почти всегда совпадало с внутренним настроем и личными убеждениями Бориса Угольника. Однако сам факт, что шеф укажет, какую тему следует срочно *раскрутить и взлохматить*, напоминало, что свобода Бори Уголька (как его называли в детстве) слегонца фальшива. Да, он не зависел финансово ни от местных властей, ни от деловых людей, ни от ОПГ, зависел от человека, которого видел лишь однажды и который звонил ему не чаще двух-трёх раз в год. Помимо ожидания ц/у, был и ещё момент для беспокойства: босс мог вдруг объявить, что со следующего месяца прекращает финансирование. То есть он может перекрыть свободное дыхание, буквально, как слесарь Дима воду в подвале. Такая возможность была оговорена, вот и жил страшок, ласково пробурчит: «Вот чего, Боря: отправляем твой корабль в свободное плавание. Времена, как всегда, непростые. Спасибо за сотрудничество!». Борис подавил неприятное волнение, фыркнул, изобразив босса, сосредоточился, ведь недаром он в юности имел третий разряд по боксу, и нежно прикоснулся к кнопочке с прыгающей красной трубкой «принять вызов».

В первую же секунду — по характерному кряхтению-сопению уяснил: всё-таки босс.

— Здравствуйте, Андрей Андреевич, — спокойно произнёс Угольник.

— Привет, Борис Тарасович! И как это вы всегда догадываетесь, что звоню я, если звоню с телефона без номера?!

— Я вас слушаю, Андрей Андреевич.

— Эксклюзивная информация, дорогой Борис! Эксклюзивная. На днях в ваш город, в вашу фешенебельную дыру приедет дама из клана Ротшильд, зовут Снежана Филипс. Она меценат, любит культуру, её муж дружит с Илоном Маском и всё такое. Сам понимаешь, с такими возможностями можно любить всё что угодно и ненавидеть кого угодно, и люди подтянутся. Хорошо бы, друг Борис, приготовить *нашу элиту* к визиту названной дамы. И ещё кое-что.

— Что именно?

— Интересует истинная причина визита. Официальная — не вполне убедительна.

— Как сформулирована официальная?

— Едет почтить память дедушки, который якобы жил в Черкассах при царе Горохе. Леди хочет учредить стипендию его имени, сделать какие-то вливания... Понимаешь, когда люди такого уровня...

— Ротшильды жили в Черкассах?! — воскликнул вдруг Борис, словно б выйдя из сна: это было живым, это было интересно. — Так это же тема! это же сенсация!

Андрей Андреевич осуждающе фыркнул:

— Думаю, сам разберёшься в степени её родства с Ротшильдами и Рокфеллерами. Я их всегда путаю. Где они и где мы! Контакт её советника сброшу. Всё, до связи!.. Да! А как ты отнесёшься к тому, что твоё издание со второго полугодия будет отправлено в свободное плавание? Не утонешь?

Сердце прыгнуло: вот оно, чего опасался!

— Философски отнесусь.

— Но это ещё не точно. Работай. Времена, сам видишь, как всегда, непростые, на всём руководство экономит.

Посопев с полчаса, Борис изваял текст на английском:

«Леди Снежана! Я независимый журналист Boris, рад вниманию к городу Черкассы! Это древний город, родина украинского казачества. Наша область — это земля Тараса Шевченко и Богдана Хмельницкого. Понимаю, вам удобнее приехать, *законтачив* с Офисом президента и местной администрацией. Я же готов без шума создать в городе соответствующую атмосферу, чтобы ваши жертвования не были разворованы, что наверняка и произойдёт, если не принять мер». Через пять минут после отправки письма зазвонил телефон с номера «+1».

«Ага, Штаты на связи», — сам себе сказал Угольник.

Звонил советник миз Снежаны Филипс сэр Ричард Николс Грант. Говорил по-английски с молодым американским напором.

— Слушаю вас, доктор Грант, — почтительно и вкрадчиво произнёс Борис, уже прочитав в Википедии статью «Этикет в США». — Чем могу быть полезен?

— Сразу быка за рога? — весело произнёс Ричард. — Окей! Ко мне, господин Угольник, прошу обращаться просто Рич.

— Хорошо, сэр Ричард. Очень вам благодарен. Ко мне — просто Борис.

— Отлично! Борис... Нам нужен, помимо официального, неофициальный информационный канал связи с вашим прекрасным городом.

— Я в курсе. Готов помочь. Вы получили моё письмо?

— Конечно! Очень этому рад. Тогда к делу?

— Слушаю вас, мистер Рич.

— Что вы думаете о мэре города мистере *Ярослав Лысяк*? Чем он дышит?

Борис ответил сразу и по существу:

— Ярослав Анатольевич Лысяк дистанцию держит со всеми — и с киевскими властями, и с местным бизнесом, и с криминалитетом. Черкассы — город самодостаточный, сам по себе, как тот кот у Киплинга...

— Гуляет сам по себе?

— Сам по себе. И сам в себе.

— О, высокая философия! В чём, кстати, это проявляется?

— Например, не стали сносить советский самолёт-памятник с красными звёздами. Звёзды закрасили, а на самом самолёте изобразили сине-жёлтую полосу и написали «Героям — слава». Или другой пример. Памятник русскому поэту Пушкину не сломали, как в некоторых других городах, а покрасили в тот же сине-жёлтый... Мол, при случае, можно и вновь вернуть нормальный вид. Некоторые темы, которые киевляне хотят продавить через Лысяка, он отклоняет, как и некоторые бандитские темы. Поэтому нынешний мэр крепко сидит в кресле, между подлокотниками которого находится точка пересечения интересов разных групп.

— Как вы ярко и образно выражаетесь! Как поэт! Нет ли на этой почве у Лысяка конфликтов с центральными властями?

— Конечно, всякое было. С главой МВД, который утверждал, что Лысяк — ставленник криминальной группировки «Ракета». Был конфликт и с Офисом президента. Те хотели на его место посадить своего человека. А его — закрыть. В смысле, в тюрьму.

— Очень интересный момент. Очень. Благодарю. Следующий вопрос. Что вы думаете о главе областной администрации господине Юрии Сквозном?.. О губернаторе. Это так у вас негласно называется?

— Именно.

— Чем он дышит?

— За последние несколько лет до него в его кресле побывало пять человек, — Борис взялся отвечать обстоятельно. — Пока Сквозной себя особо никак не проявил. По профессии он эстрадный артист, как это теперь часто бывает по примеру вашего Шварценеггера. Попал в политику, что интересно, не через президента, своего коллеги, а через своего тестя-олигарха. Таким образом, в команде фотографов, клоунов, воспитанников Сороса, проходимцев от интеллигенции оказался он случайно, но и не случайно. За глаза его некоторые называют по кличке — Юраськин. Это от фамилии его тестя.

— Юраськин?

— Юрский. Сквозной — зять олигарха Юлия Юрского. Он представляет в регионе его интересы. У Юрского разветвлённый бизнес: строительство, машиностроение...

— То, что вы сказали — это очень важно нам знать. Спасибо. Ещё вопрос. Что вы думаете о криминальной группировке «Ракета»? Кто такой этот Архип Ракета?

Борис Угольник вдруг увидел себя со стороны — словно б он дрессированная собачка, которая по команде оглашает цирк лаем.

— Это очередной вопрос?

— Очередной.

— Много ещё?

— Что?

10. Библия наизнанку

— Одновременно с тем мы станем милосерднее Христа!

— Такой вздор несёт, такой вздор несёт, — пробормотала расстроено Снежана.

А Штёрт продолжал:

— По сути, Библия в целом — с декалогом и Евангелием внутри, а может, и историей Израиля, — этакий рудимент, как зуб мудрости, который мешает жить. Но как *дошата*ть его и выдернуть вон? Как сделать Библию музейным реквизитом? С какой стороны следует пошатывать?.. А вот с какой, с неожиданной! Мы станем милосерднее Христа!.. Заметили? Уже заставляем людей каяться не в своих грехах, а в чужих, в грехах предков. Правильно догадались, конечно, я говорю о чернокожих, цветных, перед которыми белые ползали на коленях. Это было весело... Знаете, мы вообще должны отказаться от понятия «грех», заменив его понятием «наш закон». Библия осуждает половых извращенцев, называет содомитами? Мы же объявили их безгрешными, такими же, как все прочие, только гонимыми, которые нуждаются в защите! Как христиане первых веков!

Было сказано, что преисподняя поглощают грешников, как засуха и жара снежную воду... К чему эти сравнения у Иова? Сказано звонко. Но мы уже убедились, что некоторые его суждения формально устарели, но если устарело одно высказывание и второе, так значит и в остальном многом устарело. Конечно. Нам надо двигаться дальше. В Евангелии, например, сказано (и это всех волнует) не просто «не прелюбодействуй», как у Моисея, а «*кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею*». Мы и здесь пошли дальше. У нас приставание — это *харассмент* и тюрьма! Да! А с другой стороны, мы отменили понятие «пол». Не надо нам мужчин и женщин, «пап» и «мам», «бабушек» и «дедушек»... Всё в Библии нуждается в уточнении, дополнении и определённых исключениях. Текст нуждается в редакторской правке!

— А прадедушка? — спросила вдруг Снежана.

Штёрт с быстротой вспышки молнии сообразил и ответил:

— Ваш, леди Снежана, прадедушка Максим — был великий человек и таковым в моей памяти останется. Я восхищён его коллекцией искусства, и мне будет жаль, если она уйдёт с молотка.

Снежана была озадачена: оказывается, её специально пригласил этот обаятельный чёрт Штёрт. Вот почему дядя поставил условие — либо коллоквиум, либо она лишается коллекции Максима. Дяде Виталию сделали предложение, от которого тот не смог отказаться! Но зачем? Это всё какие-то игры... оскорбительные игры, игры стариков, конечный смысл которых тёмн, непонятен!

Теперь она думала о том, как бы от всего этого устранилась, не участвовать, но при этом отбыть Банфе до конца, чтобы в её образовательном активе всё-таки возникла запись «*Альтернативный коллоквиум Штёрта*». Чтобы дядю не рассердить.

В ней переливались ощущения от услышанного. Очень хотелось взять да и уехать. Но хотелось дожидаться и услышать, к чему клонит Штёрт, скажет ли прямо, что его коллоквиумы заняты подготовлением мира к концу света? Хорошо бы остаться и ради смирения, думала она. Она упрашивала себя. Упросила и осталась, во всяком случае, до завтра.

Доктор Штёрт тем временем не умолкал, мысль его клубилась, неслась туманами и вихрями:

— Ведь как бывает: натянет человек на себя, пардон, нижнее бельё шиворот-навыворот — и страдает. Оно ему трёт или неправильно волнует. И что прикажете делать? Вывернутая наизнанку нашими предками Библия — это рецепт, как получить всё здесь и сейчас. Не для всех, разумеется, но хотя бы для пресловутого золотого миллиарда. Да, наши предки нашли выход. Где надо, подправили в себе взгляд сквозь призму заветов, где надо, подчистили. Теперь мы уже умеем посылать на войну народы, которых не жалко, для добычи ресурсов. Не говорите, что здесь мы входим в противоречие с собой, в той части, где утверждаем «жизнь каждой букашки ценна». Путь только кто-то попробует обвинить нас в цинизме... Чувствую, кто-то хочет внести предложение! Я жду. Забудьте на эти оставшиеся дни о своих статусах, состояниях, родне. Взгляните на себя со стороны. Вот — вы. И вот мировая история. И вечность вокруг нас. У кого-то есть на сей счёт идеи?

— Да! — из ниши помахала рукой худая дама в розовой шляпе.

— Милости просим к микрофону, леди Роджерс, — со светлой улыбкой проговорил Штёрт, подкатив к ней, отдавая микрофон даме в руки.

— Я помню своё детство в Нью-Йорке, — Роджерс начала молодым звонким голосом, не вставая. — Я видела много тараканов. Их всюду было очень-очень много! Их не любили! Их ненавидели! Их топтали ногами, били газетой, их обливали кипятком... А сейчас их совсем не стало... Мне говорят, виноваты смартфоны. Возможно. Но в доме престарелых, в котором я бываю по зову души, я однажды увидела таракана! Ах, как я обрадовалась! Я попросила. Мне поймали троих. Теперь я их кормлю, я их жалею. Они такие маленькие, такие глупые и пугливые, они так быстро бегают... Я не хочу, чтобы они исчезли, я жду их потомства! Может, они однополье? Как их отличить? Предлагаю начать всемирную кампанию по реабилитации тараканов! Для чего? — спросите вы...

— Не спросим! — остановил её доктор Штёрт. — Потому что знаем ответ! Изменив отношение к таракану, превратив его в своём сознании в бедное гонимое существо, которое нуждается в за-

щите, мы изменим сознание человека, в котором сострадания будет больше, чем в христианстве... Чтобы никто и подумать не мог, что его можно безнаказанно кипятком или тапком! Отличный проект! Аплодировать леди Роджерс будем?

Похлопали.

«Сумасшедший дом, — думала Снежана уныло. — Но оставшиеся дни выдержу. Укрепи меня, Боже!». Она нашла взглядом Ричарда, тот с улыбкой наблюдал за ней. Понятна была причина его веселья (вот попали, так попали!) и сама хмыкнула, прикрыв на своём лице смех ладонью. Они стали пробираться к выходу, каждый своим путём. В холле встретились.

— Хочу кофе с коньяком, — не здороваясь, сказала она со смехом.

За круговым окном бара шёл снег. Прямо на глазах он превращался в дождь, воздух сделался прозрачно сер, в нём проявилась гора со скалистыми зубцами; где-то ударил гром, в серых тучах золотой слюдой просквозили молнии; стало тревожно.

— Оказывается, цель коллоквиума — создание некоего проекта, — сказал Рич. — Теперь объявлен конкурс. Будешь тараканов защищать?

— Скорее бы всё закончилось, — отмахнулась Снежана. — У меня голова от этой дичи разболелась... Пусть принесут рюмку коньяка — и нужно выйти на воздух.

— Там дождь.

— Пусть зонты принесут.

Зонты им принесли, но они остались в баре.

— Сижу здесь по воле моего дяди. На него кто-то надавил, и *он уважать себя заставил*, сказал, что не оставит мне коллекцию Максима, если не поеду в Банф. И вообще больше её не увижу. Теперь ясно, есть заговор вокруг меня. Я никогда не смеялась, когда кто-то выдвигал конспирологические версии. Вот и сейчас, когда меня коснулось, не до смеха.

— Хорошая коллекция?

— Очень! Для меня бесценная... Дядя Виталий — он такой, устроит аукцион и действительно, не увижу... Ведь не судиться же с ним?

— Почему бы и нет?

— Право на его стороне. При этом уверяет, что желает мне добра.

Снежана думала о Максиме, спросила вдруг:

— А ты что-нибудь коллекционировал?

Рич замер и буквально уставился на неё. Уже и прежде ему казалось, что Снежана обладает даром прозрения, умением читать мысли. А тут наложилось: подумал, что после глупой женитьбы был занят, кроме шахмат, собиранием коллекции женщин: жёлтых, красных, чёрных, мулаток, метисок, самбо, марабу...

— Что-нибудь коллекционировал в детстве? — переспросила Снежана. — Марки, камушки с моря, картины, ракушки?

— Отец мне тоже добра желает, — Рич позволил себе не расслышать, вернул разговор в прежнее русло. — И тоже, как и тебя, методом шантажа. Банковский счёт на неделю заблокировал. Продемонстрировал свои возможности. Что унижительно. Пытается встроить меня в систему...

— Сочувствую, — глаза Снежаны вдруг сверкнули. — Знаешь! Узнала. Оказывается, *русал*, который водяной, не в этом замке. Рядом городишко есть.

И они вдруг опять поссорились.

Он взял её за руку на столе, она как-то чрезвычайно внезапно и резко руку отдернула, как бы содрогнувшись, то ли от ужаса, то ли от отвращения.

— Тебе не интересно? Мумия *русала* не интересует? — спросила она.

— Не интересуюсь мужскими особями, — убито сказал Рич, оттягивая к своему колену ладонь, которая имела вид побитой собаки. — Зачем ты меня мучишь? Мне двадцать пять лет...

— Опять?

Ричард прогулялся к барной стойке, вернулся с большой рюмкой коньяка, выпил и, усевшись на место, стал неприятно смотреть Снежане в глаза.

— Представляю...

— Что ты представляешь? — Снежана отодвинулась от стола.

— Представляю, что твой Роббер Ротшильд от тебя натерпелся! — вдруг брякнул он, расслабленный выпитым.

— Что-о?

— Роббу не завидую! Нет! Представляю вашу первую брачную ночь, как ты ему весь мозг выжгла!

Снежана поднялась, качнувшись:

— Ничего ты не можешь представить. Никогда ко мне не подходи!

Он допил последние капли и поклонился ей вслед:

— Иди к чёрту!

Из-за барной стойки игриво улыбнулась симпатичная раско-сая креолка. Такой у меня ещё не было, решил он. Кажется, китаянка, индианка, ирландка в одном лице. Он приподнял за горлышко пустую бутылку, поманил девушку к себе, повернув к ней стул Снежаны.

11. Элитарный пасьянс

— Много будет вопросов? — повторил Борис, не удержался и прибавил: — *Огласите весь список, пожалуйста.*

Борис никогда бы не признался, но в душе воспринимает жизнь как занятный материал для нескончаемого сборника анекдотов, видя во всём происходящем параллели и аналогии с уже отражённым в сатирико-комедийных сочинениях. Намеревался он даже составить нечто вроде таблицы Менделеева — «Таблицу смеха», внутри которой характеры и ситуации, даже и мировой истории, располагались бы в смеховом пространстве от Франсуа Рабле до Михаила Задорнова и Леонида Гайдая в соответствии с неким принципом, который бы фиксировал периодическую зависимость смеховых событий в диапазоне от тончайшей иронии до грубейшей площадной буффонады, пошлейшей. Но принципы пока не были найдены.

Борис был придумщиком некоторых кличек для «местных элитариев». Высмеивая столкновение мэра и губернатора на почве властолюбия, недавно сочинил басню «Бритый, Лысый и Павлин» по мотивам Крылова «Скупой и Курица».

Поймали как-то раз Павлина Лысый с Бритым
И думают, коль птица хороша,
Так яйца должна несть, из золота отлиты...

— Читал в прозаическом переводе вашу сказку про Бритого и Лысого, — сказал Рич. — Смешно, говорят. Скажите, что вы имеете в виду, когда про мэра и губернатора говорите, что пока они ждали золотых яиц от павлина, пёрышки проредили? Это они укорали бюджет?

— Не совсем. Поделили: это пёрышко мне, это тебе, это нам с тестем.

— А потом взяли и распотрошили Павлина, желая выяснить причину, почему яиц золотых нет? Зачем?

— Непереводаемая игра смыслов, — с серьёзным видом пояснил Борис, внутренне хохоча.

Ричард прислушался к тишине эфира и догадался, что Борис смеётся.

— Давайте всё-таки включим видеосвязь, — предложил он, словно прежде уже предлагал её включить.

— Я не против, — сразу согласился Угольник. — Ведь лучше видеть глаза друг друга, чем не видеть.

Облик американца произвёл на Бориса странное впечатление. Лицо обладателя уже знакомого голоса контрастировало с представлением о нём, которое сложилось. Борис всматривался в него, привыкая к облику человека, с которым был знаком заочно.

Несколько плутоватая и весёлая физиономия Бориса Ричу понравилась. А что не понравилось — рот, очень похожий на его собственный, Ричу свой рот безотчётно не нравился.

— Ещё есть вопрос, — несколько нахмурившись, проговорил Рич.

— Внимательно слушаю.

— У вас в городе есть такой человек — Иван Глебушон, астроном. Знаете, о ком я?

— А с чем связан вопрос? — Борис растерялся. — Точнее, как у нас говорят, с какой целью интересуетесь?

— Пока оставим вопрос за скобками этого разговора, — предложил Рич. — Как и вопрос о Ракете... Вы почему-то не захотели говорить об этих людях, хотя...

— Хотя вас заверили, что на все ваши вопросы отвечу с предельной ясностью?

— И ещё вас характеризовали как специалиста, который о каждом знает какую-нибудь маленькую тайну, как у нас говорят, знает о скелетах в шкафу. Вас интересует стоимость вопроса?

— Совершенно не интересует.

— Назовите сумму.

— Боюсь прогадать, — Борис рассмеялся в лицо Ричу.

— О, вижу, вы человек искренней и открытый! Говорите без стеснений. Если окажется, что это превышает бюджет предприятия, я вам об этом откровенно скажу. Только не спрашивайте меня о размерах нашего бюджета!

Самой большой неожиданностью было то, что, оказывается, его странный собутыльник Ваня Глебушон совершил некое открытие, которое заинтересовало важных иностранцев. Сам себе удивился: как это такая информационная мина оказалась рядом, а он и не заметил? Как такое вообще могло случиться? Почему-то и в голову не приходило, что Глебушон способен на что-то толковое! Живёт-живёт себе такой ботан, и вдруг — открытие.

У Бориса Угольника был огромный секрет от мэра Ярослава Лысяка. Если бы тот знал, что Борис имеет возможность наблюдать за всем происходящем в его кабинете, убил бы сгоряча. А не сгоряча — не сразу, помучив.

Угольник недавно получил от «Николай Николаича» в порядке обмена любезностями доступ к видеокамере в кабинете мэра.

Борис сидел у себя дома в рабочем кабинете, смотрел в экран телефона. Лысяк нервно вёл беседу о каких-то процентах с кем-то невидимым. Этот невидимый очень грамотно находился в глубине кабинета, не на стуле для посетителей, не попадая в объектив камеры. Неизвестный говорил непочтительно:

— За восемь, Ракета сказал, нам дешевле нового мэра посадить в твоё кресло. Не веришь?

— Верю, но с трудом, — отвечал Лысяк серьёзно. — Только на испуг меня брать не надо. Я этого не люблю. Архипу скажи, что пять процентов — это не то, что восемь. Так и скажи. А горячиться не будем.

Стукнула дверь. Значит, посетитель ушёл.

Борис тут же набрал Лысяка, спросил:

— Ярослав Анатольевич, вы свободны? Можете уделить?

— Вообще-то у меня обед, — ответил Ярослав Анатольевич. — Но если что-то срочное...

— Для меня не очень.

— Заинтриговал. Когда зайдёшь?

Отключившись от Бориса, Лысяк проговорил сам себе:

— Мэр я или не мэр? Восемь — много? Неужели?! В самый раз восемь. Смотри, как бы я сам среди вас кого не поменял.

Сообщение о том, что город Черкассы посетит дама из *того самого* клана Ротшильдов, произвело на местную элиту необыкновенное впечатление. Весть распространилась быстро.

Между мэром Ярославом Лысяком и губернатором Юрой Сквозным состоялся телефонный разговор.

— Это городская тема, — говорил Лысяк. — Я еду в университет.

— Универ в городе, а город в области, — я еду в универ. И лучше бы нам не делить гостью на части.

— Чтобы не делить, помни первую часть своих слов: «университет в городе». А город — моя парадия.

Архип Валерьевич Когут с погонялом «Ракета» на кухне своего загородного дома играл с внуком в шашки.

Его негласная жена Астра Павловна за тем же столом раскладывала пасьянс. В дверь заглянул охранник, сообщил почтительно, что звонили из мэрии, просили передать: завтра в Черкассы приедет англичанка-миллиардерша, будет выступать *в универе*.

— А нам-то что? — Архип с азартом съел четыре шашки внука и своей чёрной шашкой с отбитым ободком выскочил в дамки.

— Фонд какой-нибудь создаст? — спросила Астра Павловна. — Дарить что-нибудь будет?

— Будет. Хочет стипендию в память своего деда учредить, — ответил охранник.

— Стипендия — это хорошо, — задумчиво проговорила Астра Павловна. — Только у меня ничего не сошлось! Иди, Вадик, иди. — Она отпустила охранника, смешала карты, потом аккуратно собрала их в колоду и вложила колоду в синий бархатный мешочек с завязкой. — Так, мужчины! Давайте-ка все на горшок и бай-бай, в койку, — предложила она.

— Дед! — захныкал внук. — Ты меня опять своим треугольным Петрова обыграл! Давай лучше в «Чапаева»!

— В «Чапаева» не буду с тобой, — ответил Ракета. — В тот раз ты не стал шашки из-под шкафа доставать. А я на четвереньках ползал.

— Почему-то стало тревожно, — призналась Астра Павловна. — Пошли, Архип, завтра кого-нибудь в *универ*, пусть посмотрят, как там и что. Ишь, миллиардерша! Неспроста это.

12. Сумасшествие в Банфе

У них ни в чём согласия не было, но опаздывали, как сговорившись. Они и на пятый день опоздали и вновь вошли порознь. Снежана уселась так, чтобы его не видеть. Он — наоборот, чтобы её видеть. И оба получили желаемое: Рич видел её сзади.

Дядюшка Клаус впервые прореагировал на их опоздание, поклонился сначала ей, как бы издевательски приветствуя, затем — ему, и продолжил обращение ко всем:

— ...Вы, господа, не просто представители правящей элиты, а верхний её слой, сливки, если позволите мне это вполне художественно-кулинарное сравнение...

Снежану кольнуло, что Штёрт позволил себе такую гримасу в её адрес. Решила тут же уйти и всё-таки уехать, но взяла себя в руки, сказала себе: ничего страшного, по сути, не произошло: шут он и есть шут; шутам дозволено всё! Она лишь плечи развернула и безжалостно улыбнулась Штёрту, тот этого не заметил, говорил об элитарности.

Рич объяснил выходку Клауса тем, что, вероятно, отец звонил руководству коллоквиума, интересовался его «успехами». Этого следовало ждать.

— Не все знают, — продолжал дядюшка Клаус (сегодня он был в образе свободного художника), но каждый из вас перед тем, как попасть сюда, был проверен на способность генерировать идеи особого качества. Особого рода, я бы сказал. Эта способность никак не связана с вашей принадлежностью к классу золотого миллиарда. В сочетании же с принадлежностью к пресловутому классу, вы для человечества являетесь неимоверно ценными величинами! Неимоверно. Каждый из вас своего рода художник. При этом вы должны знать, что не всякий держащий кисть и мнящий себя творцом, таковым является.

Каждый человек может быть лишь волоском некой кисточки, которая находится в руке, о существовании которой «творец» даже и не догадывается. Каждый из вас может быть такой рукой и создавать тонкий рисунок, вести очень сложные игры. Я не говорю — высшего порядка, но высокого. Я сейчас не столько вас ин-

формирую, сколько предупреждаю, и мне не важно, все ли понимают меня. Открою секрет, зачем мы вас здесь собрали. Мы ждём, что вы сможете сгенерировать альтернативный самоуничтожению проект, чтобы мир тряхнуло, но чтобы он уцелел. Я лично ничего не имею против коллективного суицида в объёме Земного Шара... Во-первых, как тайный художник, скажу, это красиво: летит во вселенной наша планета, а на ней ни души, шевелятся океаны и зелёные леса, стоят мёртвые солнечные города, мёртвые заводы, мёртвые поля... Это перформанс высшего уровня. Ни участников, ни зрителей! Искусство в чистом виде.

Снежана заметила, как Рич пересел в нишу у окна, чтобы видеть её сбоку. Она с независимым видом глянула на него и уселась на своём диванчике ещё более свободно — положив ногу на ногу, а руку на руку. То, что при этом Ричу стали видны не только её лицо, золотой браслет на голом запястье, но и обе коленки, она хмуро сочла вызывающе правильным: пусть *таращится*, дотерплю; завтра уеду!

Клаус, оценив и поняв смысл перемены её позы, продолжил:

— Можно сказать, от вас требуется создание некоего произведения искусства, перформенса, что ли, в высшем и чистейшем виде!.. Да, те, *кто решают*, хотя ещё пожить. Поэтому большая война, слишком большая, финальная — это отвергается... Но встрясочка-то, думаю, не помешает? Поэтому нам ещё и интересны проблемы спасения китов и тараканов, зелёная энергетика, технологии гашения катастрофических пожаров, преодоления наводнений и астероидных угроз.

Снежана заметила, что в этот момент Штёрт своим огненно чёрным взором буквально въехал в глаза Ричарда и повторил:

— Да, и «метеоритно-астероидных угроз».

Ричард сделался бледен и как бы перестал понимать, что происходит вокруг. «Бедняга! — отчётливо подумала Снежана, — он, кажется, подвержен гипнозу?».

Ей это не понравилось, как всё в целом выступление Штёрта.

— Не надо ничего выдумывать! — кто-то вдруг прервал чудовищно-плавную речь Штёрта. Это произнёс, небрежно вскинув к потолку указательный палец, необыкновенно толстый человек, он едва умещался на двухместном диванчике. Толстяк был словно бы изготовлен по образцу капусты.

— Рад послушать вас, господин Оппенгеймер, — доктор Штёрт с готовностью передал тому микрофон.

— Апокалипсис, — проговорил тот твёрдо и с просветлённым лицом.

— Так-так! Слушаем вас.

— Шестая глава — спойлер.

— Продолжайте!

— Не надо ничего выдумывать, — толстяк чеканил каждое слово как заика, который справился со своей ненормальностью. — Нужно сделать всё так, как написано. И тянуть не надо.

Снежане были видны оба — и высоколобый толстяк с умным лицом, и дядюшка Клаус с ироничной полуулыбкой. На слове «Апокалипсис» лицо Штёрта вдруг странным образом преобразилось, оно сделалось словно бы лицом мертвеца, полуулыбка неприятно застыла, зубы воспринимались как зубы черепа!

— Надо следовать писаному Иоанном Богословом, — говорил толстяк. — Запустим спектакль в четыре акта и без антракта!

— Я, в общем, понял, — мёртво проговорил Штёрт. — Но продолжайте.

— С удовольствием! Первый акт: появляется всадник на белом коне. В руках его лук, на голове венец, корона... Аполлон в «Илиаде» Гомера, как мы помним, лупил, и именно из лука, без разбора стрелами налево и направо. Это была чума. Эпидемия. Всех бы кончил, если бы Ахиллес не додумался установить причину гнева этого демона. Эпидемия в короне — это пандемия коронавируса, конечно. Биологические лаборатории нам в помощь.

— Эпидемия — понятно, — проговорил доктор Клаус, несколько не оживая.

— Второй всадник... Забыл, какой масти...

— Конь рыжий, — подсказал Штёрт, и морщины его лица, недавно иронично организованные, покраснели, стали словно бы шрамы.

— У всадника на рыжем коне длинный меч. Это большая война. Итак, акт второй. Сплетаем интригу, чтобы народы начали войну, чтобы армия одного *фигашила* армию второго, чтобы в финале эти братья вонзили мечи друг в друга, освободив от себя территорию и природные ресурсы.

— Что ещё?

— Любовь и голод правят миром. Третий всадник...

— На вороном коне.

— Да, на чёрном коне. С весами в руках, на которых взвешиваются зёрна. Это, конечно, голод. Эпидемии и войны плюс голод. Голод логичен. Это третий акт.

— Ужас-ужас, — проговорили мёртвые губы. — А что же там четвёртый всадник на бледно-зеленом коне?

— В соответствии с логикой сюжета, имя его «смерть». Так в Откровении Иона Богослова и сказано: *имя «смерть»; и ад следовал за ним*. Финал эпохи эпидемий, войн, голода, усиленных, думаю, сериями искусственных землетрясений, грандиозных пожаров и наводнений. И холодом! Когда люди не смогут покупать себе газ и электричество. Так, полагаю, лишние миллиарды и уйдут в землю. Как вам такой проект, доктор Клаус?

— Вы говорите «голод»? — произнесли оживающие губы. — Ваша семья, господин Оппенгеймер, отлично справилась с проектом «обжорство», и в мире стало много глупых толстых людей, не подумайте, что я о вас лично. Вы один из умнейших людей, кого я встречал в жизни. Мне кажется, вы и с устройством голода справляетесь... Да и в целом проект, как вы понимаете, отличный. Но вынужден огорчить: не в нашей компетенции осуществлять такого рода проекты. Как ни жаль, — доктор Клаус неожиданно для всех широко зевнул, совершенно оживая всеми своими морщинами. — В компетенцию *нашего коллоквиума* разработка решений высшего порядка не входит. Инструменты, перечисленные вами — эпидемии, войны, голод, стихийные и рукотворные бедствия — очевидны и лежат на поверхности, как скальпель на столе хирурга, как топор палача, лежащий на плахе. Подобными проектами занимаются люди ординарные, те, кому положено заниматься. Я знаю их. Как-то проводил для них коллоквиум. Да, в Швейцарии, в городе Тун, в прекраснейшем замке на берегу озера... Была весна... При этом я, господин Оппенгеймер, считаю, что вы достойны наших самых громких аплодисментов! Правильно, господа?

На выходе из зала она дождалась Ричарда.

— Как ты? — спросила Снежана. — Тебе, вижу, как-то не по себе?

— Уже лучше, — ответил тот. — Надо прилечь. Штёрт из меня все соки выжал.

— Сегодня последний день, я завтра улетаю. Хочу съездить в Банф, глянуть всё-таки на мумию русала...

— Боюсь, поеду и опять поругаемся по неведомой причине. Может, на велосипедах прокатимся?

— А на велосипедах не поругается?

— Я бы не хотел.

— Пока! я в музей, — бросила она и вызвала по телефону своего водителя.

Рич сжал виски пальцами, потом стиснул кулак в кулаке, удержался, не стал догонять. Видел в окно, как она забралась в салон своей большой зелёной машины, зелёной, как его тоска. Мулат, лицом похожий на японца, улыбнулся ей двумя крупными, по-кроличьи круглыми зубами, закрыл за ней дверцу.

Наняв инструктора, Рич отправился кататься на горном велосипеде — учился спускаться с заснеженной горки. Инструктор была мускулистая негритянка лет тридцати. Упав на крутом спуске между камнями, он остался лежать, глядя в белое небо. Женщина подкатила к нему, склонилась, залопотала: «Простите, вам катание доставило неприятные чувства от падения». Он притянул её к себе и стал целовать в тонкие губы. Она не удивилась и не сопротивлялась. Комок снега залетел за шиворот, он содрогнулся и быстро поднялся. Заплатив столько, сколько никакие тренеры никогда не получали за прогулку, вернулся в замок и завалился спать.

13. Как правильно сжигать стихи

Борис заглянул к Ивану вместе с доцентом Фрицевым, не предупредив звонком. Собрались, оказывается, на реликтовые пески жечь стихи. Карман пальтишка Бориса оттопыривался горкой. У Фритцева в портфельчике тоже что-то позвякивало. Услышав про пески, Глебушон сообразил, о чём речь:

— Неужели? Стихи собрались жечь?

— Именно, — ответил за него Фритцев. — И Боря неумолим. Пойдѐшь с нами?

— Пойду, — согласился Иван. — Узнаем, не случится ли чего при сожжении стихов, в которых есть космическая энергия.

Спускаясь к Днепру по особой лесной тропинке, они повстречали под сосной печальную аспирантку Диану Грибоядову.

— Возьмѐм с собой, — предложил Фритцев. — А то, кажется, она вешаться собралась. Видно, несчастье у неё.

У Дианы в руках была верѐвка с петлѐй, а на щеках стояли мѐртвые слѐзы. Борис, который с Дианой знаком не был, глазом загорелся. «Не дадим человеку пропасть, — сказал. — Здравствуйте, — сказал. — Меня звать Боря Угольник». — «Я вас знаю, — уныло ответила Диана, — Вы в телевизоре за Украину профессионально переживаете. — И назвалась: — А я Диана Грибоядова».

Так на весеннем берегу Днепра, на реликтовых песках его, вблизи зарослей камыша и торчащих коряг, оказались Глебушон, Борис, Фритцев и Диана, обладательница невероятной фамилии. Глебушон костѐр разжѐг, с детства любил костры.

Борис всем налил в стаканчики, Глебушону — капнул.

— Последнее стихотворение сегодня ночью записал, — сказал он.

— Почему последнее? — спросила Диана.

— Завязываю со стихами, неправильное это дело. Пусть другие пишут. Сжигаю всё, новую жизнь начинаю.

— Я бы тоже сожгла, — сказала Диана, — старую жизнь.

— Значит, найдѐм общие точки, — Борис ещё веселее глазом загорелся.

Опустошили белые стаканчики, Фритцев сосиски на огне жарил, веточки обстругав и заострив. Борис читал с мятого листа в клеточку:

«Шмель в комнату пробрался через москитную сетку,
где-то щель нашѐл, зачем — не знаю, старался, нашѐл.
Любопытный верно.

Облетел он комнату, тяжело гудя,
надо мной кружок сделал — петлю Нестерова.
Я тапком махнул, промазал.

Шмель искал выход, проверил стекло на проходимость.

Уселся на сетку, вцепилась лапками в лесочное сплетение, в мелкие квадратики, видит волю, а воля ему не даёт. Так бы и я мог жить, вцепившись в решётку. Ладно, решил, дам шанс: смог пробраться, сумею и выбраться. Прикрыл фрамугу.

Остался шмель на сетке, как бы в тонком аквариуме. Я ушёл чаю выпить, полистал telegram, вернулся — нету шмеля, исчез. Почему-то обрадовался, сказал: «Молодец!» Может, это из-за близорукости я решил, что был шмель? Может, *глаз небесный* так вдруг проявился, ангельский, решив на меня взглянуть?»

— Так и было? — спросила Диана.

— Что сказать? — Борис видел её грудь под курточкой, свитером, блузкой и лифчиком. — Да, всё так и было, и именно такие мысли. Но это был не шмель, а толстая чёрная муха, какая-то необычная, круглая почти, как радужка глаза.

— А почему написал «шмель»?

— Подумал, у кого-то неприятное чувство возникнет. Шмель — животное всё-таки благородное.

— Так вы, журнашлюхи, всё и перевираете, — засмеялась и отвернулась от него Диана и сама всем налила, а Глебушону не капнула.

— Глупая чужая женщина, — отмахнулся Борис, и глаз на неё у него погас. — Не понимает, что значит «над вымыслом слезами обольюсь». За высокое искусство, господа. А это всё моё, — показал он на кипу тетрадей, вываленных на песок из рюкзака, — в пламя!

— Сбрось мне последнее на телефон и жги, — сказал Фритцев. — Это концептуально. Свобода, ничтожество, решётка. Ночь, улица, фонарь, аптека. Блока, знаете, пародировали.

Он что-то сказал в рифму, все посмеялись и тут же забыли, что он сказал и о чём, потому что несчастная Диана проговорила, отдышавшись от коньяка: «Знаете, у меня отец умирает. И ничего поделать нельзя. Лежит в больнице и умирает. Я с ним недавно лично познакомилась. Я ведь, знаете, родилась в тюрьме и родилась слепой...».

Все тут же сели кто на что и приготовились слушать.

— Мать от меня отказалась...

Возникла пауза, и Борис поспешил ею воспользоваться. Налил в стаканчики всем под самые края и Глебушону тоже, с надеждой.

Каждый употребили своё, Иван лишь поморщился, плеснув свой коньячок в огонь, и поспешил вынуть из углей сосиску. Остальные смотрели в раскрытую тетрадь, в костёр, который горел как бы в ужасе поднятыми к небу волосами.

— Я в тюремной больнице родилась. И матери не видела не потому, что она от меня, уродины, отказалась и бросила, даже кормить не стала, хотя отказалась и бросила, а потому что я была слепа. То есть даже в момент, когда она меня рожала, я не могла её видеть. Ведь нормальные деточки, рождаясь на свет, могут видеть мать через муть своего взора, сквозь пелену? Думаю, могут. А я и теоретически не могла. Я родилась не на свет, а из тьмы во тьму. Год я жила в специальном доме для инвалидов, все ждали, что я умру. А потом меня увидел доктор по фамилии Лев и сказал: ребёнок здоров, только в беде, нужно его выручить. Он мне сделал операцию. Катаракту с обоих глаз удалил. И я увидела Божий свет, я услышала свист райской птицы — соловья, и я сказала своё первое слово: «Лев!». Он сказал: «Меня зовут Лев, скажи: «Лев»». На картинке было животное с гривой, и был рыцарь. Он мне сказал: лев — животное и Лев — человек, это я. А это писатель, а это рыцарь, король Ричард Львиное Сердце... Я в интернате жила. Интернат над морем. В Одессе. Туда педофилы со всей Украины приезжали. Дети с пяти лет подрабатывали. И мальчики, и девочки. Но я про это больше говорить не буду. Я училась, училась — и в университет поступила. Мне две стипендии дали. Но не потому, что я такая уж особенно способная, а потому что умею симпатию внушать. Пока я училась, отец несколько раз сидел в тюрьме. Он вор. Не крупный, не авторитет. А так — шестёрка. Нет! Не вор. Клептоман. Болезнь такая. Я не могла к нему никаких хороших чувств испытывать, но я испытывала. Думала, ну несчастный человек, невезучий. Я фамилию его взяла, когда выросла. Узнала, где живёт. Оказывается, здесь. Он одинокий стал, была какая-то жена, умерла, часть дома ему оставила. Я за него радовалась. Деньги появились, посылочку ему отправила — конфеты, книжку...

— Какую? — спросил Фритцев.

— «Севастопольские рассказы»... Случай выпал, перевелась в ваш город Че, тут как раз тема, в аспирантуру приняли. И стала за ним наблюдать. Он не пил, но на всём экономил. Я сначала не могла понять — зачем он себе в еду отказывает, всякую дрянь покупает, самое дешёвое. У него есть брат — в Москве... Так интересно, правда?! Один брат русский, а он, отец мой, украинец. Брат из Москвы ему деньги как-то прислал. Иногда у отца появлялись и другие деньги. Думаю, воровал... Совершенно дикий человек... Мат через слово... Мне сам признался, говорит, самое большое наслаждение в жизни — украсть. Прямо весь восторгом и весельем наполняешься. Это я своими словами, используя эвфемизмы... Думаю, это он специально матерился и про воровство врал. Такой человек... Сам здоровый, то есть крупный, как слон. А как ребёнок. Однажды говорит: поизносился я весь, а на рынке нет на меня трусов. Я Оксане заказала, у меня есть знакомая — Оксана, портниха. У неё рак, она медленно умирает. Вообще, мир так уст-

роен — совершенно горестным, всюду беда и несчастье. Потом узнала, что он, отец мой, все деньги тратит на интернет, чтобы порно смотреть. Так неприятно... Так неприятно! Потом я его по знакомству на работу устроила, грузчиком в «Любаву». А тут эта пандемия, он и заболел. Лежит под ИВЛ, говорят, умрёт. ИВЛ уже другому отдали. И ничего поделать нельзя.

— Из-за этого не вешаются, — сказал Борис и ещё всем налил.

— Я и не собиралась. Просто узлы учусь вязать. Вдруг пригодится.

— Врёшь, наверное? — спросил Фритцев. — Какие узлы?!

— Сразу в ад, — сказал Иван. — Раз — и в какой-нибудь лист протуберанца тебя завернут на какой-нибудь звезде, в какой-нибудь галактике, и будешь гореть и орать матом — и не будет тебе спасения.

— Вешаться и не собиралась. Просто прикинула, как бы это было. Но ведь это гадость, гадость. Все обгаживаются, обыскаются, это такой ужас, снимают тебя, а у тебя дерьма полные трусы. Я искупаться хочу. Отвернитесь. И она стала раздеваться.

Никто не отвернулся. Она видела, что никто не отворачивается, осталась в трусиках и лифчике, подошла к воде. Все содрогнулись. Она зашлёпала по воде, уходя на глубину.

— Вы что, мужчины? Я же морж, — сказала она и засмеялась.

Все отвернулись, когда она вышла и стала греться у огня, сняв с себя мокрое бельишко. Глебушон отдал свою рубашку, чтобы она волосы просушила, а то края волос промокли и с них капало, а Фритцев своё толстое пальто.

— Расскажи про педофилов в сиротском доме, — попросил Борис.

Диана промолчала.

Фритцев в этой связи надумал прочитать стихи Блока о муках поэта после посещения публичного дома:

Ты смелá! Так ещё будь бесстрашней!
Я — не муж, не жених твой, не друг!
Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце — острый французский каблук!

Когда-то по Серебряному веку Паша Фритцев готовил диссертацию, по Андрею Белому и Блоку. Знал на память много чего. Но в какой-то момент тема стала остро неактуальной, её и закрыли. Не успел защититься. Предложили поискать иное, созвучное европейским исканиям. Кандидатскую защитил по «Тошноте» Сартра. После чего штормами века его мотнуло в тему для докторской: «Киев — центр антиглобализма, катализатор возрождения святой Руси». В Киеве подсказали, что и эта тема не прокатит, что она непроходимей Белого и Блока, порекомендовали: не надо ви-

тать в облаках. И Павел Петрович с весёлой лёгкостью изменил название на «Киев как мировой центр глобализма», занырнув в тему «Украинская идея».

Глебушон не стал дожидаться, когда в костёр упадёт последняя тетрадь.

— Ладно, — сказал он. — Я — работать.

И он двинулся по реликтовым пескам вдоль кромки берега. Диана увязалась:

— Рубашку забери.

Фритцев и Угольник всё дождли и полезли бродить по холмам, через какой-то забор перелезли, попали в усадьбу ректора гуманитарного университета Иосифа Совы, в беседку забрались и стали рассуждать, выпивая: «Богато ректор живёт!» — «А чего ж ему не жить-то? Он и банкиром был, и губернатором «Золотой подковой» крутил». — «А что за подкова-то такая?» — А типа вокруг Москвы есть «Золотое кольцо России», так чтобы не плагиатничать в лоб, придумали «Золотую подкову Черкасщины». — «Тогда за туризм! и давай эту споём!» — «Нашу?» И они душевно запели: «Как ныне взбирается вещей Олег...». Допеть не судилось: сбежалась охрана, руки заломали, коленом Борису под дых ударили, чтобы не рыпался, полицию вызвали. Сова вмешался, глянув в счастливые лица Фритцева и Угольника, полицию в имение не впустил. Стал вопрошать бывшего поэта и своего профессора: «Что за неуместный антисемитизм? Причём здесь хазары?». Извинялись, объясняли: «У нас же день особый! Стихи гжли!...».

14. Есть идея!

Ричард проснулся среди ночи в своей огромной постели, в огромном своём номере в чрезвычайном возбуждении от сонных видений. Глаза открыл в черноту, и окатило ужасной мыслью: завтра придётся расстаться. Билеты заказаны. Она улетит в свой Ливерпуль, и нет силы, чтобы её остановить.

Или есть?

Он вышел голым на балкон; снег густо падал в лицо, залепляя глаза, облепляя тело, тая мгновенно, каждая снежинка — как отпечаток пальца; умылся снегом, растёр грудь, бока и живот. Угасил жар, что за миг до этого казалось невозможным.

«Если и был между нами мостик, — думала она, проснувшись под утро, — то сейчас разрушен, всё посыпалось».

Снежана так себе и представила, лёжа в широкой постели: арочный каменный мостик, на котором они стоят плечо к плечу, под ними заледенелая река, в которую из арки моста, из под их ног, выпадают серые булыжники, падают, падают, а они смотрят вниз и надо бы разбежаться в стороны, чтобы не рухнуть вместе.

В спортзале он встретил Штёрта.

— Ты один из всего коллоквиума, кто в состоянии с лёгкостью придумывать красивые игровые комбинации, — говорил ему дядюшка Клаус, вертя педали тренажёра. — Единственный! Сам видишь, с кем пришлось дело иметь — вырожденцы... Вот есть несколько мировых проблем...

— Тараканы?

— Не смейся над стариком. Например, таяние льдов, метеоритные угрозы, проблемы перенаселения и голода, в конце-то концов.

— Да я и свою проблему решить не могу.

Клаус хитро взглянул на него:

— Имя проблемы леди Снежана Филиппс?

— Вы всё знаете? — Рич бежал по дорожке.

— Советую совместить.

— Таяние льдов и Снежану?

Они поменялись тренажёрами.

— Почему бы и нет? Чем отличается гроссмейстер от шахматного любителя?

— Тем же, — сразу ответил Рич, — чем гениальный полководец от диванного стратега. Увидев крошечную возможность, устраивает атаку и, проводя атаку, использует все возможные ресурсы, жертвуя всем, чем угодно.

— Вот именно! Для любителя представить, что он может пожертвовать ферзя — немыслимо. Он такое и в расчёт никогда не возьмёт. Мастер такую жертву может рассматривать как первоочередную, потому что это красиво! Правильно?

День был последний. На заключительном семинаре Ричард отсутствовал.

«Вот и хорошо, — думала Снежана. — Домучаюсь и без него. А завтра в Лондон!»

Она отгородилась от происходящего наушниками, стала слушать лекцию о православных иконах, ничего не слыша из того, что говорит Штёрт и весь паноптикум.

Встретились на ужине. Снежана глянула холодно. Она вспомнила, что её было обидно, что вчера пришлось одной со своим водителем Сато Минато искать маленький городок, в котором главная достопримечательность — чудище с рыбьим хвостом.

Рич, приметив холодность, даже и возвеселился, поскольку именно этого ждал.

— Видела водяного?

— Русал: картон, чешуя и череп обезьяны. Ты много потерял.

— Скорблю. И это всё?

— Зато попала в музей снежинок.

— Снежинок? — усмехнулся Ричард.

— Да! Был такой человек в Америке, фермер, звали его Wilson Bentley. В юности увидел снежинку в микроскоп и был потрясён её дивной красотой. Представь, жизнь посвятил, чтобы открыть эту красоту людям. Ему было жаль, что некому оценить. Снежинка возникает и через миг исчезнет. Господин Бентли шестьдесят лет фотографировал снежинки. Электричества ещё не было! Совместил фотоаппарат с микроскопом... Утверждал, что двух одинаковых снежинок не бывало на свете... А ты, говорят, на лыжах с инструктором катался? Падал в снег?

— Я о другом хотел сказать, — Рич покраснел, подумав: неужели знает?! Но двинулся напролом, поделился:

— Придумал кое-что!

Они сидели за столом над чашечками с кофе. Он смотрел ей в розоватое изящное ухо, она — в черноту чашки, в которой бегали белые круги, отражая электрический свет. — Можем устроить высококласный перформанс. Вместе с инсталляцией. То, что ты любишь. И дядюшке Клаусу наверняка понравится.

Ушко её было изысканно розово, с тоненьким и нежным ободком, оббегающим раковину волной, в мочке виднелась затянувшаяся дырочка от прокола. Волосы, уложенные ровно волосок к волоску, за ухом уходили на шею и за плечо. Он знал, в Банф она приехала с парикмахером, камердинером и водителем зелёного лимузина. Парикмахер посетил её недавно, значит, для него причёсана. Живот сам собой потянулся, захотелось прикоснуться к её шее губами. Снежана спросила рассеяннo, поворачивая к нему лицо:

— Что?

— Ты сразу не отказывайся! — Рич сглотнул слюну. — Мне, конечно, не интересен весь бред, который здесь обсуждают, но... Например, интереса ради, взглянем на факт, что к Земле летит астероид. А он ведь действительно летит и может, представлять опасность.

— А может и не представлять?

— Конечно.

— Летит, да не простой, а золотой? — усмехнулась Снежана, вдруг почему-то поняв, что жаль, не выйдет за него замуж, даже и в знак протеста против всей своей жизни.

— Золотой?

Она, словно б с огорчением, удивилась:

— Нет? не золотой? Ну и жаль. Было б как в сказке. Не простой, а золотой.

Рич смеялся глазами.

Он по-особому всматривался в Снежану, словно б себя в ней пряча. Она с напряжением глянула, подумав: а что, могла бы и выйти! Как в нём всё опасно жаром светится. Жаль, сама загореться не могу. Не тот он мужчина. Толстоват.

— Так что... Что ты про астероид говоришь?

— Летит по направлению к Земле. Сначала думали, это астероид «Маска». Лет сто назад открыт. Похож на театральную драматическую маску, рот с плачущим ртом, — Рич нарисовал опущенные губы на салфетке. — Но недавно выяснили, что на его фоне летит другой астероид. Такое совпадение. Спрятался на его фоне как... как соринка на камне. Поэтому был до последнего момента невидим. Назвали почему-то Sneg. На огромном расстоянии от Mask. Но уже близок к Земле. Наблюдатели прозевали. Говорят, такое не впервые. Траектории Земли и Sneg теоретически пересекаются. Но мало ли какие траектории пересекаются! Это вовсе не значит, что пересекутся объекты. Вероятность, конечно, мала, мизерна. Но эта неопределённость...

Он было хотел сказать, что эта неопределённость и является ключевым игровым моментом, который он придумал использовать для проведения грандиозного перформанса. Мол, стоит лишь подсунуть какому-нибудь провинциальному астроному-любителю правдоподобный, но чуть искажённый расчёт, согласно которому столкновение в густонаселённом районе Земли неизбежно, привлечь прессу, то количество и качество эмоций превзойдут по яркости и живости труды всех художников и режиссёров вместе взятых! Но ничего из этого раскрывать Ричард не стал, как опустил он и заготовленную для неё мысль, что, мол, до последнего момента никто не будет знать, что все участники перформанса являются красками её художественной кисти.

— Но эта неопределённость, — сказал он, — создаёт пространство для ожидаемых возможностей при развитии сюжета.

Снежана последнее поняла смутно, поэтому призналась:

— Во всей твоей истории заинтересовало то, что астероид называется «Снег». Почти мой тёзка. Мужчина только.

— Как русалка и русал!

— Не напоминай, пожалуйста, о монстре, — попросила она, нос сморщив.

— А вот послушай! — проговорил он, почувствовав воодушевление и намазывая чёрную зернистую икру на хлеб с маслом. — Сегодня я предпринял кое-какие действия по развитию нашего проекта.

— Нашего? Ага, — кивнула она, делая первый глоток из кофейной чашечки. — Поделись.

— Представь. Нашёл трёх подходящих чудаков. Блогеры, задвинутые на астрономию.

— И что же они? Только ты ведь помнишь, я завтра улетаю в Лондон. У меня две выставки зависли.

— Помню. Один живёт в Австралии, — невозмутимо продолжил Рич. — Ты бывала в Сиднее?

— Нет.

— Вот и повод. Другой в Париже... Давно была в Париже? Не планируешь посетить Неделю высокой моды?

— Не планирую. А в Австралии не была. В Сиднее есть музей, там алмазная туфелька величиною с дом...

— Отлично! Ещё один, третий... В моём списке самый перспективный. Он даже и не любитель, профессионал. Именно он, кстати, высчитал, что на фоне «Маски» летит другой астероид.

— «Снег»?

— Снег. Работает в маленьком провинциальном университете, заведует маленькой обсерваторией. Это Украина, Черкассы.

— Черка-ааассы? — вдруг почему-то ахнула и мило улыбнулась Снежана, чашка опрокинулась, кофе чёрным пятном поплыло по скатерти.

— Знаешь такой городок? — Рич не заметил пятна.

— Городок сказочной мечты! — Снежана тоже не заметила. — Макс там родился. Прадед мой. Он мне рассказывал... Там круглый год весна, цветут деревья... Там цветут деревья, как здесь в зимнем саду...

Два официанта мгновенно всё поправили, сменив скатерть.

— Я с ним всё детство прожила в Лондоне, и он мне всё детство рассказывал про цветущие деревья, зелёные острова на большой реке, и о милых пятнистых коровах, которые пасутся на островах в высокой траве. Когда он уже обо всём на свете от старости забыл, когда никого не узнавал, а меня называл «мамочка Туся», то и тогда просил: «Поедем, мамочка Туся, на лодке на наш зелёный остров, где высокая травка и наш милый домик. Надень, мамочка, свою белую шляпу, возьми в руки свой белый зонтик...».

— Вот и повод мечту осуществить.

— Давно нет ни домика, ни зелёных островов, ни пятнистых коров... Всякая осуществлённая мечта — убитая мечта.

Снежана по инерции отнекивалась, при этом чувствуя: вот и случай побывать в Черкассах. Когда ещё! Она как-то думала о том, что в городке, наверняка, сохранились дома, в окнах которых отражался маленький Макс и его родители, проходя мимо...

— Не думаю, что всякая мечта, — сказал Рич и тут же отступил: — Всякая, так всякая.

Она умолкла, отодвинувшись от стола, вытянув ноги, опустив подбородок, как уснула. Понимала: всё, что Рич придумал — это чтобы с ней остаться. Ну и что из того? Внутри себя она уже решила: хочу видеть старые окна и зелёные острова! Снежана была достаточно сообразительна и догадалась, что мысль об астероиде подкинул Ричарду дядюшка Клаус, чего сам Рич, возможно, даже и не понял. Штёрту такой проект, конечно, более мил, чем чепуха со спасением тараканов («Фу, какая гадость!»). А Рич и не заметил, как в недра его хаотичных мыслей и желаний была вдвинута мысль об астероидной угрозе, которую можно использовать, чтобы остаться с ней.

— Послушай! — Рич с нарастающим запалом, подстегнул себя: — Всё-таки интересное дело. И этот астроном Глебушон, — такая у него странная фамилия. А звать — Иван. По праву первооткрывателя он придумал астероиду имя «Снег». Да, твой тёзка.

— Только мужского рода.

Рич улыбался: попалась!

Вечером Штёрт инструктировал Ричарда:

— Главное в эксперименте: Снежане никаких подробностей. Ты и так лишнего наговорил. Выкручивайся. Ей ни к чему знать. Так и не проболтается. А иначе, — я знаю женщин! — спать не будет, пока кому-нибудь не шепнёт на ушко... А не знает — и для чистоты эксперимента лучше. Пусть Снежана Филипп остаётся дамой с высоким положением и той милой женщиной, каковой она на самом деле является. Договорились?

ЧАСТЬ II. Май

15. Переполох на планёрке

Сидя одиноко за длинным столом президиума, ректор университета Яков Илькович Сова вёл расширенную планёрку. Его отвлек телефонный звонок. Во время разговора с губернатором Юрием Сквозным Яков Илькович произнёс всего несколько фраз, связанных между собой какими-то другим фразами, о которых сидящие в первых рядах могли лишь догадываться. Произнёс: «Ждём... всё готово... Я выйду с цветами?.. Нет? Понял, как бы внезапно. Понял. Всё понял, ждём...». При этом по угловатому его лицу, лицу вездливого человека, пробежали волны свекольного и молочного колера, медленно сменяя друг друга. Не дослушав выступления, он вернул на место докладчика, заместителя по хозяйству, и сам вышел на трибуну, украшенную золотым гербом на бирюзовом фоне. Ректор прокашлялся, вглядываясь в лица сотрудников, кажется, кого-то отыскивая.

Иван Глебушон располагался в последнем ряду конференц-зала и, поглощённый работой, вдохновенно смотрел на монитор ноута. Он не только не слышал, но и не чувствовал всего того, что происходило в зале. Выходило, что невидимая часть «Снега» длиннее видимой (исходя из общей массы). Длиннее раза в два, то есть в сторону Земли летит астероид внешне подобный кирпичу, причём торцом «вперёд», без вращения... Это странно.

И он вдруг ненаучно подумал: «Кирпич ни на какую голову просто так не падает!».

В тот самый момент, когда ректор произнёс три слова: «Всё понял, ждём», — одна из предполагаемых траекторий по расчёту Ивана устойчиво пересекалась с траекторией Земли.

«Вот это да! — внутренне охнул Глебушон. — Конечно, удар не может быть смертельным: не та масса! череп выдержит... наверное».

Рассуждал он мимолётно и как бы мечтательно: огромна вероятность — угодит в океан, семьдесят процентов планеты — океан, люди и не заметят. Может ударить и в необитаемый район, в пустыню, тундру, ледник или в какой-нибудь высокогорный район — вероятность процентов десять. Совсем мизерна вероятность того, что удар придётся в густонаселённую область. Но будь на то воля Божия, ударит хоть куда, хоть в Киев, хоть в Нью-Йорк или в Москву... Хоть в Санта-Розу, подумал он вдруг, с горькой сладостью почему-то вспомнив Светлану.

Примерно таким соображениями и был занят ум Ивана, когда в конференц-зале раздался нетерпеливый, как окрик, голос ректора:

— А ведь это и вас касается, пан Иван! (шёпотом: «как его по отчеству?») Иван Кириллович Глебушон!

— Что? — нехотя встрепенулся Иван. — Что — касается?

— То, о чём я говорю, что леди Снежана Филипс из Лондона решила помочь нашему университету. Специально для вас повторю, если вы проспали. Она готова пополнить фонды нашей научной библиотеки, учредить ряд именных стипендий в честь своего выдающегося родственника, нашего земляка, и профинансировать компьютеризацию вашего телескопа. Всё, можете спать дальше.

— Даже так? — пробормотал Глебушон, уловив хамоватость в речи ректора, и, отрываясь от монитора, автоматически повторив в себе дважды: «...профинансировать компьютеризацию... телескопа... вашего телескопа...». Из этого обрывка в его голове и выстроилось в почти стройное целое всё то, что Сова произнёс только что, когда Иван его не слышал.

Всё правильно понял! Так, верно, и об уровне солёности океана судят по одной его капле.

— Но где же?! — плюнув на хамство ректора, поднимаясь, проговорил Иван с нежностью. — Где же эта замечательная женщина?! — И вдруг пророкотал басом: — Я хочу видеть этого прекрасного человека!

Его громового голоса и нелюдимого вида, — он был несуразно лохмат и диковато небрит — многие побаивались. Напрягся и ректор. В светлом длинном зале возникла тишина, буквально физически закристаллизовавшись в майском солнечном воздухе.

Глебушон, поправив очки, ожидал ответа. В этот момент распахнулись двери в зал, кристаллическая решётка солнечной тишины обрушилась на паркет и раскатилась с дробным стуком. Повсюду с шумом возникли люди, фотоаппараты и телекамеры; произошло столпотворение. В толпе был замечен лысый мужчина в мятом модном костюме — мэр города Лысяк, в сопровождении свиты; в других дверях тут же обнаружился, и тоже со свитой, высокий молодой человек с весёлым лицом — новый губернатор Черкасского края Юрий Сквозной. Он был в хорошем американском костюме и при артистической и политически выверенной жёлто-синей бабочке на горле. Вошедшие спешно растеклись по проходам, занимая свободные места и места у стен. И тогда в дверях возникла особая женщина — с несколько по-милому кроличьим, что ли, лицом, во всём светло-розовом, юбка до пола, туфельки красные, в причёске две заколки алые.

Юбка «в пол» Глебушону сразу понравилась, потому что в университете юбки редкость, а длинные — небывалость. И лицо понравилось. Рядом с гостьей мешковато перемещался крупноголовый мужчина с белыми волосами и породистым лицом. Он тоже понравился.

Оба как бы слегка инопланетяне, подумал, трогательны. Сразу видно, брат и сестра.

Почему-то он решил, что они брат и сестра.

Гостья с порога властно заговорила на неплохом русском, с прелестной улыбкой прямо обращаясь к Якову Сове:

— Я очень приношу искреннее извинения. Не знаю, как это сказать по-украински... Но вот же так случилось, я приехала и будьте мне рады...

Сова, словно выброшенный катапультой из короба трибуны, летел к ней, вытянув перед собой розовые гладиолусы, произнося на ходу:

— Мы счастливы и благодарны!

При этом на угловатом его лице была маленькая глупая улыбка, выстроенная из узких губ, улыбка очень важного человека, которого больно укололи шилом.

Переполох, наконец, унялся; высокие гладиолусы уже заняли своё место в китайской вазе с пучеглазым драконом; Снежана и её мешковатый спутник усажены в президиум; справа от Снежаны расположился губернатор Сквозной, слева от Ричарда — мэр Лысьяк. Сова вернулся в короб трибуны. Гомон утих. Кристаллики солнечной тишины подсобрались с силами, вновь воспарили и на несколько мгновений наполнили зал.

Стало тихо и светло.

Тут и возникло ощущение всей мощи того магнитного поля, которое породила в зале эта женщина, обладательница миллиардов. Три сотни человек не сводили с неё глаз. Ректор Сова, хлебнув воды, обращаясь по-английски к мешковатому спутнику дамы, сидящему в президиуме на его месте, попросил разрешения сказать приветственное слово. Рич кивнул по-приятельски, сверкнув белой улыбкой с расщелиной в передних зубах, и закинул ногу на ногу. Сова, беря себя в руки, взволнованно заговорил:

— Пани Снежана!

И умолк. Он изобразил на лице ласковость и, указав на гостью обеими своими ладонями, словно через миг был готов принять её в свои отеческие объятия, продолжил:

— Пани Снежана принадлежит к знаменитому роду Ротшильдов. Её прадедушка родился и провёл своё счастливое детство в наших Черкассах. В Сосновке у них имелась дача, рядом с дачей светлейших князей Воронцовых. Он рассказывал правнучке, пани Снежане, о нашем замечательном городе, который он помнил тихим еврейским местечком. Всю свою долгую жизнь он рассказывал про наши цветущие абрикосы и яблони, про рыбаков на Днепре и их сети, которые они сушили на берегу, развесив на каких-то специальных палках, помнил наши зелёные острова, которые уже давным-давно исчезли, скрывшись под водами Кременчугского водохранилища, которое устроили коммунисты, проводя политику геноцида в отношении украинского народа, помнил коров, которых перевозили на острова на больших лодках, мясо которых отправляли в Москву, где и поныне в районе кровавой Лубянки существуют два Черкасских переулка, названных, якобы, по фамилии одного из домовладельцев, но и не только, как мы понимаем, не только: всюду наши люди...

Диана, сидевшая рядом с профессором Фритцевым, подумала, что Сова в присутствии влиятельной дамы немного сошёл с ума. Но больше всего Диану интересовала не дама, а её советник. Привстав на секундочку, Диана сфотографировала его и теперь разглядывала нездешнее лицо, прекрасное, как ей казалось. Она увеличила это лицо, приблизила. Глаза умные показались восхитительными, как и строение всей его крупной головы, а расщелина в зубах показалась трогательной.

Яков Сова, приметив, что некоторые в зале стали переглядываться, словно б он заговаривается, взял себя в руки и вернулся к главной линии:

— Считаю символичным, что леди Снежана посетила наш город в эти майские дни, когда так шикарно цветут каштаны и отцветают вишни...

Сообразив, что его вновь понесло в случайном направлении, он ещё раз попытался взять себя в руки, заговорил твёрже:

— Именно прадедушка заронил в душу леди Снежаны, в её сердце, любовь к нашему городу казацкой славы, земле Богдана, земле Тараса... Конечно, окажись её прадедушка сейчас в Черкасах, он бы мало что здесь узнал: нет ни коров, ни...

Профессор Фритцев, оказавшись случайно рядом с Дианой, теперь вспомнил, что она рассказывала о детском доме в Одессе и педофилах. Он тут же потряс головой, отогнав дурные мысли, и, выглядывая место, куда бы пересесть, сосредоточился на речи ректора.

Сова с умилением продолжал:

— Но как прадедушка был бы счастлив, если бы сейчас вдруг встретил пани Снежану на наших улицах, на улицах своего счастливого детства свою любимую правнучку Снежану...

— Нет, нет, нет! — засмеялась над перебором лести Снежана, поднимаясь из кресла. Встав, она вскинула ладонь, словно студентка, прося слова. Все, включая Глебушона, сидящего далеко от сцены, заметили на её мизинце рубиновый перстень, который полыхнул алым, алым полыхнули и камешки в её аккуратных ушах.

— Это не вполне так есть, — проговорила молодая заморская дама. — У прадедушки не было счастливое детство. В революцию он сделался сиротой. Его папу и маму убили... Дом, родовое имение его мамы поломали... Как это правильно сказать?

— Разграбили? — предположил губернатор.

— Разграбили! Добрые крестьяне из местных сёл несколько дней и ночей вывозили из их дома вещи на своих скрипучих телегах... Как это сказать? Диваны, стулья...

— Мебель, — подсказал губернатор.

— Пятьдесят телег!

— Ничего так себе! — помотал головой, посветив лысиной, мэр, словно б позавидовав, глядя на Снежану через локоть сэра Ричарда.

— Да. Ещё подушки, одеяла, ковры, одежду...

— Всё подряд, — понимающе кивнул головой губернатор.

— Да. Нашли в подвале бочки и много бутылок вина и стали пить. Все сильно напились и дом подожгли. Листы книг, даже ста-

рых фолиантов, улетали в небо... Всё-всё вокруг дома было усыпано книгами. Шкафы забрали на телеги, а книги... Всё-всё... Вся земля была усеяна рваными книгами. Прадедущка запомнил. Рассказал перед смертью, совсем перед смертью... было ему сто одиннадцать лет... Родители его, предки его очень любили книги и картины. Они были родней наследников светлейшего князя Григория Потёмкина. У самого светлейшего детей не было, — она вдруг заговорила совершенно чисто, грамотно и без акцента. — Приобрёл Потёмкин эти земли у польского князя Любомирского за золото... Картин было много, целая галерея во дворце в Мошенских горах! Портреты крестьян и гостей имения, местные пейзажи, полотна местных богомазов, казак Мамай — много, много картин. И больших рисунков. И маленьких — в альбомах. Всё горело и улетало в ночное небо... Но не будем о грустном?

— Не будем, не будем! — оживился, заскучавший было губернатор. — Кто старое помянет, тому глаз вон, как говорится.

— Отлично, глаз вон, — согласилась, сверкнув весёло зубками, Снежана. — Но кроме Ветхого, есть Новый Завет, который учит прощать. — Прочее было понятней: — Я должна сказать — как и почему я сюда попала. Ваш Dr. John Kirillovich Glebushon, — имя Глебушона она произнесла, словно бы нарочито коверкая слова, — совершил, как вы знаете, замечательное открытие, обнаружил прежде неведомый астероид, который, как выяснилось, летит по направлению к Земле...

Университетское руководство было искренне озадачено, более того, неприятно задето, узнав, что чудаковатый Ваня Глебушон сделал какое-то открытие, о котором стало известно в Америке, но о котором они слыхом не слыхивали. Сенсационное заявление заморской гостьи произвело в зале шум: некоторые из присутствующих стали оглядываться на Ивана, скрипя креслами, кто-то попытался ему дружески улыбнуться. Не озадачен был лишь сам Глебушон. Он не расслышал сказанного, увязнув в ноутбуке, следя за расчётами вариантов столкновения «Снега» с Землёй.

Его попросили пройти в президиум. Иван вновь не расслышал. Философ Фритцев, пересев от Дианы, вытянул сзади из его ушей наушники:

— Проснись и пой, твой звёздный час, Ваня!

Иван приподнялся и тут же плюхнулся обратно на своё место, уткнувшись в ноутбук, вернув наушники в уши: что-то он там увидел.

— Не будем ему мешать, — предложила Снежана, выбираясь из-за длинного стола президиума. — Учёные и художники бывают как дети, которые когда чем-то увлечены, ничего не замечают.

Пусть работает. А я продолжу, — она заговорила тише. — Скажу об учреждении нашего фонда, который я хотела бы назвать фондом имени Григория Потёмкина...

Мэр и губернатор в своих креслах дружно отшатнулись от стола и за спиной Ричарда стали недоумённо перешёптываться.

- Какого Потёмкина? Почему Потёмкина?
- Какое открытие? О чём вообще базар?
- Этот лохматый и есть учёный?
- Какой?
- Который встал и сел. В наушниках.
- Сам бы хотел знать.

Из зала велась телевизионная трансляция.

Архип Иванович Когут, известный многим как Архип Ракета, в своём кабинете в загородном дворце, глядя в телевизор, проговорил?

- А шо это за учёный — гусь перчёный?
- Про астронома говорят, — уверенно ответила ему верная его Астра Павловна, покачивая на коленке внучонка, читая тому книжку про трёх поросят. Она тут же пропищала, изображая глупого поросёнка: — «Какие здесь могут быть волки? — сказал Ниф-Ниф. — Никаких волков нет!..».

Борис, рядом с которым уселся философ Фритцев, заглянул Глебушону через плечо. На зеленоватом мониторе *ноута* прочерчивались и таяли какие-то кривые линии, в углу пробегали цифры и значки, кажется, некоторые были значками химических элементов.

— Я так и чувствовал! — сам себе с волнением проговорил Глебушон.

Поскольку камера в этот момент была направлена на него, многие заинтересовались:

- Что он там бормочет? — сказал мэр за спиной Ричарда.
- Что-то сказал, — эхом отозвался губернатор, так же откинувшись в кресле.
- О чём базар? — спросил Ракета свою разумницу Астру Павловну. Та в это время высаживала на горшок внука, который ухватил с пола поломанный кубик Рубика и грыз его, ответила бойко:
 - Сказал, что так он и думал.
 - О чём? И что он думал?
 - Если это астроном, который открыл астероид, тот, который летит к нам... Разберёмся. Только бы трансляцию не отключили.
 - Что ты говоришь? — не понял Архип.

— Думаю, летит к нам, так и прилетит... Может, в Черкассы?

— Да ладно! — отмахнулся Ракета, хотя давно уж привык доверять словам спутницы своей непростой жизни. Как-то ему даже пришлось объясняться с братвой: «Потому как чуйка у Астры огого! Поэтому и рядом. Советник!».

Снежана, неторопливо постукивая красными каблучками, мелькавшими из-под подола длинной розовой юбки, подходила к ряду, в котором сидел Иван.

— Покажите мне, мистер Глебушон, пожалуйста, — попросила она, мило ему улыбнувшись. — Что нового в космосе? Что вас взволновало?

— Абсолютно спокоен, — ответил Глебушон, хотя сердце в нём вдруг бешено застучало. — Просто большой объём, — он поднялся перед дамой и предложил ей место рядом. — Всё зависло. Ноутбук слабоват. Ничего определённого сказать нельзя... Но думаю, что Земле что-то грозит и на этот раз.

— Надеюсь, выключили телетрансляцию? — спросил губернатор кого-то в штатском.

— Так точно! — ответили ему. — Сейчас выключим.

— О чём вы сказали «я так и думал»?

— Что астероид летит к нам одной стороной. Иначе не объяснить, почему его масса столь значительна. А сам он формой как бы кирпич. Но всё это как-то странно. Почему же он не вращается?

— Ведь и Луна к нам обращена одной стороной, — блеснула познаниями в астрономии Снежана.

Конечно, она совсем дилетант, понимал Глебушон. Но сидеть рядом с ней было приятно. А говорить — приятно. Глебушон вновь вдруг разволновался, почувствовав тепло от её ноги и чистоту её дыхания.

В ямочке под горлом, в вырезе платья у неё был золотистый крестик, восьмиконечный, православный. Поэтому и спросил:

— Вы где остановились?

И она в ворота красной его лохматой рубахи заметила серебряный крестик и иконку. Поэтому просто и ответила:

— В архиерейском доме. В доме на аллее Путейко.

— Я знаю этот дом. В ограде церкви? С малиновой крышей?

— С вишнёвой...

И она рассказала, что, уезжая из Сан-Франциско, взяла благословение у духовника, а тот, узнав, что они с Ричем летят в Киев, а затем едут в Черкассы, передал с ними гостинец и позвонил черкасскому архиерею, который и предложили им пожить в гостевом доме с вишнёвой крышей, который сейчас пустует.

Руководство большой группой стояло у дверей, ждало, когда гостя договорит с Глебушоном. Все прочие давно уже отхлынули от них, многие начали расходиться. Подошёл Ричард, представился Ивану, записал из вежливости его контакты, хотя номер давно уже был в его телефоне и обозначен как «Stargazer» «Звездочёт»).

— Вы оба удивительно красивы, — внезапно признался Глебушон, зачарованно глядя в сияющие глаза Снежаны. — Нездешние какие-то.

— Давненько я не видел у Снежаны сияющих глаз, — заметил Ричард.

Снежана от растерянности перевела и эти его слова, смутилась, сообразив, что Глебушон знает английский.

— Вы нам покажете телескоп? — предложила она.

Слово «телескоп» она произнесла на английский манер — с мягкостью на «эл» и вызовом на «эс»: telescope.

— Да, я с удовольствием! Поёдемте!

И они втроём, оставив всех в некотором недоумении, вышли из зала.

— Ваня, вы куда?! — догнал его ректор в коридоре.

— Телескоп смотреть.

— Так и я с вами!

Около большого зелёного лимузина стоял, заложив руки за спину, крепенький негр, лицом похожий на японца, в зеленоватой униформе с блестящими пуговицами и в такой же фуражке с гербом на месте кокарды.

Он и улыбался как японец, вперёд выставив два круглых зуба.

Губернатор Сквозной, мэр Лысяк и ректор Сова, посоветовавшись между собой, развернулись к гостям, собиравшимся было усесться в свой лимузин.

— Уважаемые господа — леди Снежана и сэр Ричард! — заговорил Сквозной на отличном английском. — Руководство города и области будет счастливо устроить в честь посещения вами нашего края скромный приём. Да?

— С огромным удовольствием принимаем ваше любезное приглашение, — ответил Рич. — Расцениваем его как дружеский жест по отношению не только лично к нам, но и по отношению ко всему западному цивилизованному миру.

Ректор Сова всё тщательно переводил на украинский.

Снежана с чудесной улыбкой спросила губернатора на русском, сможет ли на мероприятии присутствовать лично сам mister Glebushon?

Поскольку Глебушон в это время как раз выходил из дверей университета, протирая очки, ректор Сова ему прямо и сказал:

— Ответь, мистер Иван, гостям. Сможешь быть на банкете? — И на украинском тихо добавил: — Это необходимость, Ваня...

Когда Снежана и Ричард забирались в салон лимузина, провожающие заметили, что их американская машина внутри похожа на зал маленького дворца. Там были цветы, что-то посверкивало в разных местах, а на столике стояли вазочки с разноцветными шариками мороженого, осыпанные миндальными орешками.

Лимузин тронулся — повлачил за собой шлейф осыпавшихся белых цветов с вишен; засквозили лепестки следом за зеленью машины, словно б тоскуя и мечтая её догнать, вернуться в зелень.

16. Дождь в воскресенье

Следующий день в университет был выходной: воскресенье.

Против обыкновения Глебушон не пошёл в Свято-Михайловский собор, а отправился в церковь Рождества, что на алле генерала Путейко; давно там не был. По дороге глазел в окно автобуса. Весна развернулась во всю ширь, как взрыв, и замерла. Утро тихим серым дождиком умывало светлую зелень листья и трав, сбивая с деревьев каплями мелкие цветы. Лепестки абрикосов и вишен ложились в лужи, на землю, траву, асфальт.

«Есть в весне что-то ужасное, чему не придаёшь значения», — думал он.

В храм он вошёл в момент начала чтения Часов; успел. Народу совсем немного: женщина в чёрном платке записочку пишет, юнец в толстых очках к праздничной иконе прикладывается, военный свечу ставит. По центру храма стояли железные строительные леса. Роспись стен и сводов ведётся много лет. Ставя свечу под иконой у широкой колонны справа, у левой увидел Снежану. Она смотрела вверх, на фреску. Ракурс лица был неожиданным. Не сразу поверил, что это она. Снежана была в изысканно светлом платье и такой же курточке, голова аккуратно обвязана красивым платком в золотистых узорах. Иван отступил за колонну, чтобы нечаянно её не смутить. Кончились Часы; прозвучал возглас, во мгновения которого у Глебушона в душе, — такое и прежде иногда случалось (и это он в себе любил), — возникало ощущение, что слышит он внутренним слухом, как в безднах вселенной, сотрясаясь, сотворяются звёздные миры. Началась Литургия, и он погрузился в стихию Литургии. Перед чтением Евангелия вспыхнул электрический свет, и вдруг стало заметно — в храме много свечей; полыхнул свечами алтарь.

Во время службы он видел, как Снежана встала в очередь к вышедшему для исповеди второму священнику.

Вчера всё в ней волнующе нравилось: и фигура, и наряд, и чистое девичье дыхание — когда она по-простому присела рядом. Сегодня всё в ней открылась так глубоко, как будто увидел её совершенно в другом пространственном мире. Так и было! Он видел, как она исповедуется, укрытая епитрахилью, что-то горячо и искренне говоря священнику, как смиренно берёт благословение, крестится. На каком-то глубинно-духовном уровне она стала ему родной. Чтобы случайно с нею не столкнуться, Иван вышел из церкви сразу после того, как она причастилась. Вышел и увидел со спины Ричарда. Тот стоял около арочного входа в архиерейский дом. Вчерашний водитель, на этот раз в белом спортивном костюме, изнутри отворил ему дверь.

Иван как-то был в этом доме, в гостях у жившего в нём священника. Тот, воодушевлённый, что архиерей благословил его поселиться с семьёй в этом, новом тогда, доме, устроил для гостей экскурсию. Дом запомнился большим. На первом этаже длинная трапезная с длинным столом и просторная кухня, несколько спален и большой гараж. На второй этаже вела деревянная лестница с лакированными перилами. Но туда Иван почему-то тогда не пошёл.

Теперь, глядя на окна первого и мансардного этажей, Иван попытался представить, как они, брат с сестрой, здесь разместились. Нечаянно заглянув в открытое окно, увидел двух женщин, возящихся с готовкой на кухне — одна помешивала ложкой в кастрюле, вторая нарезала салат.

Прочувствовал вдруг, сообразил: Снежана и Ричард — люди совершенно из другого мира. Ничего себе! приехали с прислугой и водителем. Лимузин — как вчера понял — притянули с собой в Киев на самолёте. Оттуда на нём и приехали. Конечно, — рассудил Иван, — на своей машине удобней, чем на такси, когда есть свой водитель. Оглянувшись на храм, на высокую трёхступенчатую кирпичную колокольню, перекрестился на купола.

Заскочив в кухню «чего-нибудь перекусить», Рич увидел сквозь жалюзи Ивана. Звездочёт, перекрестившись, выходил из церковных ворот на аллею.

Когда Снежана вернулась, Рич спросил об Иване: «Видела?». Снежана кивнула, пребывая в явной нелюдимой задумчивости. При этом она ещё больше обмерла и не проронила ни слова за всё время воскресного обеда, почти не притронувшись к еде.

— Не заболела? — спросил Рич.

Нос сморщила, что всегда очень ему не нравилось.

Блюда из кухни подавал её верный слуга — метис Сато Минато.

— Зря вы супчик не стали есть, — убирая на поднос «супчик», сказал тот. — Но вот рекомендую блинчики с творогом и яблочным вареньем. У нас не так делают...

— Да, вкусно, — подтвердил Рич.

Снежана с досадой, чтобы не смотреть на Рича, глянула в окно, подумав: американец и есть американец! Еда всегда должна быть вкусной, что об этом говорить! Прерванная мысль продлилась в ней: с этим звездочётом ничего не возможно? — Вслушивалась в себя. Представила его в своём лондонском окружении, в доме в Ливерпуле. Всё это немыслимо! А что мыслимо? Здесь остаться? И это немыслимо. Человек совершенно чужой... Проговорив так про себя, поняла, что не чужой! Да, по-особому ни на кого не похожий. Но... А никаких «но» и нет. Ещё вчера, находясь с ним рядом, почувствовала вдруг себя счастливой. Как женщина, которой вот-вот улыбнётся счастье!

Рич даже заметил — глаза, говорит, сверкали. Рич всё-таки чуткий.

Не прикоснулась и к блинчикам, лишь ложкой яблочное варенье ковырнула.

Окончание в следующем номере

Имильян ДОРОШЕНКО (Андрей БЛОКБАСТЕР)

/ Винница /



* * *

Ветер разбил окно
на тысячи осколков — бабочек,
которые улетели...

* * *

Мастер йоги
не ловит рыбу на удочку,
он созерцает поплавков
в тишине волн...

* * *

Время взросления
можно замедлить,
рассматривая свои детские фотографии...

* * *

Самурай поднял меч —
Будет драться.
Нет, он просто ударом меча
Поменял направление ветра
С северного — на южный.

* * *

Осень открыла шторы листьев,
Они падают прямо в моей голове...

* * *

Ветер манит меня на юг.
Лечу в самолете,
Догоняя свой ветер.

* * *

Собака случайно попала на пианино
И стала нажимать лапами на клавиши.
«Боже, — воскликнул хозяин, —
Она играет собачий вальс!»

* * *

Мальчик увидел падающую звезду
и загадал желание,
чтоб у всех людей на земле
исполнилось одно желание.

* * *

Если ты веришь,
Что упадёшь,
Ты упадёшь...

* * *

Дождь идёт внутри моей души,
смывая грехи на асфальт.

Павло МАСЛАК

/ Київ /



ДВА ОПОВІДАННЯ

Затемнення

Ракетна атака розпочалася дещо несподівано. Звісно, повітряна тривога пролунала ще пів години тому. Гучні, але й меланхолічні, співи сирен примушували відчувати себе Одиссеєм, та Максим не прив'язував себе до щогли, якої взагалі не було, адже будь вона тут, то просто проштрикнула б квартиру поверхом вище.

І тоді б неодмінно з'явився сусіда зверху зі своїм невпинним перфоратором наготові й почав базікати. А говорити Максим не любив, особливо з людьми. Хоча коти й собаки розуміли його чудово, завжди вітали при зустрічі, та й сам він ставився до них із повагою.

Дві ракети пролетіли над його будинком із пронизливим сюрчанням останніх осінніх цвіркунів. А потім пролунали голосні вибухи, настільки громохкі, що навіть шибки у вікнах дзвінко затремтіли, мабуть злякалися. У хаті потемнішало — чи тому, що вимкнулась електрика, чи від листопадової темені, коли вже о четвертій сонце провалюється геть і навіть не встигає зойкнути останнім променем. Мобільний телефон повідомив сором'язливою скоромовкою: «Зв'язок відсутній». Максим не здивувався, бо це вже було певною ознакою, прикметою — нема електрики, то не буде й контакту з навколишнім світом! Цивілізація...

Він поплентався до кухні, щоб попити, але й вода зникла як невловимий сон: от щойно ти заринався в нього, відчував себе частиною його, аж раптом гульк! — ти в холодному ліжку, з мокрими очима й пересохлим горлом... Промайнула лише одна думка: «Тю...» Мимохить Максим, ніби улюблену кицю, погладив долонею батарею, однаке опалення теж пропало, і температура в кімнаті почала стрімко падати, неначе зі скелі в прірву, буцімто у вільному польоті, коли ти холодієш та аж ніяк не відчуваєш себе вільним.

Вдягатися в напівтемній кімнаті було дещо незручно — штани обплітали ноги, а ліва холоша взагалі ховалась у пільмі та по-

стійно скручувалася вузлами знизу. Тоді Максим увімкнув кишеньковий ліхтарик, і штани одразу стрійно вирівнялися, вже навіть готові були віддати честь, але рукава знаходилися в іншому підрозділі. Мета Максима була доволі проста — вийти на вулицю й попити гарячого чаю в кав'яреньці, що поблизу працювала на бензиновому генераторі (бо невідомо, коли електрика ввімкнеться).

Однак усе складалося непросто. Осінні калюжі ніби зі снігом побралися. Схожі на нічні кошмари — невизначеної глибини, — вони заманювали своєю простотою й відкритістю. Та варто було лише потрапити в їхні обійми, як холодна темрява заливала ноги і душу... Перехожі, звично, були доволі дивними. Якось бабуся, вбрана як чортик із табакерки, водала до своєї маленької собачки (до речі, теж вдягнутої в строкаті штани): «Жуля! Не ходи туди! А ну повертайся! Не йди туди! Жуля, ти що — глухоніма?»

І в цей же час за спиною Максима пролунало гучно: «Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!» — і все це під дзвінки стройові кроки, від яких краплі калюжної води розліталися, ніби сполохана зграя птахів. Це був місцевий дурник на прізвисько Лабодя, який навіть влітку ходив у довжелезному макінтоші, а своїми вигуками так лякав дітей навколо, що ті раптово починали лопотіти іноземними мовами. Максим майже непомітним нахилом голови привітався з дурником, оскільки бачив його вже не вперше. І справді — у минулому столітті вони разом навчалися в одному коледжі, але потім кожен пішов своїм шляхом.

Стихийний базарчик поряд із кав'ярнею був доволі людний — відсутність світла гнала людей на вулицю й примушувала задля хоча б якоїсь розваги щось купувати. Про що говорилося навколо, Максим не міг второпати, оскільки до його вух долинали лише шматки, недоїдки розмов, ніби кургузій краєчок піци, що кинули в смітник.

«Скільки коштує ваша печінка?» — «Моя безцінна, а про яловичу можемо поговорити». — «Та який же це кролик? Це — нутрія!» — «А ви на лапу, на лапу подивіться! І полапайте — вона не штучна!» — «У вас теж зв'язку нема? Чи є якісь зв'язки?» — «Ой, всі ці зв'язки такі небезпечні... Читала от одного експерта, П'єра Шодерло де Лакло, так він...» — «Я кажу — це аварійне вимкнення!» — «А я кажу — це за графіком, графічне!»

Певна графіка вбачалась і в навколишньому просторі: нудна мжичка маскувалася під світлий сніг, а отже білий мазок, вкладений вміло, лише підкреслював спадаючий присмерк. Та й фігури навкруги з геометричною штучністю креслили свої кроки. Майже груди-в-груди Максим зіштовхнувся з перехожим, якого спочатку сприйняв за жердину, якими підпирають штучні навіси в ятках. Але на цій палі згори було щось схоже на пілотський шолом у стилі ретро, хоча весь інший вислий одяг наводив на думки про безхатька. Постать не давала можливості визначити

гендерні ознаки, вона лише світилася великими очима. «Аж надто великими...» — підкреслив Максим, і ця риска підштовхнула думки в бік обачності й ризику.

Втім цей сторонній лише хитав головою й намагався щось мовити. Величезні очі з зеленуватого обличчя дивилися з непохитною журбою. Зненацька праве око в нього закотилося в зеніт, а ліве занурилось у надир. Він ще й поволі почав підіймати руки догори, тож взагалі став схожим на опудало, яке ще не встигли набити соломою.

— Зв'язку... — почулося тихе шипіння невідомої істоти, ніби шерех ящірки по сухому листі. — Нема зв'язку з кораблем...

Із неперевіраних джерел Максиму було добре відомо, що прибульці вельми цікавляться війнами на Землі й завжди ладні викрасити кого-небудь. Максим не хотів бути викраденим і перетворитися на «Крик» Мунка, тому він дістав із кишені невеличку купюру, сунув її в руку прибульця та відсторонено дав пораду:

— Спробуйте підключити роумінг...

На вулиці стрімко темнішало, і гарячого чаю вже не хотілося. Максим поважливо кивнув жердині та хутко попрямував додому. Однак хутко це зробити не вдалося.

— Sir, — гукнув до нього дитячий впевнений голос, — don't you want to buy a toy for your cat?¹

Схоже, тут нещодавно проходив Лабодя... Проте маленька леді пояснила:

— Ми розпродаємо свої іграшки й збираємо гроші для ЗСУ.

Дійсно, на засніженій лавці було розкладено чимало цінного для діточок певного віку — конструктори та фігурки з кіндер-сюрпризів, яскраві пластикові пупси, гральні кубики різних розмірів і кольорів... Дівчинка та дві її подруги сліпучими ліхтариками освітлювали свої скарби й з очікуванням дивилися на Максима. Потім лідерка гурту простягнула йому сіру мишку:

— Дідусю, може таке вам підійде?

«Але ж kota в мене немає...» — подумав Максим, але взяв іграшку й почав її роздивлятися.

— Це з пап'є-маше?

— Так! — радісно відповіла юна волонтерка. — Із пап'є-миш'є! Я сама цю мишку зробила!

Максим віддав усі свої гроші, хоча й було їх небагато, а мишку поклав до кишені. Та одразу зашурхотіла й почала підгризати крихти від учорашнього гарячого сандвіча, який Максим відносив додому собі на вечерю.

Проходячи повз дитячий майданчик, який був засніжений нанівець, він раптом почув неспіле нявкотіння. Розгледіти кошеня на білому сніговому тлі було майже неможливо — чорнив лише крихітний трикутник носу та великі-великі очі. «Аж надто ве-

¹ Пане, чи не бажаєте придбати іграшку для свого котика?

ликі...» — подумав Максим і, наче викрадач, озирнувся вправо-вліво. Обабіч нікого не було, тож кошеня швидко опинилося під курткою на рівні живота.

Біля під'їзду сусідки-тітки обговорювали вчорашні новини, оскільки сьогоднішніх отримати ще не змогли. Коли Максим проходив повз них, вони замовкли й почали пильно придивлятися до нього, бо однією рукою він підтримував пузо, немовби ніс плід.

Тільки-но Максим увійшов до своєї квартири, як смартфон його чітко проговорив: «Відбій повітряної тривоги!» Чомусь і світло враз з'явилося.

«Це мабуть аварійне ввімкнення», — подумав Максим і швидко на електричній плиті почав варити каву — саме таку, яка була йому до вподоби. Біле кошеня, лежачи посеред кухні, вміло вилизувало одну зі своїх лап, не звертало уваги на паперову мишку й скося поглядало на Максима своїми величезними очима.

І Максим радів, що викрадення все ж відбулося.

Чорна п'ятниця

«Може, це я створив зірки й сонце,
та я вже цього не пам'ятаю.»

Хорхе Луїс Борхес. Дім Астеріона

На зупинці з автобуса вийшов лише я сам-один. Дійсно, кого ще могло занести в таку глушину? Не встиг зробити й декількох кроків по засніженій доріжці, як мою увагу привернула до себе ґава. Неподалік від мене вона, схоже, вполювала величезну кістку з залишками чогось мабуть смачненького. Та здолати такий розмір їй було складно, тож я зупинився й почав спостерігати кумедні події.

ґава ухопила кістку міцним своїм дзьобом і злетіла. Точніше, хотіла злетіти, та чимала вага кістки потягнула до землі, ґава перекинулась у повітрі, фактично зробила сальто, і вронила свою здобич. З другої спроби все повторилося: повітряне сальто й кістка на землі. Та недарма ворони вважаються вельми розумними! З кісткою в дзьобі ґава почала робити розгін: вона бігла як маленький прадавній динозавр, а потім різко піднялась угору. Сальто... Наступний розбіг був ще тривалішим, проте зліт нарешті виявився вдалим: ґава поволі набирала висоту. Коли вона, як важкий бомбардувальник, пролітала над дорогою, я занепокоївся: чи не зіб'є її машина, що швидко наближалася? На щастя, це виявився спортивний автомобіль із низьким лобом. Так що ґава помалу полетіла пригощати своїх родичів чи друзів.

Отак і ми в бажанні досягти мріяного здатні на усілякі кульбіти.

Чому я приперся аж у передмістя, хоча потрібний мені прилад міг придбати будь-де? Так, павербанки продавалися де завгодно — навіть у вуличних торгівців, які на вкритих газетою ящиках пропо-

нували разом із ними і ліхтарики, і «вічну лампу», і стеаринові свічки. Часи, коли електрика зникала раптово, ще й на невизначений термін, — саме вони формували попит.

Однак тиждень тому мій товариш переконливо порадив мені не лише «запастися» (як він сказав) павербанком, а й купити його саме в цьому магазині. Він навіть дав мені маленьку рекламну листівку з адресою сього закладу. З незрозумілою усмішкою він додав:

— Досить незвичне місце. Можливо, у них товари від «людей у чорному», бо там інколи можна натрапити на таке... І ціни цілком припадні.

Я кинув оком на яскравий клаптик паперу. «Склад-крамниця "Від-Крита"!» Ну якщо «Від-Крита», то я вирішив ризикнути. Вже вдома я ретельно роздивився папірець і жахнувся від адреси — чи не за містом, одначе дійшов висновку, що «від людей у чорному» в «чорну п'ятницю» не варто відмовлятися.

...Першим зустрів мене величезний вшир і у висоту паркан із суцільного штучного каменя. Капітальні ворота, з мідяним темним полиском, були зачинені, проте прості дерев'яні дверцята збоку від них привітливо плескалися під останнім осіннім вітром. Навіть невеличкий, снігом наметений, поріжок не заважав їм.

Чи не за два кроки за ними роззявили свою пащу автоматичні скляні двері, і я ввійшов до величезного приміщення, сяючого світлом, але заледве не безлюдного. Лише декілька охоронців у фойє перед касами мляво спілкувалися. Їхній однострій був доволі дивним і навіював згадки про давнє античне: туніки з рукавами, але кольору хаки; чи не з брезенту штанці до колін; а на головах — щось схоже на солом'яні шоломи.

Один з охоронців угледів нагоду проявити свою працьовитість і швидкими, але чітко виміряним кроками підійшов до мене. Його погляд був не стільки уважним, скільки оцінювальним. Втім звернувся він до мене доволі ввічливо:

— Чи не маєте ви предметів, які можуть продаватися в нашому магазині?

Я здивувався, оскільки прийшов сюди голіруч, без обтяжень, навіть рюкзака не взяв. Я помацав свою куртку ззовні.

— Ну, телефон... Але він мій!

— Ну, телефон не враховується, — поблажливо погодився охоронець.

З бокової кишені я дістав ліхтарик.

— Це теж мій. Знаєте ж, зараз зі світлом негаразди трапляються, от і по темній вулиці йти... дорогу переходити... і двері в квартиру відчиняти... — я ніби виправдовувався.

Охоронець узяв із моїх рук ліхтарик і став уважно його роздивлятися. Дещо сухо й насторожено він промовив:

— І в нас такі є... А ви точно в магазин ще не заходили?

Я почав потроху шаленіти, хоча й вимовив надмірно делікатно (як для такої ситуації):

— Люб'язний, якщо ви поглянете уважно навколо себе, то побачите мокрі сліди, які пунктиром вказують шлях від моїх ніг до входних дверей. Себто, навпаки. Ну, ви зрозуміли!

Той швидким оком пробігся сирими плямами й зупинився на моєму взутті (мабуть, порівнював розмір).

— Гаразд, несіть вже... — схоже, він був украй розчарований. — Але давайте я нашу запобіжну наліпку на нього наклею, щоб у вас *потім* проблем не було...

Він не лише натиснув на слові «потім», а й притиснув до ліхтарика якусь маленьку наклейку.

— Що ж, ідіть, купуйте... Консультант має бути вільним, — він підштовхнув мене в напрямку торговельної зали.

Дійсно, одразу за касами до мене підскочив хлоп'яга з очима, схожими на заяложене мокре простирадло, і пасторальним голосом майже заспівав:

— Чим я можу вам допомогти? Щось підказати? Направити?..

Зазвичай я відмовляюся від подібних послуг і лише чемно дякую, м'яко наполягаючи на спроможності самостійно розібратися з тим, що мене цікавить.

Та наразі я побачив у глибинах приміщення полиці з різноманітним крамом на масивних високих стелажах, що ніби зникали в безкінечності, а вузькі проходи між ними нагадували тунелі.

— Мені потрібен павербанк, — вимовив я мимоволі. — Об'ємний і надійний...

Консультант зрадів. Він навіть підстрибнув у захваті, але якось невдало — ледве не впав. Як дзиґа він утримав рівновагу й махнув рукою кудись у хащу стелажів:

— Уся електроніка та все для неї — там! Уперед!

Своїм зарядом енергії він сам нагадував павербанк: рушив так стрімко, що я ледве за ним встигав.

— На цьому тижні ми отримали інноваційні електрозберігачі від компанії «Кноссос», а це, я вам скажу, і древні традиції, і незаплямована репутація, — торохтів мій провідник. — Цей прилад можна заряджати не тільки від розетки, як звичайний. Адже лише на ньому з одного боку є сонячна панель, а з другого — місячна!

Він зупинився так раптово, що я ледь із ним не зіштовхнувся.

— Уявляєте? — промовив він співучим шелотом. — От, скажімо, якщо «ніч яка місячна, зоряна, ясная», а ще й Місяць у повні, як тепер, то ви зможете підзаряджати цей павербанк навіть уночі на вулиці! Зараз я вам його покажу. Вперед! Бо нам ще йти і йти.

Дійсно, коридор вздовж стелажів тягнувся в далечінь, навіть кінця-краю йому не було видно. Врешті-решт ми досягли його межі, і за помахом руки мого провідника повернули праворуч. Там була вже інша зала, пов'язана з попередньою лише зворотом. І

полиці на стелажах тут відрізнялися: вони були вже не з металу, а з міцної надійної деревини. А на стовпах між прольотами висіли різноманітні прикраси, як-от: лицарські обладунки на одному, гумова голова Івана Хрестителя на другому, потім щось схоже на грецьку амфору, якийсь дивний і незрозумілого призначення механізм із відкритими шестернями, глибокий прорис жіночого обличчя на кам'яній брилі...

Консультант, хоча й ішов попереду, якимось своїм третім оком побачив мою зацікавленість, загальмував і розвернувся до мене.

— Оформленням інтер'єру за нашим запрошенням займався велими відомий дизайнер, теж із Греції...

Доволі фальшиво він промуркотів перші такти сиртакі, та не встиг закінчити, оскільки раптово зникло світло. У повній темряві, як навпомацки, долинув голос:

— Не хвилюйтеся, невдовзі запрацюють генератори.

Втім я й так не дуже захвилювався, а дістав із кишені свій ліхтарик і ввімкнув його. Не знав, куди направити промінь, тож висвітлював то підлогу, то стелю, то жіноче обличчя на кам'яній брилі. Хвилин за п'ять мій візаві журливо сказав:

— Мабуть на морозці не заводяться... — А ще за хвилину вирішив. — Ви не нітьтеся, чекайте тут, а я зараз піду й розберуся з цим усім...

Кудись у темряву посипалися його дрібні, як посічений горох, кроки.

Залишившись на самоті, я покрутився на одному місці, а потім вирішив не гаяти дарма часу й пройтися трохи вперед. Та довго це не тривало: у світлі ліхтарика загострені в далечині стелажі з обох боків, ніби бічі роги, ткнулися в стіну. І справа, і зліва темніли нові коридори. Цього разу я пішов ліворуч. Тут вже не було ані стелажів, як таких, ані полиць. Стіни, схоже, побілені вапном, відчуття сирості навкруги, і загалом якимось холодніше... У моїй уяві саме такими мали б бути тунелі Антарктиди в далекий Землі Королеви Мод...

Промінь ліхтарика кидався з боку в бік. Замість полиць у стінах я побачив глибокі ніші. Звісно, в них не було ані побутової техніки, ані дизайнерських прикрас інтер'єру. Там траплялися дивні речі. Наприклад, глиняний горщик із металевими елементами згори. Чи це не багдадська електрична батарейка понад двотисячної давнини? Звісно, і її можна вважати певним павербанком...

В інших виїмках були ще більш незрозумілі артефакти: гранітна грудомоха, з якої дивним чином стирчала муміфікована людська рука; щось схоже на мобільний телефон, але з обпаленої глини; старовинний на вигляд папірус із намальованою на ньому мапою невідомо яких земель...

Я б і не помітив, що вже впersя в нову стіну попереду, якби однією ногою не зачепив щось, що стиха зашурхотіло. Я швидко кинув світло ліхтарика донизу. Там відблискував білесенький

людській кістк, і прикрашав його гладкий, ніби охайно виголений, череп. А ще біля вапняної холодної стіни лежав справжнісінький меч.

— Гарна краса інтер'єру! — нервово промовив я вголос, хоча сам злякався власних слів: луна від них почала довго битися поміж стін, ніби кажан у крижаній пастці.

Час луни минув, та все одно звідкілясь линули сторожкі звуки: чи то кроки, чи то тупіт з якогось бічного відгалуження.

Автоматично, про всяк випадок, я взяв меч — він доволі зручно примостився в стиснутій долоні. Зігнувшись, я дрібними кроками рушив назад, хоча в нервовому напруженні вже не міг пригадати, з якого саме боку сюди зайшов. На галай-балай я повернув уліво. Тут був ніби вже знайомий коридор із дерев'яними полицями на стелажих, проте прикраси на стовпах нагадували атрибути вуду: чорні патишки; безформні воскові фігури, пронизані довгими голками; якась африканська машкара, схожа на маску з кінофільму «Крик», але чорна...

Я зрозумів, що заблукав, і заходився шукати вихід. А темрява навколо шепотіла. Кожен знає, що темрява породжує страх. Хоча, можливо, сам наш страх породжує темряву.

Десь збоку, з-за полиць, почувся тремтячий, чи не дитячий, голос:

— Дивись, він тут! Ховайся!

Промінь мого ліхтарика кинувся між стелажів, але висвітлив лише темряву.

Я розумів, що цілковита темінь психоделічно впливає на свідомість, та не міг здолати страху. Мене все більше бентежили ті самі звуки, які я вперше почув біля кістк — вони й тепер ніби наближалися. Оце тупотіння... Воно ставало гучнішим.

Все ж я пішов уперед, висвітлюючи шлях ліхтариком однією рукою, а другою відчайдушно розмахуючи мечем. Плями від світла танули й породжували власні тіні. Згодом виникло дивне відчуття: я веду світло попереду себе, але темрява на крок позаду навшипінках слідує також. І чим далі я йду, тим більше темені ведуть за собою. Схоже на те, що я — носій темряви? Якщо вгледіться у своє внутрішнє існування, то чи не виявиться хибним і фальшивим твоє власне світло, оскільки воно насправді породжує морок... Зворотній бік світла...

Коли раптово засяяли всі лампи і плафони в магазині, я спочатку вирішив, що згаснув мій ліхтарик, бо взагалі втратив зір. Та він повернувся швидше, ніж я встиг перелякатися. Попереду, зовсім близько, я роздивився каси та фойє. Там же зненацька виникла фігура мого консультанта.

— Он ви де! — почувся радісний голос. — А я тут бігаю, шукаю вас. Ось ваш павербанк!

Він розмахував невеличкою коробкою, та коли я наблизився до нього, консультант вилупив на мене запорошені подивом очі. Я зрозумів, що з ліхтариком в одній руці й з мечем у другій міг нагадувати якесь міфічне божество. Вимкнув ліхтарик, сховав його до кишені.

— Перепрошую, але це прикраса інтер'єру... Не продається... — консультант скосив очі на меч. — Дайте мені! А ви заберіть свою покупку...

Ми обмінялися. Тільки-но меч опинився в руці консультанта, як забулена посмішка раптово прорізала його обличчя, ніби блискавка. Він дивно нахилився вперед і почав помалу насуватися на мене, тримаючи меч перед собою. Лише зараз я звернув увагу на бейджик хлопця й прочитав його ім'я: «Тесей». Я мляво позаджував, прикриваючись коробкою. Та відступати було нікуди — спина вперлась у стелажну полицю.

— Тесей, ти вже звільнився? — почувся рятівний голос охоронця з фойє. — Тут нові покупці прийшли!

— Ну ми поки ще не покупці, а лише відвідувачі! — долетів дзвінкий голос: жіночий і кокетливий.

— Зараз підійду!

Дуже повільно Тесей простягнув меча повз мене й поклав його на полицю. Ще декілька секунд він прицільно дивився мені в очі — незрозуміло, з якими почуттями. Ніби оте ранішнє мокре простирadlo вже висохло, а тепер лише цупко горбатилося.

— Вільна каса — крайня ліворуч, — нарешті вимовив він. — Поздоровляю з чудовим придбанням! — І пішов геть, навіть не озирнувся.

Лише коли я розрахувався, вийшов на вулицю й попрямував до автобусної зупинки, мене оповило почуття втоми. О четвертій було вже майже темно, та Місяць у повні висів низько, ніби й йому бракувало сили піднятися. Я не став перевіряти місячну панель павербанка, а просто розглядав яскраве коло крайнеба.

Ще за шкільних часів мене вельми цікавив наш супутник. Я навіть мав настінну мапу видимої сторони Місяця. У нічній темряві легко міг вказати на Море Дощів або на Океан Бур. Хоча більше приваблювали мене Озеро Сновидінь і Болото Туманів...

Та зараз я не міг упізнати нічого знайомого, неначе Місяць дивним чином повернувся до мене своїм протилежним, невидимим раніше боком. А може, так воно й сталося? І сяє він тепер якимось протилежним до звичайного світлом.



Александр СПРЕНЦИС

/ Киев /

БЕСЕДА

Как-то Будда пригласил меня на чашку чая или кофе. Я, естественно, обрадовался и к тому же был польщен таким вниманием!

Я осторожно постучал в дверь.

— Входите, открыто! — услышал я.

Я прошёл коридор и вошел в комнату. Будда сидел за столом

в глубокой задумчивости. На столе перед ним стояла чашка кофе и чуть дальше — полная чашка чая. Увидев меня, Будда сказал:

— Присаживайся! Вот твой чай.

— О, благодарю за внимание, Маэстро!

Наступила пауза.

Я решил нарушить тишину

— О Маэстро! Может быть, мне показалось, но мне кажется, что вами овладели какие-то невеселые мысли...

— Да, ты прав. До твоего прихода я думал о человеке, о его преходящем бытии...

Я молчал, боясь нарушить паузу тривиальным вопросом.

— Или существовании. — продолжил Будда. — Вот перед тобой чашка кофе. Он сначала горячий, а затем он остынет. Ты согласен?

— Да, конечно!

— Мне кажется, что такова и человеческая жизнь: вначале она — горяча, а затем — постепенно остывает и становится холодной.

— Маэстро, но может быть и так, что жизнь прервут...

— Да, да... и это будет как опрокинутая чашка или разбитая. Тогда жизнь человека, жизненные процессы оборвутся. Я прав?

— Каждое ваше слово — это истина!

Будда промолчал. А я спросил:

— Скажите, Маэстро, а наши жизни, вашу — уж простите! — и мою жизнь, может быть, тоже возможно уподобить сосуду или чашке, которую кто-то наполняет а затем ее опустошает?

— Да, ты прав. Возможно допустить что мы все зависим от всего, что нас окружает или от чего-то конкретного. Может быть, это сама Жизнь распоряжается нами, как домашней утварью.

— Маэстро! А может быть и так, что чашка падает и разбивается...

— ...Да, и тогда содержимое выливается и растекается. Потом высыхает. А осколки рассыпаются. Так и человеческая жизнь.

Будда замолчал.

Я сидел, не шелохнувшись.

— И не только человеческая жизнь, — продолжил Будда, — но всё вокруг. Всё.

Вечер сгустился и темнел. Казалось, что время и пространство исчезли...

VESPER

Ане Мирводе

...Ты спрашиваешь меня о смысле жизни, о том, что наиболее важно в жизни человека...

И мне кажется, что я смогу ответить на твой вопрос...

(...день угасал, и огромное солнце опускалось за горизонт...)

...Ты знаешь, я раньше думал, что знаю ответ на этот вопрос: всё окружающее мне указывало — вот нужно то, а вот нужно это... Успех, умение общаться, ухаживать, работа не хуже других, а может и лучше, если повезёт! Умение реализовывать себя, карабкаться вверх: вообще и так, по лестнице... Еще работать и трудиться, и еще раз трудиться до полного изнеможения, до седьмого пота!..

(...волны моря лижут ступни ног... а легкий бриз слегка касается твоей щеки... ветер уже холодноват, но всё ещё приятен в своих порывах...)

...Не то чтобы я сейчас думал иначе, но... немного поиному... поменялся ракурс, взгляд стал другой на некоторые вещи... Даже думаю, что вот это «чуть-чуть» может быть весьма радикальной сменой взгляда на жизнь и на мир вообще. Но я еще подумую!..

(...ты идешь рядом, красивая и спокойная... я подумал о том, что завтра полгорода будет сплетничать о том, что...)

...Да ...ты просишь уточнить, что я имею в виду? Скажу: мне кажется, что для человека важны простые вещи — листья, река, закат, небо, деревья, эти мягкие облака, легкий бриз...

(...берег заканчивается и начинается пригородное шоссе... ты стряхиваешь песок и надеваешь босоножки, а я держу тебя под руку, чтобы ты не потеряла равновесие...)

...В твоей воле — идти или брести вот просто так — вдвоем или одиночестве. Или как мы сейчас с тобой... по теплomu песку, рядом с волнами прибоя... а нет — сидеть у края дороги на лавочке и пить чай из стаканчиков...

Но... важно, чтоб и завтра и послезавтра ты или *ты* — *вдвоём с кем-нибудь* тоже могла пойти и насладиться летним вечером и завтра и ... всегда! Я преувеличил? Ну да... но это так правильно!

...Бродить по берегу реки или моря, любоваться горячей полоской горизонта, прозрачной синевой неба, неземная красота которого вызывает мысли о Боге!..

(...мы обулись и пошли к набережной... вечер стал темнее и гуще...)

Конечно, я говорю о том, что ты и сама знаешь или догадываешься... конечно, но я бы добавил ещё своё, личное, так как я все это понимаю...

...Мне кажется, что неправильно всё это, т.е. всю эту фантастическую красоту и всё что окружает нас воспринимать как антураж, как дополнение к нашей жизни — успехам, достижениям, победам, поражениям и прочая, прочая!..

Это не должно быть развлекательным фоном жизни, на котором разворачивается драма нашей жизни, театр людских страстей!..

(...по всей набережной и прилегающей местности вспыхнули огни, и город стал жить вечерней жизнью... Уже почти нельзя было что-то различить в вечернем сумраке: то ли корабль, то ли какая-то шхуна или лодка и лишь огни вырывали предметы из черной синевы...)

И теперь ты мне скажи — что значит эта красота и зачем она?

То, что вокруг нас, то, что нас окружает — нам не принадлежит — оно ничье, оно свободно и живет своей жизнью! Его нельзя ни к чему пристегнуть или прикрепить. Эта непостижимая реальность имеет к нам отношение лишь самую малость, и не больше!

Мы лишь наблюдаем или наслаждаемся, или страдаем в этом мире и надеемся, что это всё — неспроста, что это всё для нас, любимых, белых и пушистых!.. Я не против, но это, скорее всего,

иллюзия, марево, сон!.. Реальность, то есть то, что есть вокруг — ни для чего и ни для кого. Она — ничья. У неё нет хозяина и нет постоянного двора; нет, потому что её дом — везде, она — хозяйка всего, всех пространств и всех времён!

И она, как правило (или закон), не сильно приветчает своих гостей — то есть нас с тобой, нас всех, живущих на этой планете. Она принимает всех, но при этом никого не любит; она безучастна ко всему на свете. И даже к самой себе. Да-да, даже к себе! Это не плохое или хорошее. Это просто безнадежно для нас, для всех, любящих её, детей, как нас называют — детей Природы!

(...симфония вечера разрасталась — то там, то здесь резкие крики молодёжи нарушали душную густоту вечера, а из окон домов были слышны крики детей, не желающих уснуть... гирлянда огней, проезжающих машин, извивалась лентой до самого горизонта...)

И что же из этого следует, спрашиваешь ты...

Скажу так: ты смотришь, ты видишь — и этого достаточно!

Ты слушаешь и слышишь — и этого тоже достаточно! Больше ничего не нужно!

С этим трудно согласиться, но это так. Где бы ты ни была, чтобы ни делала — ты всего лишь та, кто смотрит и слушает.

Смотри и слушай. Не нужны никакие мысли, смыслы, значения, суждения и т.д., и т.п.

Ты ничья — и мир ничей. Мир сам по себе — и ты сама по себе. Но ты и мир — нераздельны!

Да, ты права: это нечто вроде медитации... Но я бы хотел обойтись без терминов...

Если продолжить, то возможно пребывание в том, чтобы я назвал *сердцевиною бытия*! Это постоянно изменяющаяся основа реальности, вечно текущая и неуловимо изменчивая!..

Мы можем её только ощущать — слух, зрение — и быть благодарными им за это!

(...пора было прощаться: я провел тебя до самого дома, поцеловал руку и пошел в сторону дороги... Огни проезжающих авто, как фонари, надежно освещали мой путь...)

В КОНЦЕ ПУТИ

В старости есть своя прелесть — страсти уже меньше одолевают тебя, не сбивают с толку, и ты уже меньше зависишь от них!

...И когда ты любишься золотом осени, то проходящая красивая женщина уже меньше отвлекает тебя: впечатлила, но не больше... Твоё сознание и ум продолжают пребывать в созерцательно-возвышенном настроении, состоянии...

Жизнь как бы подсушивает тебя, убирает лишнее, делает всё вокруг более прозрачным и даже невесомым... проступает основа твоей жизни, её суть, — ты в точке, которая на краю жизни и смерти, в полосе перехода от бытия к небытию... это как открыть дверь и закрыть.

Остатки страстей продолжают обуревать твою душу, а как же без этого? Всё что полагается — всё остаётся! И боль, и отчаяние. Но порывов и любовей все меньше, а страданий и боли — всё больше и это есть непреложный закон бытия!..

СТАКАНЧИКИ

...стаканчики — бумажные, цветные, маленькие, большие, средние, легкие, в полосочку, в узорах, с рисунком и без, легкие как все бумажное...

...падающие и слегка щелкающие, что-то вроде бумажного тенниса — прыг-скок-прыг-скок...

...валяющиеся и улетающие под порывами ветра и исчезающие в ямах или дырах асфальта...

...невесомые в пальцах, обжигающие их, продолжение ладони, её минутное тепло...

...выпил — выбросил ...или смял... одноразовый ведь!

...обитатель двух мир: земли и неба...

...приятель бабочки и паутины на ветвях...

...твоя форма недолговечна и призрачна — а смысл твоего бытия — утилитарен...

...Бог мнет, вертит меня, как стаканчик... пригодиться-не-пригодиться, да-нет, да-нет...

...всего лишь одно движение, и я лечу в корзину...

ДЗЕН

мой дзен рассыпался

конфетками драже...

...уж не собрать!..

блажен, кто слышит пенье птиц!

блажен, кто видит вывеску: «Табак-Вино»!..

ПРИБЫТИЕ

В Эдеме меня встретили весьма приветливо, хотя с некоторым неудовольствием: «Где вы пропадаете, мы вас уже заждались»!

Я стал оправдываться — мол, дела, мелочи всякие... закрыть трудовую, попрощаться с родственниками, коллегами и т.д. Да и потом не хотели отпускать — причитали, что это некрасиво с моей стороны и т.д.

Вот я и задержался...

Они: «Ну... это у всех так. Вы не исключение, так что... но место ваше занято, поэтому пока будете обитать за центром, на окраине».

Как скажете, ответил я, мне всё равно. Я, товарищ неприветливый. А аптеки у вас есть?

Есть, отвечают, у нас всё есть! Вот только проблемы со светом бывают. Я говорю: мне не привыкать. Вы же видите — черные очки, трость... Собаки, правда, нет. Они: ну если надо — найдем! Только свистните!

Да ладно, отвечаю, я пока обхожусь! Хотя... может быть, вскорости и понадобится...

Они: «Да, невесёлые ваши дела, ну вы уж нас простите — что имеем, тем и поможем!»

Как будет, отвечаю, так и будет!

Ну что, поехали?..

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Его сделали и весьма давно, но к нему никто не прикоснулся, никто на нём не сыграл ни ноты: он так и остался до скончания веков лежать нетронутым среди других инструментов, судьба которых схожа с судьбой нашим героем.

Что это означает? Непроявленность, нераскрытость предназначенного? Немая экзистенциальная драма.

И я думаю, что это так! Может быть, судьба вещей или вещи схожа с судьбами людей и об этом стоит задуматься, и всегда об этом помнить!

СЕРЫЙ СВИТЕР, ЧЁРНЫЙ КОФЕ...

Серый свитер. Его надо постирать. А кофе надо выпить, вернее хотелось бы! Но — нельзя, болячки!

...свитер постирал, салат приготовил. Но это на вечер.

А сейчас я выпью чай с конфетой...

Беру ноты, открываю. Там написано: *misterioso*. Это термин, указывающий, как играть — таинственно, мистически...

Полистал ноты, выключил торшер. Вот так вот всё вместе: стирка, салат, мистериозо!

СЧИТАЛКА

один
два
три
выпили и закусили

четыре
пять
шесть
а вот и девочки пришли

семь
восемь
девять
врач, где врач

десять
где я

Марк ЗАЙЧИК

/ Тель-Авив /



ПРОЕКТ «ПАЛЕСТИНА»

Две девушки, скорее, конечно, молодые дамы, сидели на солнечной веранде гостиницы в немецком городе Оснабрюк, что в Нижней Саксонии, и завтракали. Гостиница была небольшая, на двадцать пять номеров, уютная, чистая, похожая на заезжий двор старых времен. Ну, не таких и старых. Пол на веранде был из толстых скобленных досок, покрашенных уютной лаковой краской. Убранство веранды было современным, удобным. Официантка была хороша собой, улыбчива, быстра без суеты и очень любезна. Хороша-то она была хороша, но молодым дамам (обеим меньше двадцати пяти), которым она носила выпечку, овощи, соки и сыры, она и в подметки, как говорится, не годилась. Хотя на вкус и цвет товарищей, как известно, нет.

Хозяин гостиницы, стоявший возле стойки и наблюдавший за завтракавшими постояльцами, которые занимали три столика, смотрел на дам с нескрываемым восхищением. Он был в костюме-тройке, без галстука, с высоким стоячим воротником батистовой рубашки. Девять часов утра. Его жизнь и рабочий день начинались в 6:25. Хозяин, не ежась на утреннем холодке, наблюдал, как не заspanные рабочие в кухонных фартуках сгружали с двух грузовичков зелень, бидоны с молоком, ящики с сырами, связки колбас, сосисок, накрытых грубой чистой мешковиной, овощи, зелень, связки желтых от жира кур и цыплят, чернику и малину в плетенках, бараны туши... Все это добро прибывало каждый день из окрестных крестьянских хозяйств. Ресторан в гостинице славился на всю округу своей кухней, ценами и знаменитым саксонским изыском. Рыбу из Гамбурга привозил чуть позже двоюродный брат хозяина Ганс.

Шеф-поваром ресторана служил нервный, шумный и толстый баварец, у которого все по струнке ходили и которого побаивался, по слухам, даже сам хозяин, человек со стальными нервами и выдающимся непреклонным характером.

Так вот, хозяин. Глядя на завтракавших дам сбоку, он восторженно и негромко повторял «unglaubliche Schönheiten», что значило «какие невероятные красавицы».

Его можно было понять. Девушки, завтракавшие на веранде, были действительно прелестны. Одна была с округлым лицом, зеленоглазая, веснушчатая, улыбающаяся, белокожая, волосы стянуты назад. Она была в свободном сарафане, уверенная в себе, с рыжей неровной челкой, неотразимая и, кажется, по-матерински очень спокойная. Женщина щедро намазывала маслом ломоть черного хлеба, солила, перчила и с наслаждением откусывала, признаваясь:

— Обожаю черный хлеб с маслом, всегда любила, меня даже мама предупреждала, что поправлюсь, но я всегда набрасываюсь, ни о чем таком не думая. Хлеб здесь чудесный, правда? — и смеялась, показывая белые зубы в алом рту.

— Да, хлеб потрясающий, слов нет, у нас такой трудно найти, — отозвалась сидевшая напротив нее подруга. Она была ничуть не хуже, но совсем иная, была задумчива, говорила немного, намазывала маслом ржаные хлебцы, нарезала сыры и накрывала свои бутербродики ломтями помидоров. Лицо у нее было чуть плоское, глаза светлые и длинные, голос низкий гипнотический, скулы овальные, рот мягкий и яркий, зубы острые, волосы светлые, пшеничного цвета, прическа небрежная, очень ее красившая.

— Меня сегодня вечером куратор музея пригласил на банкет, в честь открытия, пойдем со мной, Фрида, если ты не занята, хорошо? — спросила зеленоглазая у подруги.

— Пойду, думала позаниматься, но отложу все, не убежит от меня, — сказала светлоглазая, откидывая челку с глаз, — конечно, пойду, веселый вечер в очаровательном Оснабрюке.

В ее голосе звучали странные интонации, понять ее слова было сложно: или ирония, или взгляд свысока. Все было верно. Но явно она была рада встретиться с подругой и говорить с ней.

Они съели по замечательному пирожному с заварным нежнейшим кремом, Берта не верила в это ощущение свежего счастья. У нее появился суеверный восторг от всего этого утра и особенно от пирожного. «Как дикарка я, совершенная», — подумала Берта о себе.

— Мне отец часто говорил, что в Германию ездить нельзя, — сказала она без улыбки подруге.

— Почему же, дорогая, он так считал?!

— Потому что эта страна может понравиться, обязательно понравится, — призналась Берта, — потому и нельзя.

Фрида задержала ложку с куском пирожного у рта и кивнула, что поняла.

— Да-да, конечно. У меня такое же ощущение, великолепная страна. Держава красоты и спокойствия, отец твой был прав, — сказала Фрида. Рядом с тарелкой лежал местный журнал мод с гладкой и как бы масляной обложкой, которая просто лоснилась и

нежилась на свету. На обложке изображена была смеющаяся девушка с шоколадкой в развернутой обертке. Счастье и удовольствие выражали ее лицо и чуть полное, созревающее на природе под сенью фотоаппаратов тело озорной сытой физкультурницы.

«Откуда такие берутся?» — подумал хозяин гостиницы о своих гостях. Ответом ему послужила музыка Шуберта в зале, легкий перестук посуды и запах французского рыбного супа, который казал какой-то оригинал с утра.

Хозяин гостиницы разложил на блюде местные сыры нескольких видов, две плоски с соусами к ним, хлебцы и блюдца, наполненные щедрой рукой черникой и малиной из леса метрах в двухстах от входа в гостиницу. Легким длинным шагом он отнес все дамам, присоединив к угощению любезнейшую улыбку, которая продемонстрировала гостям его нескрываемый мужской восторг и небескорыстную любовь к женской красоте.

— В Оснабрюке счастливы вашим приездом сюда, отведайте еще сыров нашего края, дорогие гости, — сказал хозяин гостиницы дамам по-английски с тяжелым немецким акцентом.

Начался дождь, как бы в честь этих женщин, сильный июльский дождь земли Нижняя Саксония. Прозрачная пленка, натянутая на крыше веранды, отыграла музыкальное недолгое вступление, похожее на сонату Моцарта номер 16 до мажор, придав легкую необязательную торжественность этой сцене.

— Я потрясен вашей чарующей красотой, уважаемые дамы, — несколько неровным голосом произнес хозяин гостиницы.

Женщины реагировали на его слова с необъяснимым равнодушием, чтобы не сказать, с холодом.

Та, зеленоглазая, была послана иерусалимским «Мемориалом» с двумя картинами художника Феликса Нуссбаума, на выставку, которая открывалась в музее чудного города Оснабрюк. Сегодня 20 июля 1998 года. Открытие выставки знаменитого земляка в Оснабрюке 22 июля в среду.

Ее соседка приехала сюда дописывать свой докторат по генетическим разработкам. Обе они прибыли в Оснабрюк из Иерусалима вчера вечером 19 июля, так было записано на регистрации внизу фрау Ульрике, которая подтвердила и заселила женщин в забронированные заранее номера. Одну из дам записали Фридой Калев, а другую — Бертой Фридланд. Та, что привезла картины из Иерусалима, была Бертой.

Хозяин гостиницы с удивленным, недоверчивым и восхищенным видом — «какие, однако, еврейки живут в Иерусалиме» — отошел от них. Этот серьезный, всегда собранный человек очень боялся показаться назойливым. Дамы отнеслись к его комплиментам почти равнодушно, может быть, плохо понимали английский, кто знает? Он же отнесся к их реакции на его изысканную лесть смиренно. И потом,

такая красота, по его мнению, могла позволить себе любое равнодушие, так как она нуждалась в одиноком созерцании.

Над местом постоянного пребывания хозяина гостиницы рядом со стойкой бара на стене висела черно-белая фотография усатого красивого мужчины, отца. Пробор, бравое выражение лица — он напоминал фельдфебеля старой формации. Сын был на него очень похож, несмотря на расстояние во времени. Об отце хозяин гостиницы говорил, не акцентируя и не педалируя содержания произносимого ни в каком месте, исключительно информативно: «Мой отец был другом детства нашего земляка, выдающегося писателя Эриха Марии Ремарка, у нас были его книги с посвящениями. Никогда отец не уничтожал книг Ремарка при нацистах, он был не из тех, кто сжигает какие-либо книги. После ужасной войны они встречались несколько раз в этом самом месте, пили за прошлое, вспоминали детство».

Когда у хозяина гостиницы спрашивали: «Что они пили и что вспоминали?» — он подбирался, пожимал плечами, сообщал: «Не знаю, что пили и о чем говорили, ничего особенного. Я был тогда очень молод. Что пили? Шнапс пили, водку пили, вспоминали тогдашних друзей, приключения, что еще могли? Особых интересов у них общих не было, как можно понять, кроме детства».

— А о сестре Эриха Марии Эльфриде, которой нацисты отрубили голову, не говорили? — допытывались особо настойчивые.

— Не знаю, но думаю, что они не говорили о сестре писателя Эльфриде, — отвечал хозяин гостиницы¹.

Неожиданная встреча в самолете в Германию с Фридой очень обрадовала Берту. «Так не бывает», — убежденно сказала Берта, выяснив у Фриды еще в аэропорту Бен-Гуриона маршрут ее полета. Даже гостиница у них была заказана одна и та же. Эти молодые женщины с такими мало популярными именами в Израиле были неплохо знакомы. Иерусалим город очень разный, его уверенно можно назвать сословным. Но вот они встретились случайно.

Муж Берты, тридцатилетний рукастый, плоскогрудый, веселый мужчина, заканчивавший университет, подрабатывал шофером грузчиком в большом магазине электротоваров. У него был грузовичок, в котором он развозил холодильники, телевизоры, стиральные машины и тому подобные предметы, купленные жителями столицы Израиля за наличные или в рассрочку. Трехлетнее прочнейшее «пежо» купил ему отец Берты. Отец Берты, пятидесятилетний мужик, прожитый жизнью и солнцем Негева человек, сказал, пе-

¹ Сестра писателя Ремарка (1898 года рождения) Эльфрида, младше его на пять лет, оставшаяся жить в Германии с нацистами у власти, что-то высказала недовольное о фюрере и порядках в стране. По слухам, она сказала это, стоя в очереди за продуктами. Об этих словах быстро донесли куда следует, и женщина была арестована. Потом ее казнили. Потом прислали семье счет за услуги по организации процесса умерщвления преступницы.

редавая ему ключи от машины: «На, бери, пользуйся, парень, зарабатывай на радость жене и желудку». Слышалась известная крестьянская гордость и торжество в голосе этого сухого жесткого человека, бывшего во время войны с германцами настоящим Маугли в темном и страшном лесу под городом Станиславом.

Однажды он привез летним утром купленный кем-то холодильник марки «Амкор» в трехэтажный дом с садиком на улице Вашингтона, что напротив гостиницы «Кинг Дэвид». Водитель-грузчик осторожно заехал правым колесом на тротуар, чтобы не перекрывать движения, вылез наружу и осторожно откинул задний борт. Тот звонок стукнул металлическим крюком о стальное кольцо щеколды. Белый бок холодильника залоснился на солнце. Квартира покупателя была на первом этаже, так было записано в квитанции.

Муж Берты, которого звали Зеевом, сбегал по каменной дорожке широкими шагами к покупателям, и зайдя в открытый подъезд и перепрыгнув три ступеньки, позвонил во входную дверь слева. Зееву тут же открыл рослый парень, похожий на него внешне и телосложением, и выражением лица, и пристальным взглядом карих сильных глаз. Оба они, и грузчик, и покупатель, попадали под определение, данное таким парням суровым отцом Берты: семиты новой формации, коротко стриженные, живущие без очков, длиннорукие, смышленные, наивные, не сентиментальные.

За плечами хозяина в глубине комнаты звучала хорошая музыка, пел любимый всеми, стесняющийся себя, вернее, своей актерской внешности, Арик Айнштейн, песня называлась «Сделано в стране», Мирон ее очень любил. В коридоре на полке, установленной на красных кирпичах, были неплотно расставлены книги. Одна из них упала к ногам хозяина обложкой вверх, и мужчина отодвинул ее к стене, не рассмотрев названия. За ним почему-то еще стоял чемодан. Звали хозяина нового холодильника Мироном.

— Не ожидал тебя увидеть, брат, — сказал он, улыбаясь смущенно и удивленно одновременно, пытаясь пропустить Зеева внутрь дома. Чемодан мешал ему.

— Я тоже удивлен, привез вот тебе холодильник, — сообщил Зеев. Он стоял в дверях, на косяке были обозначены черным фломастером полоски — когда-то здесь отмечали рост ребенка, вымахававшего под 190 см, если судить по отметкам. Начинался отсчет с 60 сантиметров. И вот дожили или нет, непонятно.

Теперь из глубины дома звучала другая чудная песня. «Все были моими сыновьями и все освободились условно-досрочно», — хрипел еще один песенный кумир страны Шмулик Краус. Они были друзьями с Ариком А. и даже пели вместе когда-то, трио называлось «Высокие окна», с ними была еще одна певица, подруга Шмулика. За спиной Мирона появилась молодая женщина, смотревшая, как показалось Зееву, строго и даже как-то непримиримо, что ли. Мирон представил ее:

— Жена моя, звать Фрида. А это Зеев, мы в один день призвались девят лет назад. Он привез нам холодильник.

— Надо наш старый забрать, Зеев, вы справитесь? — спросила женщина. За нею грузчик неожиданно для себя увидел на низком столике в гостиной глобус с горевшим внутри его электрическим светом.

— Постараюсь, не впервой, — небрежно сказал Зеев, иногда на него находило после неуместных вопросов. Что значит справитесь, а?

На циферблате тяжелых мужских часов, лежавших наверху холодильника, двойные черно-белые стрелки показывали время: 10:37.

— Сейчас все сделаем, — пробормотал Зеев.

Но Мирон опередил его и взял в охапку с двух сторон тело холодильника.

— Да не так и тяжело, — выдохнул он. Напрягся, прохрипел Зеву: — Отойди, — и мелкими шагами выбрался через открытые двери сначала из кухни, затем из квартиры и затем уже через главный вход на улицу. Он поставил холодильник возле тропы из камня, попробовал его устойчивость и вытер выступивший пот со лба. Все это продолжалось секунд сорок. Зеев просто не верил своим глазам. Он молча пожал руку Мирону, хлопнул его по гудевшему плечу и, усмехаясь, решительно пошел к машине. «Ну, уж этот-то холодильник принесу я, не отнимай у меня хлеб, брат».

У него был навык грузчика, признаем, получше, чем у Мирона. Сил не больше, но, повторим, навык лучше. Набрался опыта. Зеев справился с привезенным холодильником решительно и быстро. Раз-два — и на спину, на прочную накидку из двойной мешковины, осторожный, почти семенящий проход по тропе, под легким синим небом, установка холодильника в углу кухни, раз-два, подключение к электричеству, ровное тихое гудение — все.

— Ну, вот вам, господа, пользуйтесь, любите, — пояснил он, глубоко и облегченно вздохнув, женщине в дверях и маячившему за ней Мирону.

Фрида зашла в кухню и открыла дверцу холодильника, заглянув в него с интересом. Там было на удивление пусто, горел ровный голубой свет, отбрасывавший на ее загадочное лицо лунный блик. Фрида повернулась к Зееву, сидевшему за столиком, и спросила, глядя на него в упор прозрачными серьезными глазами красавицы:

— Вы пообедаете с нами? У нас спагетти с базиликом, рекомендую, — отказать ее голосу и интонации было невозможно.

— Да, я чувствую, запах чарующий. Спасибо вам, но я тороплюсь, простите, у меня еще есть телевизор, который необходимо доставить на улицу Ям Суф, очень его ждут, простите меня, Фрида, — Зеев приподнялся, Мирон протянул ему приготовленные заранее деньги.

Грузчик мельком рассмотрел купюры.

— Мне кажется, здесь есть лишнее, Мирон.

— Возьми, это твое, возражения неуместны и смешны. Оставь мне свой телефон, большое спасибо.

Со двора раздался собачий лай.

— Холодильник мешает, я побегал, был рад, спасибо, — Зеев поднялся и, обогнув Фриду, вышел в коридор и на улицу. Мирон помог ему с холодильником на спине, подстраховал как мог. Птицы, перестав шуметь, слетели с кустов при появлении Зеева. Собака, золотистый лабрадор, бежала за ним, приветливо махала хвостом, визгливо лаяла, разинув лакированную мокрую пасть, но не приближалась, явно боясь этих парней. Заигрывала на всякий случай. Рекс не был сторожевым псом, это было видно сразу. Сутуловатый, какой-то изможденный хозяин ее, с глубокими морщинами на лице, относился к ней без особого расположения. Мирон сбегал домой и вернулся с сахаром. «Питайся, Рекс, поправляйся», — сказал он псу. Хозяин Рекса, высокий человек с размытым после ночи профилем, стоял, согнувшись, за отсутствием места, почти внутри кустов, чтобы не мешать. Он наблюдал за происходящим индифферентно, как посторонний. Мирон кивнул ему: «Здравствуй, Игорь, как жизнь?». хозяин Рекса скривил лицо в ответ, изобразив гримасой почти улыбку. Визг Рекса его раздражал. Кажется, он вообще все происходящее не одобрял, но вслух не говорил ничего.

Через день Мирон позвонил.

Зеев приехал в гости к Фриде и Мирону вместе с Бертой к семи вечера, не опоздав. К этому времени их пригласили. Он вообще был очень точен, чего нельзя было сказать о его жене, крестьянской дочери, для которой понятие времени было не слишком определенным. «Не принято приходить вовремя, нужно опоздать минут на двадцать», — говорила она ему, но он никак не поддавался правилам ее деревни, а точнее, фермерского поселка на юге. Она не была настойчива ни в этом вопросе, ни в некоторых других. Но работу свою, учебу, выполняла почти фанатично, пунктуально и собранно, считая эти занятия совсем другим своим предназначением, другой сферой, отделенной от обыденной жизни. Детей они оставили на соседскую девочку, совсем взрослую и ответственную, по мнению Берты. Она все приготовила: бутылочки с едой, пеленки, полотенца, простынки — чтоб было.

Садик у дома Мирона и Фриды был совершенно заросшим, с дикой травой, буйными кустами и вольно растущими деревьями. При входе, понятии условном, потому что каменный полуметровый заборчик и скрипящая металлическая калитка не являлись препятствием ни для чего и ни для кого, был небольшой квадрат земли, заросший ромашками и одуванчиками, которые радовали глаз и настаивали на сентиментальный лад всякого входящего. Рекс встретил их дружелюбным визгом, впрочем, неожиданным, противным и раздражающим. Зеев поискал взглядом собачника Игоря, который

на этот раз спрятался бесследно. Зеев, отличник армейского ориентирования, отметил этот момент как положительный. «Смотри, русские тоже умеют прятаться, век живи», — подумал он удивленно и одобрительно. У Зеева в роте был солдат из России, который никак не справлялся с ориентированием, намучились с ним в этом, вот у комроты и сложился отрицательный стереотип. Впрочем, Зеев к этому всему относился добродушно. Он был добродушен от природы.

За его спиной тяжело рыча проехал невесть как попавший на эту улицу пустой автобус под номером 18. День подходил к концу в Иерусалиме. Остывали деревья, стены домов, кусты, газоны. На другой стороне улицы выкосили небольшой травяной газон при входе в трехэтажный дом, и сохнущая трава отдавала всей округе чарующий запах, от которого у Зеева и Берты счастливо кружились головы.

Входная дверь в квартиру была приоткрыта, обозначая то, что «стучать не надо, заходите дорогие гости, мы ждем вас».

Женщины, как оказалось, несколько раз встречались в университете, пересекались в столовке, в библиотеке, в коридорах. Кажется, даже кивали друг другу. Однажды они пересеклись на лекции властителя дум прогрессивной молодежи, брезгливого религиозного старика в немецкой шляпе без возраста, в обвисшем пиджаке, со стареньким портфелем в руке и тростью, отстукивающей неровный бешеный пульс его крови о камни и асфальт дорожек в кампусе. Досужие ребята с младших курсов возбужденно рассказывали, что человек защитил больше десятка (двенадцать, по слухам) кандидатских в совершенно разных и даже не смежных науках, что он девятнадцать раз сдавал экзамен на водительские права и не сдал. Экзаменатор сказал ему — рассказывали это с восторгом — после окончательного провала: «Вы знаете, я люблю зарабатывать деньги, очень ценю вас и уважаю. Но вы должны понять и решить, что это занятие не для вас, и вы должны отказаться от этой идеи». И этот суровый, волевой, сердитый человек с известными принципами открыл дверцу, вылез из машины и больше никогда в нее не возвращался. И ничего, пережил все, ездил на автобусе, иногда на такси.

Берта и Фрида, две красивейшие дамы с мало популярными в Израиле на тот день именами, что для них не имело значения, смотрели блестящими глазами друг на друга с доброжелательным любопытством, являясь внешне полной противоположностью.

— Как же так! Как интересно! — воскликнула Берта, узнав в хозяйке знакомую. — Так не бывает, нет?

— Вот так, так-так, — улыбнулась Фрида, сторонясь и пропуская гостей в салон, где их ждал покрытый белой скатертью с кистями прямоугольный стол с красно-зеленым салатом в глубокой фаянсовой миске, бутылка вина и виски в бутылке треугольной формы марки «Grant», привлекательного цвета соления, ядовитые на взгляд соусы... Комната была конструктивно обставлена с миниму-

мом мебели. Ничто не говорило о присутствии детей здесь: ни брошенная яркая кукла без ноги на соломенном коврике посредине комнаты, ни исцирканный карандашами бумажный лист, ни забытый на диване трехцветный носок размером со спичечный коробок.

Женщины тепло обнялись, как это принято в Иерусалиме между отдельными знакомыми людьми. Зеев протянул хозяйке желтую коробку прекрасного местного шоколада, сейчас его уже и не найти или найти очень трудно, и бутылку «Бордо» 91 года. Мирон забрал это и переложил на угол стола, мол, пусть пока полежит там. А потом видно будет.

Посидели в салоне за низким столиком, выпили вина, поглядели друг на друга, поговорили. Фрида поглядела на Зева, как будто убеждалась в чем-то. «Вы какие языки знаете кроме иврита? Мы можем говорить по-немецки, да?!», — воскликнула она. Мирон вспомнил, как и где увидел ее в первый раз. Она сидела у окна в студенческой столовой, не щурясь на солнце. Ее профиль с низкой челкой темных волос до глаз, с лицом почти без косметики в точности походил на профиль той женщины, которая когда-то играла в знаменитой русской незабываемой ленте про любовь на войне. Почти один в один.

У нее были повадки фрейлины, она была надменна, независима, ни на кого не обращала внимания, медленно отпивала кофе из кружки и с не скрываемым интересом смотрела в окно. Можно было подумать, что снаружи мимо проходит какой-нибудь собранный, хотя и выпивший лишнего американский, французский, итальянский или русский киногерой, расхлябанный покоритель женских сердец. Мирон считал, по его мнению, небезосновательно, что именно такие мужчины, не слишком здоровые, гибкие, расслабленные, равнодушные, вкусившие вина и славы, недоступные и щедрые, должны нравиться такого рода девушкам. За окном мимо столовой на фоне аккуратно стриженных кустов мирта и камфарного лавра под ярким и сильным полуденным столичным солнцем проходил невысокий профессор кафедры германской литературы, человек огромного обаяния, великих знаний, но назвать его героем такой женщины было очень сложно. Хотя как знать, как знать...

Мирон, рыцарь без страха и упрека, не без сомнения подошел к ее столику и спросил женщину: «Можно ли мне?». Она медленно повернула к нему прекрасное неправильное совершенное лицо свое и после некоторой томительной паузы, прикрыв холодные глаза, кивнула ему, что «да, вам можно».

На стене в их салоне висела хорошая копия какой-то картины художника, ездившего по этой земле лет девяносто назад и зарисовывавшего увиденное. Двое мужчин непонятного возраста в меховых широких шапках, в подпоясанных пыльных лапсердаках, в черных чулках и стоптанных башмаках, похожие, если честно, на бродяг, что им нисколько не мешало, двигались по узкой каменной

улочке Старого города Иерусалима под полуденным солнцем в пылающей жаре неизвестно откуда и известно куда. Выглядели они со своими несуразными щербатыми улыбками на бородатых лицах выпившими, что, конечно, было обманом зрения и полной ерундой. Десятнадцатый век, Иерусалим, Старый город. Тогда здесь не пили, согласно воспоминаниям очевидцев, что, наверное, не совсем точно.

Если Мирон был инициатором знакомства (еще бы) со своей будущей женой, то Зеев оказался жертвой (жертвой?) обстоятельств. Однажды, четыре года назад, он привез под дневным тяжелым стремительным солнцем своего старого отца в «Мемориал». Тот все время, не выпуская, крепко держал в морщинистых каких-то пятнистых все еще крепких руках небольшую сумку из прочной материи, застегнутую на молнию от края до края.

Они прошли, Зеев с отцом, в большое и гулкое помещение прямо от главного входа с сидевшим на стуле полнотелым и неуютным стариком-охранником, похожим на персонажа из диснеевского мультфильма в своей белой рубашке с синими погончиками и такими же карманчиками. Старик-охранник кивнул им и неопределенно показал рукой — «туда ступайте». Они остановились и встали на выгажку перед началом длинного коридора, Зеев осторожно помогал отцу с напряженным видом, ожидая продолжения этого волнующего посещения.

Им навстречу из глубины коридора вышла улыбающаяся девушка, «головокружительная», как ее потом назвал сам Зеев. «Меня звать Берта, я сотрудница «Мемориала», что вам угодно?» — спросила она. Отец Зеева тоже заметил даму, но он был целиком и полностью сконцентрирован на своей сумке, которую бережно прижимал к груди как огромную драгоценность. «У моего отца есть вещи для «Мемориала», для экспозиции, посмотрите?» — «Да, конечно, прошу вас». Ее не классическая красота была совершенно непонятна Зееву.

Девушка, позвеневав металлом ключей на внушительной связке, значительно большей, чем ее кисть, открыла легкую дверь в комнату-хранилище в самом начале коридора и пропустила перед собой Зеева и его отца, который поменял руки, обнимавшие сумку. После ее слов — «садитесь, пожалуйста» — все уселись за пустой стол. На ключницу и завхоза она была непохожа. Узкое окно пропускало яркую полосу солнечного света прямо на всех сидевших вокруг стола людей, прямо, как говорится, и наотмашь. Комната была неуютной и даже отталкивающей, что, наверное, повлияло на нервное состояние пожилого гостя.

Старик показал ей израильское удостоверение личности в голубом коленкоре, чтобы знала, что он не самозванец, а зачем еще, и осторожным и суетливым движением одновременно открыл сумку. Он начал доставать один за другим тяжелые небольшие металлические предметы, выставляя их на столе перед Бертой, которая не

выглядела удивленной. Все эта процедура не была ей в новинку. Это были очень старые на первый взгляд вещи, всего их было одиннадцать. Некоторые были удивительно красивы, весомы, вызывали восторг и потрясение даже у людей, которые были не в теме. Например, была указка для чтения Торы, так называемая «Рука-Яд». Это был средневековой красоты предмет из серебра, украшенный толедским орнаментом. Четыре черного цвета еврейские буквы, выбитые на утолщенном основании «Руки», они означали год создания. «Рука» эта предназначена для того, чтобы не потерять строку во время чтения. Пальцами, это известно, трогать текст Книги нельзя.

Буквы еврейского алфавита были выбиты на указке: алеф (1) далет (4) бет (2) и еще раз алеф — еще раз один. «Пятнадцатый век, 1421 год», — почти автоматически сказала Берта негромким голосом. Она ни к чему не прикасалась, кажется, она была сражена этим богатством. Зеев, который обычно вел себя сдержанно и скромно, не сводил с нее глаз, он не стеснялся ничего и никого в этот момент и не ощущал ничего кроме замечательного ощущения какого-то блаженного счастья, возникшего непонятно отчего.

— Все это, наверное, очень дорого стоит, да? — спросил он, чтобы что-то сказать, чтобы нарушить застоявшуюся в этом каменном пространстве тишину. Стены в комнате были бетонные, некрашенные, непонятно как, но они вполне соответствовали происходящему.

— Эти вещи не имеют цены, они бесценны, — сказала Берта осторожно, глядя перед собой своими густо-кариими продолговатыми, почти кошачьими глазами. — Откуда они у вас, господин Фридланд?

Фамилия отца Зеева была Фридланд, Эфроим Львович Фридланд, Фрое. Так его звали знакомые, некоторые добавляли почти серьезно «товарищ Фрое», неизвестно почему. Вероятно, за непреклонный характер, за что же еще.

— Я служил в Кременецкой дивизии 60 армии, — подумав, сказал отец Зеева Эфроим Львович. Он напряженно решал, что можно сказать этой умной замечательной девушке без урона для Страны Советов, а что нельзя, потому что это является военной тайной. Он давал присягу почти 50 лет назад, упрямец и слуга своей памяти, он помнил об этом хорошо.

— Мы освобождали и проходили разные украинские и польские города и местечки, начиная с 44-го года, и я при первой возможности искал то, что осталось после злодеев. В результате собрал кое-что, какие-то остатки прошлого, потом вывез это из Союза, когда уезжал сюда, и вот хочу передать все в «Мемориал», — старый Фридланд говорил на иврите в его европейском произношении. Он успел зацепить в детстве учебу в хедере, где ему дали основы религии и иврита. Это было в Могилеве. Но потом большевики

опомнились, собрали волю в кулак, и все эти еврейские дела прикрыли. Фридлянд, смысленный и памятливый подросток, все, чему его учили, запомнил и сохранил.

— Я привез это с собой из России и хочу передать «Мемориалу» в дар, — повторил Фридлянд с некоторым облегчением. Как будто груз какой с души скинул, еще бы. «Денег мне не надо», — добавил он на всякий случай. Осторожный советский человек. Еще бы, сорок пять лет, может, чуть меньше, хранил, привез тяжкий груз. «А Зеев наш уже родился здесь, двадцать три года ему, двадцать четвертый пошел, он цабр». Непонятно почему именно так завершил свой монолог старик Фридлянд. Он хотел, чтобы сын его был равен этой женщине, чтобы понравился ей. Как она, эта неотразимая Берта, понравилась ему. Наверное, интуитивное желание старика отдать сына в надежные руки.

Берта достала из сумочки сложенный вдвое лист бумаги. «Дайте я занесу ваши предметы в ведомость, хорошо, господин Фридлянд, такой порядок». Слова ее о том, что «вы же не передумали дарить все это «Мемориалу», господин Фридлянд?» Берта не произнесла, сдержалась.

Старик замешкался, его руки с раздувшимися сине-серого цвета венами поверх кистей лежали на столе, будто ища в нем или на нем какую-то прочную основу своей жизни. Удивительно, но очки старому Фридлянду были не нужны. На Зеева Берта не смотрела почему-то, по всей вероятности, чего-то эта женщина смущалась. Старик Фридлянд ее смутил, кто же еще.

Берта заполняла графы листа синими чернилами авторучкой в пластиковом корпусе аккуратным почерком отличницы. Она вертела в руках и тщательно рассматривала серебряные подсвечники, украшенные тяжелыми изображениями львов и оленей, записывая в разные строчки только ей понятные определения, даты, названия, имена.

— Распишитесь здесь, господин Фридлянд, — указательным пальцем с алым маникюром она показала старику, развернув лист к нему, в каком месте ему нужно расписаться, и протянула свою ручку через стол, — вот здесь тоже.

Старый Фридлянд, одутловатый, с пронзительным взглядом старик, похожий на отставного опытного дипломата старой школы, взял ручку поудобнее, примерился и поставил свою подпись — энергичный неразборчивый росчерк. Создалось ложное впечатление, что он потерял всякий интерес к происходящему.

Берта поднялась, сложила бумагу, аккуратно положила на место. Принесенное Фридляндом она вернула обратно в сумку, которую поставила на металлическую полку у стены и сказала: «Большое спасибо, уважаемые господа, за бесценный дар. Я благодарю вас, дорогой господин Фридлянд, от всего сердца. И вам спасибо, Зеев, за помощь». Она впервые взглянула в лицо младшему Фрид-

лянду, который немедленно покраснел и смешался. Вот что может допустить творец, Зеев покраснел и растерялся, чего не могло случиться в нормальной ситуации никогда. Но кто сказал, что эта ситуация была обычной и нормальной. В воздухе летали ангельские стрелы, которые поражали сердца ее, его и заодно старого Фридлянда и старика охранника на входе. К счастью для Зеева, они все стояли в мало освещенном месте в бетонном лабиринте коридора вблизи от закрытых дверей комнаты-хранилища.

— Этот парень у нас поздний ребенок, он здесь родился, желанный ребенок, вот какой получился, — неожиданно обращаясь к Берте взволнованным голосом, сказал старик. Она опять поглядела на Зеева, взгляд ее вышел заинтересованным, он как бы говорил: «Ах, вот как, ну что ж, посмотрим». «Выхода у меня все равно нет», — подумала Берта. Девушки в этих местах, по слухам, достаточно инициативные и уверенно выражают свои чувства и настроения. Средиземноморье. Разные попадают. Но, заметим, что Зеев явно чувствовал тепло в этом ледяном бетонном коридоре, которое шло сейчас от ее тела и смеющихся внезапно потемневших глубоких глаз. Или это ему казалось, что было, в принципе, одним и тем же. Какая разница, что кажется, а что есть в действительности и на самом деле в ощущениях влюбленного человека, а?! Скажите.

На обратном пути, по дороге домой, сидя в машине багрового цвета рядом с сыном старый Фридлянд задумчиво, отвернувшись к боковому окну, сказал: «Никак не могу сказать, что долго и тщательно готовился к смерти. Могу признаться, что первый шаг сделал только что». — «Ты что говоришь, отец, ты что?», — испугался Зеев. «Ничего, все в порядке, потом когда-нибудь поймешь», — отмахнулся отец. На проспекте Эшколя Зеев сделал левый поворот на первом от Шмуэль Анави светофоре и припарковался во дворе за домом. «Потом поймешь, погоди немного, молодой человек, — повторил отец, вылезая из машины в жаркий день, — а девушку эту не оставляй, я зря не старался, верь мне». — «Я и не думаю отступать», — сказал Зеев, упрямый и настойчивый человек.

Отец потопал к парадной, обогнув по дорожке, уложенной плоскими камнями, зеленый мусорный ящик и недавно высаженные чахлые саженцы иерусалимской сосны и кустов розмарина. Новый мэр благоустраивал столицу, не считаясь с годовым бюджетом, который постоянно имел возможность пополняться за счет пожертвований людей со всего мира. Ну как же, Вечный город, вечная жизнь, бесконечная упрямая вера. Светлая и обещающая. Деньги не важны, они не стоят ничего рядом с вечностью, разве нет?!

Вот насколько Зеев ничего не понимал, не знал и не хотел разбираться в иерархии иудеев, репатрировавшихся из СССР, настолько Берта была подвержена влиянию своего молчаливого и необъяснимого отца. Он тоже приехал в Палестину только после мировой войны, прорвался на родину из сожженной Европы. Вместе с

сотнями таких же как он нелегалов из Восточной Европы, на огромном сухогрузе приблизился к белоснежному зимнему пляжу возле Атлита, что под Хайфой, и с третьего раза после жуткой драки с английскими солдатами ворвался на родную и желанную землю. У него были родственники, имевшие животноводческую ферму в центре страны, они его приютили. Англичан он ненавидел. При словах «Красная армия» он, человек суровый, недоверчивый, жесткий, (жестокий?) вставал по стойке смирно. Он вышел из весеннего леса с пятнами темного снега под деревьями навстречу освободителям и остановился. В первый раз за пять с половиной лет этот одинокий загнанный, как дикий зверь, подросток почувствовал покой и счастье, физическое ощущение невиданного счастья.

Он увидел знакомый, обыденный пейзаж: грязный овраг, грузовик с ободранными бортами и накрытые брезентом ящики в нем, медленно передвигающихся жующих солдат, дымящийся котел с чудесно пахнущим содержимым, мужчину в псевдобелом фартуке подле, веселое украинское солнышко и бегущие по светлому небу на запад прозрачные облака.

Советские солдаты, многие с азиатским разрезом глаз, накормили его и напоили, одели, обули в сапоги: «Жуй, пацан, каша — мать наша», — говорили они. Ему было шестнадцать лет, он не понимал, не мог себе объяснить, как он выжил за эти годы. «За что господь сохранил и почему?» — он не спрашивал ничего, было не до вопросов. Без вопросов было легче и проще, вопросы он оставил на потом. Солдаты выбрали его, взяли с собой, он добрался до Германии. А там уже его случайно(?) нашли люди из Палестины, отправили на ферму в Италию, где парня и еще сотню таких же похожих на него судьбой и лицом научили водить трактор, бульдозер, комбайн и другим механизаторским изыскам. «Молодец, парень, у тебя все получится, — говорил ему на ломаном жаргоне инструктор, не забывая чертыхаться и жаловаться. — Сейчас язык сломаю из-за тебя».

Вы спросите, а почему он с третьего раза только прорвался тогда в Палестину? Ответим. А потому что первые два раза английские солдаты встречали их на берегу, и после большой драки в численном большинстве побеждали, сажали обратно на судно и высылали в Грецию или на Кипр. И каждый раз эти люди упрямо, все в этой стране построено на упрямстве, как известно, перли и перли в Палестину, как будто она была медом намазана. Так ведь и намазана, разве нет? С третьего раза у них у всех получилось.

Общего языка отцы Берты и Зеева не нашли, не получились у них дружба и взаимопонимание. Хотя у них был и иврит, и русский, и ненормативная арабская лексика, и некоторые пагубные привычки, все это хорошая база для дружбы, но не сложилось. Что же, бывает. Главное, чтобы у молодых это взаимопонимание получилось. Нет? Кажется, оно действительно получилось, взаимопонимание это у них.

Вспомним. Отец Берты, тот самый битый английскими солдатами нелегал с пляжа в Атлите, был абсолютным и законченным безбожником. В синагогу молиться он ходил раз в год, в день суда. Сидел там битые сутки в выходной белой рубаше без хлеба и воды, задавал беззвучным криком свои вопросы. Возвращался домой черного цвета, растерзанный, измочаленный, несчастный. Жена его, мама Берты, заботливая властная женщина, с отдельными легкомысленными привычками, подавала ему стакан чая с медом, который он выпивал и ложился в спальне на их кровать лицом к стене. Уже было темно, свет фонаря у автобусной остановки до их дома не доставал.

После этого часов в одиннадцать вечера он поднимался, выглядывал с тревогой в окно, хватал с вешалки пиджак, приготовленный пакет, и быстро выходил на улицу. Он садился на лавочку в садике у дома, напяливал пиджак нервными движениями, доставал из пакета бутылку «Арака» с зеленым оленем на этикетке, граненый стаканчик на 150 гр, хлебную лепешку с куриной котлетой и тихонько уговаривал все 750 мл часа за полтора под глубоким черным октябрьским небом Иудеи. Немного ему не хватало до полного отката, он знал заранее, что так будет. Раз в год он позволял себе. После этого он успокаивался и дремал, откинувшись на спинку скамьи. Ему нравилось так сидеть и дремать в тишине и покое. Луна отвечивала металлическим блеском от железной калитки садика, скрипевшей и свистевшей при движении. Гармония палестинской черной густой ночи и как бы нарисованной хорошим художником луны с кратерами и холмами под свист цикад из невысоких мокрых кустов была совершенной и безупречной.

Часа в два ночи приходил в одной рубашке без пиджака его старший сын, и осторожно приобняв за плечи, уводил отца в дом досыпать, открывая входную дверь в квартиру локтем. Утром отец вскакивал ни свет ни заря, принимал холодный душ, пил пустой чай, завтракать не мог, тело не принимало, забирал картонку с едой, приготовленную женой с вечера, и мчал на своем пикапе в темноте в поле за городом, где работал на тракторе часов двенадцать подряд с полчасовым перерывом. Бульдозерист он был очень хороший, лучший, чем тракторист. Работа его успокаивала. Вот так. Ответов на свои вопросы, жившие в нем около сорока с чем-то лет, может быть, чуть меньше, у него нигде и ни у кого получить никак не удавалось. Нигде и ни у кого. Ну, какие вопросы, скажите, какие ответы, дайте покой уже.

Каждую неделю отец Берты покупал выпуск газеты на выходные, который был объемный и тяжел, приблизительно, как кошелка его жены, возвращающейся после покупок на рынке. Он садился в гостиной и начинал внимательно изучать объявления о смерти, которые печатались в конце недели на выходные. Украшали людям отдых. Изучение длилось довольно долго. У него были наготове авто-ручка и блокнот, которыми он воспользовался за все год лишь раз.

Он нашел объявление о смерти человека, у которого было то же имя и фамилия, что у его старшего брата. Имена родителей совпадали, имена семи сестер и братьев тоже совпадали. Отец Берты позвонил по указанному телефону в соседний городок. Имена все совпали, но это были не его родственники, это были посторонние люди.

Берта и Зеев родили двух детей одного за другим, мальчика и еще одного мальчика, похожего на первого как две капли воды. Отец Берты, человек прижимистый, подумал, прикинул, поговорил с зятем и купил Зееву пикап для работы, которой было немало, только по-ищи и согласись. «Учебу не забрасывай, парень», — сказал отец Берты. Зеев кивнул, что, «конечно, само собой», работы он не боялся — и дело пошло. Учебу он, как и обещал ее отцу, не забросил, Берта радовалась ему, не переставая удивляться. Дети встречали вернувшегося с работы папку радостным писком и беззубыми счастливыми улыбками. Старшая девочка (год и восемь месяцев) пыталась идти к нему навстречу по плетеному соломенному коврику, под сильной лампой гостиной, размахивая руками для равновесия, ища в отце опору, надежду, с радостной улыбкой произнося в такт шагам лопающиеся ритмичные звуки вроде как «ба-ба-ба».

— Конечно, ба-ба-ба, о чем речь! — восклицал Зеев и подбрасывал ребенка над собой к потолку. Мальчик смотрел на все это снизу и, кажется, по отдельным признакам, завидовал сестре. Зеев забирал и его, разом достигая семейной гармонии. Берта смотрела на происходящее умильным взглядом пожившей опытной женщины, которой она никак не была, но это впечатление, все равно.

Фрида обожала сказки, она читала их перед сном. Кажется, она заполняла некую пустоту в своем детстве, а может быть, просто ей очень нравились преувеличения и чудеса. Неизвестно. Любимая сказка у нее была «Юноша и лилия». Корейская.

Давным-давно за городской стеной вокруг Пхеньяна аж до самой горы простирался огромный луг. И такая росла там высокая и густая трава, что не всякий решался пройти. Неподалёку от городской стены жили юноша с матерью. Бедные-пребедные. Каждый день поднимался юноша на гору, собирал цветы, шёл в город и продавал. А то, бывало, в лес уйдёт, — мечтал юноша в лесу корень женьшеня найти. И вот однажды летом он с самого утра отправился в горы. Блестела на солнце роса. Только стал юноша подниматься по склону, вдруг видит — ущелье, а там лилии! Видимо-невидимо. И такие красивые: слегка покачиваются на лёгком ветру. Стал юноша их рвать. Спешит, хочется ему до полудня попасть в Пхеньян, продать цветы и вернуться домой с деньгами. Вдруг слышит юноша чьи-то шаги. Обернулся — а рядом девушка-красавица лилию в руке держит. Покраснела девушка, застыдилась и говорит: «Зачем тебе так много цветов? Пожалей их, не рви. Видишь, какие красивые!». Удивился юноша: откуда здесь фея взялась? Не знает, что делать, и говорит: «Ладно, не буду рвать». Слово за слово —

разговорились. Стали вместе по лугу гулять, разговаривать — и не заметили, как подошли к дому, где жила девушка. Он был недалеко от ущелья. Дом красивый, под черепицей, двери и колонны с богатой резьбой. Пригласила девушка юношу в дом. Принялись они снова беседовать и не заметили, как наступил вечер. Заторопился юноша домой. Ещё раз попросила девушка не рвать больше лилий и подарила юноше на прощанье мешочек с кореньями. Взял юноша мешочек бережно, как драгоценное сокровище. Пришёл домой, смотрит: в мешочке корни женьшеня. Не знали с тех пор юноша с матерью больше нужды, жили в достатке. Только не мог забыть юноша девушки, с которой повстречался в ущелье. Хотя бы ещё разок её увидеть! Каждый день ходил в горы, а девушки нет и нет. Пошёл тогда юноша к девушке в дом. Но и там не нашёл красавицы. Вдруг смотрит — старик! «Наверняка хозяин дома», — подумал юноша, подошёл к старику, сказал, что девушку-красавицу ищет. Выслушал старик юношу и отвечает: «Значит, и тебе посчастливилось встретить девушку-лилию. Так вот знай! Не человек она — лилия. Только иногда превращается в девушку. Если встретит того, кто любит лилии. Повеселится с ним и непременно подарит сокровище».

Почему-то эта сказка запала ей в душу больше других, хотя и другие сказки Фрида очень любила. Однажды пересказала ее своими словами мужу, внимательно наблюдая за выражением его лица.

— Пхеньяна, понимаешь, здорово, не соскучишься. Что ты хотела этим сказать, Фрида? — спросил Мирон расслабленно. Женщина вгляделась в него, что делала не так часто, отвела лицо и сказала, что «ничего не хотела сказать». Она всегда считала, с первого их дня знакомства, что Мирон похож на нее, но вот сейчас у нее появились сомнения в этом. Хотя он оставался красивым и телом, и лицом, и сдержанным говором, и какими-то одному ему присущими движениями с ограниченной и злой амплитудой, ни на кого Мирон не был похож. Трещина у Фриды появилась, она была небольшой и мимолетной.

Стоит сказать, что Фриде все шло впрок. И сомнения, и разочарования, и влюбленности, и отворачивания. Она старательно училась и работала, ее усилия не были напрасными. К двадцати шести годам она сделала третью научную степень, в научной среде к ней относились с искренним уважением, почтением и удивлением.

«Я думал, что все это приложение, дорогая, прекрасное приложение к вашим потрясающим внешним данным, но получилось, что все совсем наоборот», — с удивленным и восхищенным видом сказал ей руководитель их кафедры на шумном университетском празднике. Фрида посмотрела на него без улыбки, и он смешался.

«Я имею в виду, что в смысле, великолепные внешние данные, а интеллектуальные достижения просто фантастические», — быстро объяснился с привычной местной прямоотой профессор. С одноразовым стаканчиком, наполненным игристым розовым ви-

ном, которое называлось почему-то «шампанское», Фрида стояла подле него и слушала сомнительные откровения этого солидного, не добродушного и авторитетного человека, склонного к смелым суждениям во всех сферах жизни, и которого за глаза коллеги называли Альбертом (он знал об этом своем тайном прозвище и гордился им), хотя его настоящее имя было Нимрод. Он не был человеком ее сладких грез и хорошо знал, что у него нет шансов. Переживал по этому поводу не слишком, но ему было все-таки досадно, почему-то. Фрида неожиданно вспомнила, как они встретились впервые с Мироном. «Какой был «щенок кудрявый», какой наивный мальчик, но сколько в нем было энергии, веселья, счастья, жизни. Больше, чем у всех этих... За шиворот Мирона тогда все-таки схватить никому не хотелось, даже самому грубому полицейскому». Фрида оглядела людей, ходивших вокруг, в глазах ее можно было увидеть иронию и удивление.

На нее находила иногда непонятная грусть, и она как бы выключалась из жизни. Многие коллеги и просто случайные люди любовались ею, но Фриде это было не так важно. Лыстило, конечно, все это, но как-то косвенно, как будто это все было не про нее, не про Фриду. Она носила в кармашке возле нарядного пояска амулет из тонкого золота, так называемую хамсу, которую ей подарила бабка, мать отца. «Никогда не расставайся с этим, девочка моя, это очень древняя рука, береги ее», — горячо нашептала, сверкая черными зрачками, эта злобная старуха, которую звали Года. Эта баба Года из всех внуков больше всех обожала Фридочку, свет ее глаз и блеск, ее забавные повадки детеныша какого-нибудь грызуна. Они были похожи и внешне, и характером, просто баба Года была много старше, и жизнь у нее была другая. А так, как будто сняли копию. Иногда она улыбалась неожиданно внучке, глядя ее по голове рукой и повторяя: «Птичка моя светлая». Улыбка украшала морщинистое темное лицо ее, меняя его волшебным образом на молодое и светлое. Улыбка была изумительна.

Фрида истово верила в силу этого амулета от бабы Годы, считавшейся в семье более чем странной и даже просто выжившей из ума старой женщиной, хотя виду никогда не показывала. Хамса была тончайшей чеканки, прозрачная в месте выбитых узоров, сверкала чистым золотом, размером с треть большого пальца пожилой женщины. Должна была помочь. Фрида смастерила для хамсы футляр из куса бархата, разрезав для этого старую накидку с пятничного стола. На бархатном футляре хамсы остался обрывок нашитого выпуклого желтого узора.

Ей очень нравился большой теннис, мгновенный взрыв струн при ударе сильного игрока в движении справа, слева и сверху, некротимый полет желтого шара и попытка соперника почти в шпигате отбить совершенно неотбиваемый мяч. В Иерусалиме не было травяных кортов, играли на синтетике или на песчаном грунте, в

Катамонах возле нового футбольного стадиона в Малхе. Этим короткам было больше 30 лет, они появились еще до знаменитой победной войны иудеев с соседями. Фрида уважала и ценила травяное покрытие, более быстрое и сложное для игры, но довольствовалась тем, что есть. Она много смотрела теннис по ТВ. У нее были любимые игроки, особенно полусумасшедший(?) американец Джон, который чувствовал мяч как часть своего тела. Этот чувак и играл примерно так, как любила Фрида: удар с задней линии и прыжок к сетке на отчаянный выигрыш или проигрыш.

Этот азарт, напор, изумруд корта на телеэкране и этот чумовой худенький сильный парень, кавалерист большой игры со светлыми волосами англосакса, сводили ее с ума. Но сама Фрида не играла, в детстве не научилась, в секцию не записалась, не любила спорт, а потом уже было поздно. Ее любовь к звукам ударов под пасмурным лондонским небом по желтому мячику не прошла у нее со временем тоже, ни в коем случае не прошла, любовь не проходит, ведь так?! Повторим на всякий случай, что спорт она не любила категорически. Всегда. А вот теннис покорила ее.

Кстати, этот веселый заводной американский Джон так и не смог стать самым великим чемпионом в истории тенниса, что все-таки не имело большого значения в жизни Фриды. И кажется, для него самого тоже, но более точно неизвестно. К счастью.

Фрида знала четыре языка, русского среди них не было. Нельзя сказать, что она была невероятно талантлива, нет. Но память, любознательность, воля были у нее в избытке, что объясняет многое в ее судьбе.

Итак, амulet от бабы Годы, теннис, языки, научные степени, холодная красота — совсем не мало. Вот вам Фрида. И еще муж Мирон, спокойный уверенный комфортабельный мужчина с твердыми руками и повадками опасного хищника, а также отсутствие детей. Что именно сводило с ума эту женщину, Фрида никогда не показывала и никому не говорила, но дела это не меняло. Добавим сюда еще плавательный бассейн с гладкими и обтекаемыми фигурами пловцов, свежим запахом воды и газона вокруг, огромным светом в открытых стенах, гулками звуками голосов.

Мирон, в свою очередь, надежный, с навыками добытчика, из хорошего состоятельного дома, воспитанный и начитанный человек, интеллигент и выпускник университета, обожал безжалостные 15-раундовые бои профессионалов-тяжеловесов, в которых лица боксеров превращались в непонятную кроваво-мясную жуткую кашу, а их наставники все отказывались выбрасывать на ринг полотенца в знак признания поражения. Но и бессмысленно мычащие в углах после нокаутов бойцы запрещали наставникам сдаваться и требовали продолжения поединка, могущего привести их, как минимум, к коме, а как максимум, к смерти. Мирон, несколько смурной и закрытый человек, считал

все это нечеловеческое терпение, отказ от сдачи боя, бычье упрямство, не без основания, высшим проявлением человеческого мужества и силы духа.

В заднем кармашке его бумажника присутствовала фотография наливного женского зада в миниатюрных трусиках. Иногда он доставал эту фотографию, вытягивая ее из-за пластиковых кредитных карточек. Он, серьезный взрослый мужественный человек, смотрел на изображение затуманенным взглядом восторженного подростка переходного возраста, после чего осторожно и благоговейно возвращал фото на место. Никогда и никому он не признался бы, где и как это было сфотографировано, но никто и никогда не видел и не мог видеть этого фото. Да и чье оно, кстате? Чьи весомые и прелестные ягодички изображены здесь, у этого чокнутого Мирона на фото, а? Догадайтесь с двух раз. И нечего лезть в драку, вы что!

Когда хоронили бабу Году, тяжело болевшую последние месяцы до смерти, шел проливной дождь в Иерусалиме. Она знала, что скоро умрет, внятно шептала внучке: «Мирона своего не бросай, он хороший муж, любит тебя, а дети придут еще, вот увидишь, запоминай, что я говорю, Фридошка, фейгале», — она гладила ей руку и успокаивала, хотя все должно было бы быть наоборот. Никто не знал, сколько ей лет, сын, отец Фриды, говорил, что ей 91 или максимум 92, никаких документов не было. Можно было подумать, послушав этого человека, что 91 или 92 это все так, детский возраст. А попробуй проживи все эти года, а? Герой с дырой.

Из родимого двухэтажного дома с лавкой во дворе, что под Витебском, она сбежала в Палестину одна, совсем молодой девушкой, услышав выступление писателя В.Е. Жаботинского в Варшаве, где училась на медсестру. Баба Года на всю жизнь запомнила имена своих преподавателей, она вообще, даже в глубокой старости, отличалась хорошей памятью. Отец платил за обучение, души в ней не чаял, надеялся на ее ум, способности и красоту. Справедливо надеялся. Но что делать, когда есть обстоятельства, есть особые причины, нечего носиться по миру, нечего бегать с насыщенного места. Скажите только, какие обстоятельства, какие причины, какие такие места (Егупец, Баден-Баден, Пятигорск, хе-хе) заставляют вас сидеть со своими кастрюлями, кованными сундуками, стегаными одеялами, с семисвечниками, со всем этим тяжелым скарбом на месте и ждать судьбы, когда девочка плачет и умоляет все бросить и бежать сломя голову в никуда, на край света. «Он сказал правду в Варшаве, этот человек из Одессы, и у меня предчувствие», — плакала девочка их любимая. Но кто сказал, что надо верить предчувствиям? Она же еще ребенок, а кинд, нет?! И рэбе из местечковой синагоги, только-только покрашенной на праздники, к тому же повторяет: «Надо подождать, идн, где имение, а где вода, дафмен вартн». Жаботинский сказал слушателям в Еврейском доме, что надо бежать из Европы, пока это еще возможно.

«Вот уже три года я призываю вас, евреи Польши, я по-прежнему предупреждаю вас, не переставая, что катастрофа приближается. Именем Б-га, пусть хоть кто-нибудь из вас спасется, пока еще есть время! Времени осталось очень мало», — говорил Жаботинский, выступая в Варшаве 12 июля 1938 года.

Баба Года тогда его слышала в Варшаве и примчалась к родителям и братьям с сестрами, предупредить и вырвать их из этой жизни в другую, спасти их. Но что она могла одна против их упрямства, недоверия, сомнения. Она уехала одна, через всю Европу, через Средиземное море, через бог знает что еще, преодолев тяжелейший путь в страну-не страну, которая была похожа на сон во время воспаления легких, желто-красную, пылающую и опасную. Через три дня после того, как Года сошла на берег в порту города Яффо, она познакомилась с парнем, биография которого совпадала с ее почти пугающе. Только он был младше ее на два года и был родом из-под Гомеля. Его звали Гилель. Он был веселый, в отличие от нее, белоснежное лицо его с зачатками местного загара постоянно меняло свое выражение, нос был крепкий, неровный, глаза рыжие и внимательные, ключицы торчали в распахнутом вороте рубахи, Года потеряла голову совершенно и окончательно. Она была настоящей и необычной для этих мест красоткой, Фрида явно получила свою красоту в наследство от своей бабки. Через две недели Гилель и Фрида поженились в Иерусалиме, где у Гилеля была работа на рынке в небольшой пекарне, которой владел громкоголосый иракский еврей из знаменитой семьи Абади. Гилель тоже был влюблен и очень взволнован. Хупу поставили в Геуле в большом зале иешивы «Мир», было много нарядных людей, мужчины были в белых рубахах. Молодоженов носили на стульях, старики-прихожане плясали изо всех сил, потому что так полагается. Года смеялась, подавляя счастье, что ей не удавалось совершенно. Гилель, который был в картузе по столичной моде тех лет, выпил большой стакан тонкого стекла, наполненной анисовой настойкой. Он был совершенно пьян не то от выпитого, не то от умопомрачительного вида жены, чудное лицо которой с непроницаемыми светлыми глазами за фатой пьянило и кружило его. Они были обречены любить друг друга и жить вместе всегда. Навсегда(?!). Гилель умер все-таки раньше Годы на 6 лет.

Первые два года после его смерти баба Года регулярно видела совершенно живого Гилеля в углах своей комнаты, на подоконнике и даже на шкафу. Только он не говорил ничего. Он выглядел, как в молодые годы: подвижное лицо, бледные губы, легкие волосы и белая рубаха с расстегнутым воротом. Синеватый и, как бы, размытый абрис.

Она вставала с постели, подходила быстрым босым шагом по ледяному полу, скользила в угол комнаты, подробно ощупывала все рукой, убеждалась, что никого нет, что Гилель ее в той области, где

ни до чего ему нет дела, даже до нее. Она пожимала плечами, вздыхала, чего-то бормотала непонятное и возвращалась обратно в кровать. Года не была разочарована, она все понимала, просто хотела убедить, что его нет в комнате и вообще поблизости. Года плохо спала и покойно лежала в ожидании сна, выложив руки поверх одеяла. Глаза ее в перепутанных, совершенно девичьих ресницах, были открыты, она ни о чем не думала. Такие же перепутанные ресницы были и у Фриды, не зря Года говорила всем домашним вокруг, что «Фрейда моя точная копия», что-то в ее словах было от правды. Несколько натянуто сказано, есть оговорки, но почти верно. Кто лучше, кстати, из них, кто краше, определить было невозможно. Красота, вообще, и красота женская особенно, подпадают под понятие вкуса, хотя и есть такие, которые считают, что красота понятие абсолютное.

Не будем спорить, но не согласимся.

Родные Годы не смогли въехать в Палестину, потому что англичане (Верховный комиссар Гарольд МакМайкл) утверждали, что сертификаты на въезд кончились.

Все родные Годы, Гилеля, как и тысячи других людей, остались в оврагах и рвах Западной Белоруссии. Года не могла слышать слова «англичане», ей становилось плохо. Она переворачивала горы, чтобы добиться сертификатов для отца и других, но чиновники говорили, что сертификатов нет и не будет. «Тупые дебилы и их лживые английские улыбки», — так безоговорочно заявляла она об этих людях и сразу переводила разговор на другие темы.

Бен Гурион называл МакМайкла «ужасным человеком, самым худшим из всех Верховных комиссаров Эрец Исраель».

В годы 2-й мировой войны МакМайкл лично активно препятствовал въезду в Палестину еврейских беженцев выше установленной Британией перед войной квоты. При этом, согласно некоторым источникам, с 1941 г. остались неиспользованными тысячи(!) сертификатов на въезд в Палестину.

Жаботинский сказал об этом Верховном комиссаре (МакМайкл), выпускнике Кембриджа, что «такого тупицу невозможно было бы взять на работу уборщиком в бане, потому что он бы не справился, не сумел бы убрать». Но дела все это не меняло. На жизнь МакМайкла покушались семь раз, в основном это были боевики «Лехи», но все было неудачно. Пули и бомбы проходили мимо него. Не судьба. Он прожил восемьдесят семь лет.

Заметим, что Верховные комиссары Палестины — высшие должностные лица, уполномоченные представлять Соединенное Королевство в британской подмандатной Палестине в период с 1920 по 1948 годы. Их резиденция находилась в Иерусалиме.

Года неожиданно вспоминала, как Гилель был неловок с нею в начале их семейной жизни, как горячился, как был тверд, ничего не знал и ничего не понимал, и как ей все это нравилось. Горечи и

тоски у нее не было, она думала об этих днях и ночах с нежностью. Он горячил ее своей страстью, а она вызывала у него невероятный и необъяснимый приступ такой радости, что можно было озоботиться здоровьем его сердца. Но сердце Гилеля было крепчайшее и неотвратимое, как швейцарские карманные часы, которые он привез из родной Белоруссии и которыми гордился так же примерно, как гордился Годой, ее красотой и врожденным благородством. Он умел рассмешить ее, что было очень важно. Мог удивить. Мог напугать. Мог загнать в угол. Задавал мало вопросов. Где это нравилось. Напоминало поездку на поезде вдоль побережья, на перегоне между Хайфой и Нетанией.

Года рассказывала Фриде громким шепотом, посвящала ее в тайны своей жизни:

— Ты не знаешь, но весной сорок второго года здесь у нас была отчаянная ситуация. Немцы шли на Палестину, им помогали итальянцы. Командовал немцами маршал Роммель, у которого был приказ Гитлера убить всех евреев Палестины. Ты понимаешь, да? Они решали свои проблемы, эти немцы. Роммеля звали «лисом пустыни», он был большим гуманистом, этот Роммель, по слухам, но дело свое знал хорошо, гнал англичан по Африке как псов.

Самым дефицитным продуктом в ишuve был яд. Все покупали и доставали яды, кибуцы скупали яд оптом, никто не хотел попасть к убийцам в руки, все знали, что они делали в Европе. Говорили, что от Гитлера, божьей напасти, никуда не скрыться. Я была медсестрой, у нас дома тоже был яд. Достала Года, достала себе и Гилелю на погибель. Было тревожно, страшно.

А потом вот что случилось. Немцы казались неудержимыми, дошли до города Аль-Аламейн на той стороне канала в Египте. Тогда два раввина-каббалиста, ты знаешь, девочка, что такое каббала? — поинтересовалась баба Года.

— Что ты! Я знаю. Не маленькая.

— Так вот. У каббалистов был острейший спор по поводу того, можно это делать, останавливать молитвами и небесными проклятиями немцев, или нет. Были такие, очень авторитетные, которые называли все это идолопоклонством, колдовством, магией. Но были и другие. Двое из Иерусалима из иешивы «Врата небесные» в Ма-кор Барух (знаешь, это, девочка, в Геуле, на первом светофоре, если идти от телевидения, надо направо свернуть), считали, что можно и нужно. Это тебе к сведению, Фрейдале. Не скучай, терпи, это важно, девочка.

— Я не скучаю совсем, — голос у Фриды был напряженный и высокий от этого. Баба Года скользнула глазами по ее лицу и продолжила. Она редко теряла нить своего рассказа.

— Так вот, двое из этих почтенных раввинов решили это сделать, остановить злодеев. Они договорились с английскими летчиками и облетели на самолете границы Эрец Исраель. Эти джентль-

мены взяли с собой четырех петухов, которые были без единой крапинки, то есть совершенно белые, и сели перед открытым грузовым люком. На люке на всякий случай натянули веревочную сетку, чтобы они не выпали. Мужчины были в возрасте, и у них отсутствовала соответствующая подготовка. В каждом направлении полета, то есть на западе, юге, востоке и севере они забивали по петуху и говорили особые молитвы, окропляя кровью землю под самолетом. Они были в перьях и крови птиц, так как дул сильный поток воздуха им навстречу. Они не выпали из самолета, несмотря на отсутствие нужной тренировки и преклонный возраст, и благополучно вернулись на землю. Самолет совершил дозаправку в (иорданской) Акабе. Он приземлился в Иерусалиме на аэродроме в Атарот, знаешь, где это, девочка? Да, конечно, по дороге в Рамаллу слева. Раввины вылезли наружу, очистили пиджачки, шляпы и рубахи от перьев и крови, дали летчику-ирландцу на пиво и на ветхом автобусе с облупленной синей краской по стенкам и открытыми боковыми стеклами, иногда приезжавшем из Шоафата в сторону Кикар Шабат, отправились по домам. Был понедельник 3 ноября 1942 года. Шел противный ноябрьский дождик в Иерусалиме, что называется, не нашим, не вашим. На следующий день армия Роммеля была разгромлена под Аламейном. Роммель потом в 44-м отравился после провала заговора против Гитлера, ему дали право выбрать смерть, уважали за заслуги и авторитет. Он замкнул круг, как говорится, благородный солдат, отец рядовых и сержантов, лис пустыни, командир полка охраны Гитлера, начальник там наверху все видит, абсолютно все, это известно давно. Вот, Фридошка, это все.

Откуда она это все знала, было неясно, память у нее была невероятная. Нашептали, наверное, бабки, по секрету, откуда еще. Такая вот женщина из Белоруссии, проработавшая почти 50 лет хирургической медсестрой в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем. Баба Года вздохнула, глядя перед собой своими ясными горящими глазами и явно наблюдая воочию картины разгрома армии Эрвина Роммеля. 130 тысяч немцев взяли тогда в плен англичане, между прочим. Вокруг головы Года часто заплетала седую косу, которая создавала некое подобие белой драгоценной короны, очень красившей ее.

Фрида смотрела во все свои длинные глаза на свою любимую бабулю (савтуш) Году, умницу и красавицу, которая помнила все и всех, знала очень много и хотела научить внучку всему, что знала сама.

— Говорить на эту тему просто так все нельзя, упоминать в разговоре тоже нельзя. А то я слышала, все бросились сейчас изучать каббалу, все мудрецы, все всем разрешено, а ведь это просто опасно, девочка моя, просто страх божий. Запомни это, Фрида, — мощный учительский навык у нее был непонятно откуда, всю жизнь она проработала медсестрой. Из дома, наверное, от папы и деда, откуда еще.

— У нас с тобой те еще имена, торжество галута, — сказала по дороге Берта Фриде без осуждения. Легкая саркастическая улыбка сопровождала эти слова. Женщины направлялись по тенистой улице чудесного города Оснабрюк на коктейль к куратору выставки в музее Нуссбаума. Их сопровождали веселая тишина и не менее тяжкий зной. Плюс 27 по цельсию, как показывал огромный градусник под вывеской отделения Дойче банка.

Они были похожи на двух принцесс королевского двора, только одеты эти женщины были как-то не вполне по-королевски. «Нам не хватает вуалей, частых и самых дешевых», — засмеялась смутившаяся Берта, когда проходивший мимо германский юноша атлетического сложения, в гетрах на выпуклых икрах и шляпе с перышком за лентой, повернул им вслед голову и споткнулся, чертыхнувшись на всю улицу.

Веснушчатая круглолицая и улыбчивая Берта в строгом костюме и белой батистовой кофте, с выложенным наверх воротником и смело открытой грудью, походила на распорядительницу высокого ранга, успешную карьеристку. Фрида была выше ее ростом, стройная, легкая, медлительная, знающая себе цену, несколько грустная, являла собою противоположность Берте во всем.

На них оглядывались редкие прохожие, выворачивая головы. Немки тоже хороши собой, тоже грациозны, но эти были другие, местный глаз их выделял сразу. А эти две весталки казались дикими, таинственными, непривычными, колючими и необъяснимыми цветками Средиземноморья. Таких здесь не видели давно и не могли вспомнить, так как прошло уже два поколения с тех пор, или даже два с половиной поколения, поди узнай. Порхающие бабочки-лиственницы, чертившие в воздухе сложные узоры, и сверкающие на заходящем солнце изумрудные стрекозы размером с ладонь, дополняли городской и совершенно сказочный пейзаж Оснабрюкена. Вот сейчас из-за дома и из-за густого куста с частыми желто-красными розами выйдет атлетически сложенный охотник в шляпе с перышком за лентой, ослепительно улыбнется и спросит их: «Девочки, кто-нибудь хочет меня полюбить так, как я люблю вас?». Из-за угла вышел пожилой, прихрамывающий на обе ноги мужчина в костюме из трех деталей, поклонился дамам и поплелся дальше по своим старческим грустным делам.

— Память сохраняется в трех поколениях, девочка. Ты вот как раз третье поколение, потому я так болтаю, стараюсь, чтобы ты запомнила, твои дети уже будут не в теме, не вспомнят, — говорила Фриде Года.

— Да где там мои дети, нету детей, бабуля, — горько пожаловалась Фрида.

— Не говори ерунды, будут дети, старайся, и мужу своему скажи, чтобы старался, — сердитым голосом наказала Года.

— Да уж мы, бабуля, стараемся, просто уже сил нет.

— Еще больше старайтесь, я тебе дам сейчас, детей нет, ишь какая, — Года сердито сдвигала брови, — дайте деньги на синагогу, маму-то помнишь свою, как звать? Пусть молятся.

— Хорошо, бабуля, — Фрида уже раза три носила деньги в синагогу, что на главной улице в глубине старого сада. Передала служке, и имя мамы записывала раввину на клочке бумаги. Пока все было впустую. Про это она Годе не сказала.

Приняли их прекрасно. В помещение музея вел просторный коридор со стеклянными стенами. Дюжий полицейский внимательно осмотрел пришедших и сказал низким голосом человека от закона: «Прошу вас, дорогие дамы, проходите, вас ждут». Клаус, бритый джентльмен академического вида, в круглых очках без оправы, в прекрасном костюме, рубашке глубокого синего цвета без галстука и ромбовидным университетским значком Магдебурга фиалкового цвета на лацкане пиджака, был любезен донельзя. С несколько напряженной улыбкой человека при исполнении, он просто стелился перед ними. Клаус, его звали Клаус, как он сам им сказал, сразу представил женщин всем присутствующим, затем подвел их к картинам Нуссбаума, которые привезла Берта.

— А это наш гость из Москвы, познакомьтесь, профессор искусствования, — Клаус подвел к ним мужчину, почему-то одетого в свитер. На нем был также бордовый галстук, пиджак цвета мокрого асфальта. У него было надменное бритое бледное лицо и расчесанная на пробор густая актерская шевелюра. Вздернутый подбородок придавал его лицу столичный лоск, довершал образ. При всем при том этот человек оставлял общее впечатление неуверенности и даже жалости.

Так нередко случается с некоторыми людьми, считающими себя недооцененными и обойденными вниманием, признанием, любовью. Он, казалось, кричал во весь голос, этот гость из Москвы: «Хочу женщин, цветов, шампанского, обожания, славы, блуда и всего остального». Можно добавить, «всего этого остального в полной мере». В кармане его пиджака лежали очки в пластиковом футляре с защелкой, расческа, купленная в магазине «Тысяча мелочей» на Арбате, пухлая записная книжка с продублированными на всякий случай страницами и мобильный телефон черного цвета, который еще не занял доминирующего места в жизни людей тогда. На плече его висела кожаная сумка с откидной крышкой на молнии. Он, его образ, были раздражающе знакомы Берте, как будто она провела детство в одном дворе с ним и его семьей.

Наблюдение за этим человеком больше одной минуты вызывало нестерпимое чувство неловкости. Как будто бы вы высмотрели что-неприличное и гнусное, что видеть просто нельзя, потому что просто нельзя. Нельзя и все. А вы смотрите и смотрите, остановиться не можете, бестактный недалекий вы человек.

Он хорошо говорил по-английски. Хороший вуз, хорошее образование, большие знания. «Вы привезли эти работы из Иерусалима, да? Этот беженец меня очень напрягает, признаюсь», — сказал профессор из Москвы, которого звали Кириллом Сергеевичем. Он изо всех сил пытался быть естественным и светским. Берта его внимательно слушала, Фрида с максимально равнодушным видом на своем скуластом белом лице стояла рядом с ними, глядя в сторону, этот человек не вызывал у нее доверия. Ее дорогие на первый взгляд часы на левом, не менее дорогом, запястье, которые она откровенно повернула к себе, показывали 19:27.

— У меня к вам несколько вопросов, сударыня, — сказал профессор, не глядя на Берту. На Фриду он смотреть просто опасался почему-то. Эта женщина могла вогнать почти любого человека в безвыходную ситуацию легким поворотом головы, ледяным взглядом и в обычной ситуации. А сейчас эта женщина демонстрировала брезгливость, объяснить которую, наверное, она бы не смогла. Какого цвета были глаза у Фриды, очень хотелось бы узнать, потому что они, глаза, меняли окраску в зависимости от настроения хозяйки, погоды, самочувствия, восхищения окружающих и других столь же значительных причин.

Берта живо обернулась к московскому гостю, лицо ее было сама любезность. Хотя, если уж совсем честно, у нее этот Кирилл Сергеевич, или как его там, тоже не вызывал симпатию. Какой-то он был скользкий, со следами на шее и аккуратнo расчесанными волосами, и так далее. Искать долго не надо. Но ее все детство учили быть любезной с гостями и вообще с людьми. Как не странно, с таким воспитанием Берта, кокетливая от природы, отличалась добродетелью. В жизни она руководствовалась единственной мыслью: у меня есть муж, не о чем говорить вообще.

— Эти работы Нуссбаума действительно вам нравятся, действительно это большая живопись? — он смотрел искоса, и не то у него была ухмылка или ее подобие, или какая-то гримаса, не то все-таки ей показалось? Ну кто ты такой, надменный глупец, а?! Вообще, Берта могла взорваться и отреагировать на хамство, на бестактность. Ей нравилась собственная неуправляемая ярость, впрочем, быстро затихающая. Она любила выпенно формулировать свои чувства, например, отношения с мужем называла «незатишающей страстью». А вот этот, в парадном костюме с тревожными глазами человек из Москвы казался ей «неопрятным гусем», хотя был одет чисто и даже по-своему нарядно. Но женщины, настоящие женщины, к которым, конечно, относилась и Берта, все эти досадные мелкие детали чувствуют мгновенно.

— Вы хотите говорить на эту тему? — спросила Берта, полуотвернувшись от москвича. — Мы поссоримся с вами.

— Нет, не поссоримся. Просто все это, — он показал рукой на две картины Нуссбаума, которые привезла из Иерусалима Берта, —

не то, незаслуженно. Есть сотни других художников, ничуть не хуже, но с другой судьбой, которым никто и никогда не будет строить музеи, как это можно не понимать? Скажите?! Слышали такое имя, Фальк? А?

Картины Нуссбаума назывались «Беженец», «Синагога», картины как картины, никто от этого глупого правдоискателя не ждал его московской оценки. Кто он такой?!

— Все так запутано с этой историей войны и ее жертвами, — возбужденно сказал москвич.

Раздражение Берты от этого человека росло. Она, в другой ситуации, конечно, развернулась бы и в гневе ушла, не простившись, но здесь, в германском музее, на приеме, ей показалось это сделать невозможно.

«Все очень сложно и понятно, мистер. Я не должна ничего объяснять вам и оправдывать этого человека, его судьбу, жизнь и смерть, мы, и я, и вы не имеем права судить чью-то жизнь, страдания, смерть», — у нее был очень приличный разговорный английский. В детстве у Берты была школьная подружка, родители которой переехали в Израиль из Южной Африки, из города Йоханнесбург. В этом доме кроме родителей были три дочери, а также родной брат отца, который после смерти жены жил один в соседней квартире. Все говорили дома только по-английски, Берта была вовлечена в разговоры и игры, слушала сказки Андерсена и восторженно обсуждала с крупнотелым, плосколицым отцом семейства, похожим на бура из романа Майн Рида, школьные успехи его дочерей, которых не было и в помине. Но английский у нее остался с тех пор очень хороший. У москвича английский был надежный и понятный, но заскорузлый какой-то, угловатый и похожий, как это ни странно, на идиш. Идиш, напомним, это еврейский язык ашкеназов, иначе говоря, тех евреев, которые проживали раньше в Европе, а теперь там уже почти не живут. Или еще живут? Еще остались, курилки?

Берта внезапно почувствовала какое-то роковое отчуждение от этого человека.

— Вы знаете, а я в бога не верю, я — атеист, но, замечу, что значение его в вашей иудейской жизни сильно преувеличено. Что такое? Уже все всем понятно, а вы цепляетесь за него и цепляетесь. Мир уже стал совсем иной, только вы этого не замечаете, упрямцы. Я понимаю, что вы без него чувствуете себя обездоленными, сочувствую вам, — москвич что-то хотел сказать, и Берта догадывалась что. Этот опрятный, чистый старик (кто же еще, конечно, старик), так она его определила для себя, вызывал у нее резкую неприязнь. «Господи, да что ж такое, а?!», — жаловалась Берта про себя.

Она хорошо знала одну фразу по-русски, которой ее научила когда-то в Париже незабвенная подруга Лида, о которой расскажем позже. Она отвернулась от него и несколько раз произнесла эту фразу, чтобы не сбиться. «Это непереводимо, но очень важно», —

подумала Лида. В конце концов, она ничего не сказала Кириллу Сергеевичу, только криво улыбнулась ему. Лида ее помимо этой фразы научила никогда не ругаться с уборщиками, таксистами, официантами и другими людьми схожих занятий. «Никогда, слышишь», — настойчиво говорила она. Берта запомнила это наставление хорошо. А та русская фраза Лиды звучала так: «Дурак ты, парень, старый безнадёжный дурак, и уши у тебя ледяные».

— Ты не думай, девочка, мы с Гилелем хорошо жили, весело. Он был заводной такой парень. Однажды поехали в Тель-Авив, посидеть в кафе, поесть чего-нибудь, выпить, потанцевать. Я была беременна твоим отцом, кстати, первые недели, шесть, точнее. Приехали, сели за столик под тентом на берегу моря, сделали заказ. Белый песок, синее море, волны балла на два, порывы ветра, насыщенные песком, чудесно все. Сидело несколько людей за столиками с белыми скатертями, все одеты в белое, торжественный вид, нарядные, улыбаются, негромкие голоса. Звон посуды в кухне. Хозяин, манерный и медлительный, с властным лицом, обведенными черным цветом глазами и ужасным голосом, похож на кинозлодея из английского фильма. Немного переигрывает, но не смешно.

Завели патефон, пел Александр Вертинский, он был в большой моде здесь тогда: «Он юнга, родина его — Марсель, он обожает ссоры, брань и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль, и любит девушку из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь, на ней татуированные знаки...». Я млею, люблю танцевать, да ты ведь не понимаешь русского, Фрида, просто поверь мне. Нам приносят шампанское в железной кадке со льдом, овощи, масло, апельсиновый сок, поджаренный хлеб, мельхиоровые ножи и вилки, гладкие с синевой салфетки, просто счастье. О деньгах не думаем, не в деньгах счастье, девочка.

Вдруг музыка с ужасным звуком съезжающей с пластинки иглы прервалась, и хозяин зычным голосом объявил, почти продекламировал: «Господа! Германия напала сегодня ночью на Советский Союз без объявления войны, немцы наступают по всей линии фронта от Балтийского моря до Украины и Белоруссии и дальше». А куда там дальше, а?!

Раздался как бы общий тяжкий вздох, все пришло в движение, средних лет официантки, в основном, недавние беженки из Восточной Европы, суетливо забежали в попытке собрать деньги с суетящихся и пытающихся уйти прочь людей. Не до завтраков и обедов, война нагнала всех, вопрос один: что там и как товарищ Сталин ответит нацистам. Надежда на русских, одна надежда на русских. Дадут Гитлеру по морде, как русские любят, наотмашь. Или у них тоже кишка тонка... как у поляков, на которых все рассчитывали, как на гордых смельчаков. Неужели?

Мы поехали с Гилелем обратно в Иерусалим, соседи наши на Навиим, где мы жили тогда возле спуска к Шхемским воротам, полнолицые купцы в чесучовых костюмах, счастливо улыбались нам в лицо, мол, мы за все это всей душой, мы за все это наше безграничное счастье, мол, время наше пришло, господа беженцы». Нас они терпеть не могли, считали пришлыми голодранцами, шантрапой. Был среди них один с кремовой кожей, медлительный благородный человек, пришел к нам и сказал, чтобы мы не волновались: «Я вас, если что, спрячу у себя». Гилель сказал ему спасибо и пожелал не торопиться с выводами. Англичане вели себя ужасно. И арабы их не любили тоже, считали, что англичане за евреев, а не за них. Никто этих англичан не любил, бедных. Но сейчас к ним неплохо относятся, или я ошибаюсь, Фридоchка?

У бабы Годы бывали такие вечера воспоминаний, она говорила и говорила, а Фрида сидела и слушала.

— Ты знаешь, Фридоchка, осенью сорок второго года в Палестину прилетела советская делегация. Военные люди. Что-то они там замыслили с англичанами или еще с кем, но что — никто не знал, в газетах написали скупое, приехали восемь человек в макинтошах, двое были в кителях. Все это я вычитала в газете. Вечером советских повели в театр Оэль, где давали юмористическую пьесу о нравах в колхозах советского драматурга Василия Шкваркина «Чужой ребенок», невероятно популярную в СССР. В Габиме тогда ставили Симонова «Жди меня», но советских повели на Шкваркина почему-то. Наверное, не тот ранг, или еще что, а может, они сами захотели отдохнуть от напряженных будней, просто посмеяться. Неизвестно. Мы с Гилелем в театр тогда не ходили, было не до театра в Иерусалиме.

Советские сидели во втором ряду, им тихо переводили текст с иврита, они плохо слушали, но вели себя корректно, в антракте выпили коньяка, который, кажется, принесли с собой. Вполне возможно. Изредка они, прикрывая рты ладонями, хохотали над диалогами. Все равно, несмотря на усилия гостей быть потише, их смех звучал значительно. В спектакле Оэля уже не был занят коммунистический активист, характерный актер Шмуэль (Муля) Микунис, который позже расколол, к чертовой матери, компартию Израиля на просионистов и антисионистов. Муля, агент Коминтерна, как он сам говорил про себя, имевший французский диплом инженера, был милый человек и не злодей, в отличие от других. Зато главную роль играла Люся Шленская, потрясающая женщина, жена поэта Шленского. Она была красавица: фигура, кожа, все при ней — только счастья не было у нее. Ужасная судьба, страшно подумать. У нее был порок, от которого, к несчастью, она не смогла избавиться. На все и у всего есть причины, ты это помни, моя ласточка. Я все время повторяю себе, не заигрывайся, старуха, останавливайся, а я тороплюсь выговориться, тороплюсь не успеть, понимаешь!?

Баба Года не рассказала Фриде, может быть, не захотела, может быть, отодвинула на будущее, что у них дома Гилель держал в спальне топор с короткой ручкой. Отточенный топор, блестя лезвием, стоял возле кровати, опираясь о стену рукояткой, ждал своего часа и, к счастью, не дождался. Потом Гилель достал где-то (купил? выменял?) арабский весомый кинжал, шабарию, с инкрустированной ручкой и украшенными сложным узором ножнами. «Пусть будет», — деловито объяснил он Года. Это все было до Эль Аламейна, а потом он не отменил всего этого, «украшения жилья», по его словам. «Ведь не мешает, правда, Года? Так спокойнее».

Во время шивы по Гилелю бабу Году посетил неожиданный гость. Министр по делам религий, стройный невысокий сефард-ортодокс, пришел к Года выразить соболезнование после смерти Гилеля. Фрида, сидя на диванной подушке, брошенной на ковер, наблюдала за всем со стороны, сидя подле бабки и зорко следя за ее настроением и выражением лица. Она держала в ладони бабкин амулет и незаметно и медленно потирала его пальцами.

— Ваш Гилель, госпожа Года, — произнес в затихшей комнате министр, похожий на дорожную фаянсовую статуэтку, — был для меня, для всей нашей семьи, ангелом-спасителем. Нас двенадцать детей было в семье, отец больной, мать уборщица. Он каждую неделю в четверг вечером привозил к нам домой большую коробку с продуктами, чтобы мы поели. Каждую неделю, годами. Он нас спасал, буквально. Чтобы вы знали, госпожа Года, Гилель Калев был святым человеком. Потом он оплачивал мое и моего брата образование, все делал без помпы, без шума. Мы молились на него, госпожа Года.

— Я не знала ничего, он мне не говорил, — растерянно призналась Года, поправляя тонкую цепочку на шее, подарок все того же Гилеля на шестидесятилетие.

Этого человека, поднявшегося в политике так высоко, и явно достойного и благодарного человека, было почему-то Фриде слушать неловко. Неизвестно почему. Наверное, потому что он говорил о Гилеле Калеве правду, вслух и при посторонних, после ухода того навсегда, безоговорочно и безоглядно. На самом деле непонятно, почему Фрида так думала. Вот Гилель, худой энергичный человек, иногда веселый, пунктуальный, аккуратный, ее родной дед, казался ей вечным и неизменным, как бурого цвета прочнейший буфет, сработанный замотанным столяром из Гедеры полвека назад из дубовых неподъемных досок, в их с Годой гостиной. Ну, что говорить? Конечно, Гилель был кристальный человек. Он ушел, как будто его и не было. Так и должно быть, подумала Фрида. Она тоже, конечно, была не самая мудрая женщина, очень многого понять не могла, но заметим, что в ней присутствовало чувство справедливости и правды, и, что главное, закрома памяти. Иногда это ей мешало.

Баба Года всегда и часто говорила, что память о чем-либо и о людях тоже, живет три поколения.

— А с 1 мая сорок второго года в Эрец Исраэль было прекращено производство мороженого. Англичане экономили сахар и запретили есть мороженое населению. «Затянем пояс», — писали газеты, — надо идти в ногу со временем, граждане, 400 тонн сахара экономии». Люди перестали есть мороженое, Года обожала шоколадное мороженое, но не расстраивалась, знак времени, конечно. Только в феврале сорок пятого мороженое вернулось в ишув. Тогда раздали тысячу порций мороженого бесплатно в детские сады Кфар-Сабы и окрестностей. В Иерусалиме тоже радовались этому, война шла на убыль в Европе, русские гнали немца безостановочно, второй фронт поджигал с запада, Гитлер закрылся в бункере, возвращение мороженого было знаком времени.

В пятьдесят третьем, перед самым Песахом, к нам в больницу привезли двадцатипятилетнего майора с тяжелым ранением. Волосы золотые, глаза ласковые, лихие, сложен как Аполлон, руки длинные, чуткие. Девчонки из других отделений прибегали посмотреть, повздыхать. Старик лично приходил проведать, он очень ценил этого парня. Раненый быстро поправлялся. Это был Красавец, тот самый, который теперь вон какой боров. Разъелся, возраст, генетика, переживания. Конечно, оторва мужик, делает, что хочет, но есть у него масштаб, лихость, отчаянность. Жестокий. Щедрый. Не знаю, как у него с мудростью, взглядом в будущее. Он самонадеян, никого не жалеет, и себя тоже, много чего может наумудрить и наумудрит еще. Вот помяни мое слово, Фридошка, он наумудрит. Отчаянный упрямец. Интуиция меня не подводит.

К нему парни из части его приходили, их было у него человек 30-40 в отряде, не больше, мы от них по стенкам шарахались, пове-ришь. Веселые, вкрадчивые, отчаянные, откуда он их взял только. Я таких только в американских детективах и видела в молодости. Бандиты с большой дороги, один ушастый был, из Иерусалима, самый страшный, голос трубный, руки-лопаты. Они шороху здесь нагнали, эти парни Красавца, девочка. Мстители, ох! Но так было нужно, наверное, мы же не все знаем, правда. Соседи наши разбойные их боялись очень. Про семью Красавца я говорить ничего не буду, это не наше дело, не мое, во всяком случае. И ты не говори, это препоследнее дело, сплетни собирать, поняла?! Скажи, что поняла меня?

— Поняла, бабуля, конечно, — сказала Фрида, — я запоминаю, ты говори, говори.

— Когда твой отец, девочка, женился, я отправила Гилеля просить реб Шлейме Залмана, был такой великий праведник, чтобы он обвенчал мальчика и твою маму, мы были с ним одно время соседями. Тот святой железный человек согласился и обвенчал нашего Моисея. Никаких денег не взял, и слышать не хотел. Твоя мать до сих пор говорит, что благословение этого человека не дало им развестись, она знает наверняка. Я в это верю очень. Устала, да, девочка? Я сегодня разговорилась что-то, прости меня.

Все эти истории баба Года рассказывала любимой внучке не за один раз. К счастью, рассказы ее растянулись на несколько чудесных дней и даже недель. Отец Фриды затеял перестраивать квартиру и переехал на время к матери, которая осталась одна после смерти Гилеля. Тот шел по улице Шлом Цион вниз, упал возле входа в бакалейную лавку сразу за магазином цветов одной шикарной «русской» специалистки навзничь поперек тротуара и все, волосок его жизни порвался, он перестал жить.

В Эрец Израель тысячами ехали в те годы евреи из разваливавшегося СССР, Красавец тогда был министром по делам ново-прибывших или что-то в этом роде, он пытался их расселить, строил, шумел, доставал деньги, намерения его были наилучшие. Ему нравилось, что его называли бульдозером. Недруги величали Красавца носорогом. Ему было все равно. «Называйте как хотите, хе-хе, только не мешайте», — сверкая глазами, говорил он, могучий, приткий, тучный, сидевший на двух стульях, упрямец. Вот и договорился.

Если честно, то своей профессиональной карьерой Берта была обязана профессору с кафедры истории, который ей благоволил. Она была очень способная, хваткая, работающая, ко всему, абсолютная память, но профессор ей все-таки помог очень. Он был из знаменитой иерусалимской семьи, брат генерала. Профессор властвовал в университете, любил студенток и других дам, которые его тоже жаловали. Берту он заметил еще на первом курсе, она была беременна, тяжело и быстро передвигалась, училась отлично, старалась. Беременность была ей к лицу, хотя казалось, куда еще хорошесть этой деревенской веснушчатой глазастой девице. Профессор хвалил курсовые работы Берты, иногда гладил ее шею и плечи, но не более того. Берта, лукавая королевская бестия, улыбалась. Она его боялась, ценила, но что-то в нем было от первого парня на деревне, это Берте мешало. Он рекомендовал ее на службу в «Мемориал», выделил стипендию из специального фонда, отправлял ее в американские и европейские командировки. А что еще надо от старика, а?

Муж Берты Зеев ревновал жену очень. Он догадывался, что не все так просто с этим «дрожащим стариканом», как он называл профессора. Говорил, что «если бы этот твой фаворит не был бы таким стариком, то надо было бы подъехать на кафедру и оторвать ему рукава пиджака. Имей в виду, Бертуля, что все под богом ходим, доберусь до него, даром, что он старый и ветхий, разберемся». Она улыбалась, крутила указательным пальцем у виска и со словами «дурак ты, Зеев, дурак», уходила, счастливо хохоча, кормить второго их младенца, рыдавшего в голос от голода или еще от чего, кто их знает, этих детей? Никто.

Но так муж Берты до профессора и не добрался. Если бы он увидел профессора хоть раз, то так бы не говорил. Профессор выглядел в свои 72 года просто невероятно. Он был поджар и собран.

Импозантен. Запечатлен фотографом, легко и небрежно облокачивающимся о факультетский каменный забор, одетый в белую рубашу без ворота со свободными рукавами ниже локтя. Похож на крапивца-любовника из голливудского послевоенного фильма. Законченный циничный атеист, каким, по его мнению, и должен был быть настоящий ученый.

Лицо у него было смуглое, правильное, волосы редкие, в изящной руке небрежно покоились солнечные очки последней модели, очень дорогие, популярные у молодежи. Взгляд блестящий, проникающий насквозь, молодой, видно было, что это опытный сильный человек, повелитель женщин. Выглядел он лет на сорок шесть максимум, возможно, сорок семь. С ним явно нужно было всем держать ухо востро. Всем без исключения. Хотя, если честно, то против Зеева он бы, конечно, не потянул. Достаточно было взглянуть на руки этого двадцатипятилетнего собранного парня, похожие на стальные домкраты.

У профессора был грех на душе, и не один, с которым он жил уже десяток лет и никак не мог освободиться. Не станем углубляться в чужие грехи здесь, но грех этот изредка напоминал ему о себе и очень мешал его существованию. Профессор был похож на жителя побережья, который получил академическую степень, выбился на самый верх карьеры и все равно оставался опереточным героем, несмотря на все старания. Это мешало и Берте, которая все ждала, что вот-вот он запоет, пританцовывая в башмаках со стальными набойками, сольную песенку из бродвейского мюзикла, хотя он был молчалив и выдержан, если честно.

Так называемая перестройка, а потом и развал СССР, вызвали поток иудеев и близких к ним людей в Эрец Исраэль. Социалисты разыграли с новоприбывшими так называемую «русскую карту» перед выборами безупречно. Хотя борьба была серьезной, не на жизнь, а, что называется, на живот. Никто из прибывших сюда жить ничего не знал и не понимал в этой маленькой и очень сложно устроенной политической иерархии, левые великолепно победили на выборах. Использовали ситуацию в свою пользу. Все получилось как нельзя лучше, ловко и почти без скандалов. Правые во главе с маленьким упрямым (все они здесь упрямые, обратили внимание?) лидером проиграли после тринадцати лет правления власть, и социалисты с восторгом ухватились за нее двумя руками. Чтобы они были здоровы, нахватали полные руки власти. Но проклинать их нельзя ни в коем случае, так просто люди наверх в Эрец Исраэль не взбираются, есть воля божья на все, zapominaй, птичка моя.

Только не сплетничай, девочка, это неверно, неправильно, грех это, Фрида. Запомни. Не для нас занятие. Ты поняла? Запомни, девочка, zapominaй. Мы же тогда думали, что вот кто-то немцам даст отпор, надает по морде. Время шло и шло. В тридцать де-

вятом году на поляков надеялись, но где там... Это я потом поняла, что только мы сами можем себя защитить, только мы сами и никто другой. Никто нам не поможет, только мы сами. И старик это знал, и Красавец.

Берта благодаря своему несчастному отцу это тоже знала, хотя он ей ничего не объяснял. Она не задумывалась на эту тему, ей было не до этого, она была стихийной сторонницей фундаментализма, если только так можно назвать красивую девушку, очень красивую девушку. Красавец ей нравился, казался небожителем, уверенным повелителем подземного царства Аида и рек этого царства. Ему было невозможно противиться и возражать. Но здесь ее мысли о войне и мире, о свете и тьме заканчивались, не имея продолжения. Она была простая, самостоятельная девушка из южного поселка неподалеку от Газы. Очень привлекательная. До призыва в армию они всей семьей переехали жить в столицу. Отец заработал большую сумму на строительстве оборонительной линии Бар Лева на нашей стороне канала. Пахал на своем тракторе по восемнадцать часов в сутки, заработал, вот они и уехали жить в Иерусалим, единый и неделимый. Потом эта оборонительная линия была признана генералами (Красавец был среди них не на главных ролях, конечно) мало эффективной. Но это было уже потом, после той войны. Перед неожиданной сменой власти.

У Берты был одноклассник, который погиб в Ливане, она его хорошо помнила. Парень этот, ничем другим кроме своей смерти не запомнившийся, жил возле итальянской синагоги в самом центре города, и она быстрым пугливым шагом прошла мимо входа в нее, отделанного лигурийским мрамором, и зашла в невзрачный подъезд с наклеенным белым в черной рамке извещением о смерти юноши Бен Хорина. Лифта здесь не было, как почему-то и света. Только беда. Семья этого парня жила на четвертом этаже. Фрида поднялась к ним, задыхаясь от волнения и подъема, торопливо наступая на ступени. Ей было двадцать лет. Дверь в их квартиру была приоткрыта, и она зашла.

Баба Года рассказала Фриде, как они с Гилелем решили пойти в Старый город на четвертый день после большой короткой войны, помолиться у Стены. Народ валил валом со всего Израиля, поглядеть, прикоснуться к камням, поплакать, помолиться. Попросить чего-нибудь.

— Я говорю Гилелю, давай сходим помолимся, вся страна уже была там, народ не мог поверить и просто задыхался от победы, от свободы, от любви. Никто не злорадствовал, не насмехался. А напрасно. Этого вот у нас евреев не хватает, злорадства, все оглядываемся, плохо торжествуем. Смеяться любим, а издеваться нет, если говорить коротко. Даян этот зашел в правительство за день до войны. Он, конечно, все чувствовал, лукавый был, а не лукавый бы и не выдержал всего этого. Только лукавый упрямец. Молодые ба-

бы устраивали демонстрации в Тель-Авиве за неделю до войны, требуя возвращения одноглазого в правительство. «Мы почувствуем себя в безопасности с нашим Даяном», — было написано на транспаранте. Бабы были привлекательные, в мини юбках, холечные, просто с рекламы прилетели. Вся слава за победу в конце концов ему досталась, как же, министр обороны, а это было не справедливо. А были и другие ведь, не слабее, не глупее и точно не хуже его. Вот так эта жизнь устроена, девочка моя. Главное победа, а не справедливость, запомни, Фрейда.

Мы пошли с Гилелем 14 июня утром в Старый город. Пока я его уговорила, давай сходим, ты что, Гиля?! Сколько ждали. Он поворачал-поворчал и согласился, в конце концов. Радость какая, а! Мы спустились по Навиим, повернули направо, дошли до Яффских ворот и вошли. Народу была тьма, все оживленные, веселые, счастливые даже. В Армянском квартале выпили отличного кофе в лавке, съели баклаву. На стене висела большая черно-белая фотография нашего Даяна Мошика с нарумяненными щеками. Торговцы жили в ногу со временем, что справедливо. Денег хозяин не хотел брать ни за что. Гилель положил на прилавок купюру в 5 лир, и мы пошли дальше. Хозяин хорошо говорил на иврите, армяне вообще очень способные, чтоб ты знала, девочка. На нас похожи, натерпелись, только вера у них другая, а так, просто копия... Я не уверена, что говорю тебе чистую правду, что я такая умная, но ты все равно запомни. Хорошо? Мы помолились с Гилелем у Стены. С трудом добрались до нее, столько людей. Знакомых мы не встретили там, хотя народу была тьма. Было какое-то приподнятое настроение у меня, счастье в чистом виде. Как будто груз с меня свалился, так я себя чувствовала.

Хочу тебе еще рассказать про каббалистов, ты должна знать. Был такой раввин Фтайя, жил напротив рынка, если через Яффо в сторону Геулы идти. Иракский праведник. Он разослал своих людей молиться на могилы святых по всей Палестине, чтобы отвели напасть от народа Израилева. А сам, так рассказывают, пошел молиться на Масличную гору на могилу великого Хайма бен Атар или Ор а-Хаим, жившего здесь 250 лет назад. Могила Ор а-Хаима закрашена синей краской, это, говорят, от злых сил, но точнее не знаю, не дано. Кто я такая, скажи?

Так вот, реб Фтая и еще другие люди с ним читали Теилим (Псалмы Давида) за благополучие народа, реб Фтая поднял голову от молитвенника и увидел на памятнике четыре горящие буквы, обозначающие имя Творца. Тогда реб Фтайя сказал всем окружающим: «Все, уходим, дети, Он нас услышал». На другой день Ромель был разгромлен со всем своим жутким войском. Вот так Фрейдл, вот так. Иерусалимские будни, столичные великие старики. Мне рассказывали обо всем этом осведомленные люди, которым я верю больше, чем себе, ты поняла меня, девочка?

У бабы Годы была масса знакомых в столице и по всей стране. Всех она помнила, обо всех говорила только хорошее, такая у нее была жизненная установка, «только хорошее, а плохое и без меня скажут, верно, Фрейда? Призрак Деборы меня не преследует, никогда не преследовал, девочка». Фрида не все понимала из ее слов.

Берта никогда никаких русских не встречала и ничего о них не знала, и мнения о них особого у нее не было. Она знала двух-трех тихих женщин из «Мемориала», но они не пересекались на этой работе и мало разговаривали. У мужа был помощник, репатриант из Воронежа. Иногда Мирон брал его с собой в помощь в период больших заказов и запарки. Этот человек лет сорока пяти, инженер-конструктор из города Красноярска, звонил им домой и высоким звонким голосом выкрикивал одну фразу, которая стала в семье ходовой: «Мирон, бабайта?».

Однажды профессор, заведовавший академическими фондами и крутивший с ними какие-то дела, организовал ей поездку в Париж. Нужно было переписать оставшиеся от иудеев предметы иудаики, святое дело. Нет?!

Берта прилетела в июне, в городе было душно, чудесно, одиноко, никто ее не ждал (а должны были?), жила она в общежитии Парижского университета, где получила небольшую конструктивно обставленную комнату. Стол для занятий, встроенный в стену шкафа, кровать и туалет с душем. Все просто, элегантно и достаточно удобно.

В Сорбонне, в библиотеке в холодном и солнечном зале Святого Иакова с мерно гудящим кондиционером, она познакомилась с парижанкой по имени Лида, которая жила здесь уже семь лет. Она была очень милой, приехала из Ленинграда, у нее были муж и ребенок четырнадцати лет. Говорила Лида по-французски легко и быстро, будто родилась здесь. Французский у нее был действительно родной, родители бежали от немцев из Франции в сороковом году, добрались до СССР... Дальше все более или менее понятно, нет?! Они умудрились пережить все почти тридцать с чем-то советских лет без особых потерь и выбрались в Париж после визита президента де Голля в Москву и его личной просьбы генсеку о помощи. «Огромная благодарность вашему народу и вам лично за все хорошее, только помогите нашим коммунистам вернуться домой после столь долгого и счастливого пребывания на вашей щедрой русской земле».

— Ты шутишь, конечно, Лида? — Берта все-таки была очень далека от реалий большой политики. Где Москва, а где де Голль и городок Берты на берегу Средиземного моря возле сектора Газа, а?

— Ты что, какие шутки! Такими вещами не шутят, судьба бесценна, и возврата нет в дорогах жизни, — с неожиданным для нее пафосом произнесла Лида, склонная к иронии и сарказму. Она все-

таким образом выросла в городе «над вольной Невой» со всеми вытекающими отсюда неожиданными и самыми фантастическими результатами и разнообразными влияниями на характер и поведение.

Мать Лиды, оказывается, написала волевому и рослому маршалу в Париж перед его визитом в Россию, и тот письмо получил, как это ни странно, и прочел, что еще более странно. И генсек компартии СССР, добродушный, с известными оговорками, сентиментальный, без оговорок, гулкий дядька растрогался и сказал гостю: «Ну, конечно, мой дорогой, коммунисты — братья по оружию, ну, конечно, о чем речь, что вы говорите...». Кажется, он даже всплакнул, но референты вовремя прикрыли кормильца широкими спинами во французских пиджаках. А ведь что, и главное, как говорят недруги о нас, а?! С легким шелестом рухнул картонный домик сумрачной советской действительности, который строили беглые русские мемуаристы и просто скептически настроенные беллетристы последние лет 35-37, прошедшие после Второй мировой войны. Не лейте воду на мельницу Холодной войны, господа-граждане, в своих грязных помойках, меньше лгите в своих «Континентах», «Свободах» и «Гранях». Просто хорошо запомните, что мы — гуманисты, каких нет нигде. Да, к сожалению, здесь забыта ежедневная газета «Русская мысль», исправляем пробел...

Когда маршал, находившийся уже не у дел, скоропостижно скончался от разрыва сердца, советский генсек и советский премьер, никого не предупреждая, приехали во французское посольство в Москве и отдали должное его памяти. Два пожилых джентльмена с темными мешками под славянскими глазами постояли с мрачными одутловатыми лицами в молчании пару минут в скорбной позе, глядя на портрет маршала, перевязанный черной лентой, потом простились и уехали. Посольские были потрясены. И не только они. Уважают в России отважных и непреклонных генералов.

По слухам, когда через много лет в иерусалимской больнице умер Красавец после длительного пребывания в коме, русские руководители в Москве тоже сильно скорбели. Хотя они и были людьми другого поколения, другой школы, представляли другую русскую власть, но все равно скорбели, и не просто по традиции.

Лиде Берта понравилась, она была с нею откровенна, как могут быть откровенны женщины. Иначе говоря, откровенность с оговорками и с известной оглядкой неизвестно на что, на что-то злое и пугающее, что есть почти за каждым человеком вообще, и в частности, за человеком, выбравшимся из наглухо закрытой жуткой страны. Это потом почти все изменилось с выездом и приездом граждан, а тогда, в то самое не так уж и далекое время, все было именно так.

«История с нашим отъездом после разрешения все равно заняла несколько лет, я выходила замуж, надо было оформить документы на выезд мужа и другие дела. Но я вспоминаю Ленинград очень

хорошо, что ты! Замечательная страна, только с некоторыми непреодолимыми недостатками, если ты понимаешь, о чем я говорю», — сообщала Берте Лида в кафе без занавесок, проглядываемое с улицы насквозь, в котором они пили вино, совсем неплохое красное урожая прошлого года, и закусывали чем бог послал, тот послал им совсем неплохо, не будем распространяться об этой его посылке излишне. Но поверьте на слово, неплохо.

Берта, сильно расслабившись от вина и внимательных, заинтересованных взглядов мужчин всех возрастов, рассказала вкратце на этой же легкой волне Лиде про своего отца и его историю. Добавила, что ее несчастный родитель считает Красную армию организацией почти священной, Лида поглядывала на нее без изумления. «Я понимаю, — сказала Берта, — что в это трудно поверить, но это так. А вообще, отец мой человек старомодный, тяжелый, упрямый, но интересный и ни от кого не зависящий. Любит бокс и бои без правил».

— Главное, не надо идеализировать ту страну, и никакую другую тоже, не сходить с ума по идее, — выразительно глядя на Берту, значительным голосом выговорила Лида. А Берта, что называется, вообще не поняла, о чем речь, потому что она была, как говорят, не в теме. — Ты петь любишь? — спросила Лида.

— Очень.

— Я так и подумала, — ничего не объясняя, сказала Лида и засмеялась почему-то. Муж ее работал в нефтедобывающей фирме и был в отъезде. Быстро сдавшие после переезда в Париж родители жили неподалеку, она к ним забегала пару раз в неделю. Четырнадцатилетний сын, молчаливый, неловкий скуластый (в кого, а?) мальчик, настойчиво учился, был много занят в школе и после нее, и приходил домой поужинать и заснуть. Его было не видно и не слышно. Лида целовала его на ночь. Они не разговаривали много.

— А переезжай ко мне, а?! Все веселей, что тебе в общезитии валандаться, а, Берта?

Берта на секунду застыла с узкой двузубчатой вилкой в руке у рта. На вилку был наколот кусок замечательного пирожного с кисло-сладкой начинкой малинового цвета. Она посмотрела на радостно улыбающуюся ей Лиду и сказала после некоторой паузы: «С удовольствием».

— Будем петь на досуге, — сказала Лида, — мы с тобой споемся обязательно.

Они действительно, как это ни странно, прекрасно ладили. Абсолютно понимали друг друга. Их судьбы и жизнь были совершенно разными, и тем не менее... Они сходили в кино и посмотрели фильм Каннского фестиваля «Страх и любовь». У Берты не было неизгладимого однозначного впечатления, а Лида восхищенно сказала, что очень интересно и самобытно. «Умело и красиво», — она хорошо понимала этот киноязык, разбиралась в нем почти профес-

сионально, изучала это искусство в Ленинграде более двадцати лет назад. Ленинград вообще дал ей многое, заметим. У нее было два советских образования, и оба хороших. Берта была далека от этого всего физически, и от Ленинграда тоже, конечно. Но она чувствовала уровень, что ли. И красоту. И гармонию. Все это было врожденным у Берты, откуда и что, неизвестно. Просто было. Люди часто удивляют нас своими поступками и намерениями. А про женщин и говорить нечего: загадочны, непонятны, таинственны и необъяснимы. Все без исключения.

Берта регистрировала предметы, хранившиеся в глубоких каменных подвалах главного университетского здания. Все было классифицировано и аккуратно описано профессиональным искусствоведом. Берте оставалось только переписать все и удостовериться в том, что предметы именно те, о которых идет речь. Все сходилось на удивление, все сохранено в полном порядке, только хозяйева ушли куда-то. А так все в порядке.

После кино женщины пошли в кафе возле дома и поели салатики, чудесный с твердой коркой хлеб со сливочным маслом, мягкий сыр и кофе. Аппетит у них был всегда(?) отличный, возраст позволял, Лида много спрашивала и рассказывала кое-что.

— Сюда эмигрировали кое-какие важные для меня персонажи из моего города, из моей юности, многих я люблю, это очень помогает, у нас, можно сказать, компания, география их проживания в Ленинграде достаточно широка, от Литейного до Лиговки и Герцена, от Автово до Большого проспекта, от Дачного до Невского, и так далее — это все места в городе, понимаешь Берта?! — вопрос Лиды был риторический. Берта кивала как кукла. Она все-таки хотела уточнить.

— А там что, невозможно было оставаться? Надо было уезжать, да?

Лида поглядела на нее своими несколько раскосыми, почти азиатскими глазами с большим интересом, как бы знакомясь с Бертой заново. Она не улыбалась, выглядела очень серьезно.

— Оставим этот разговор. Думаю, что тебе трудно так сразу понять. Нет, оставаться было невозможно, как только появилась возможность, кто мог уехал, а кто не мог — ждал этой возможности. Не переживай, потом все поймешь, это занимает время, — объяснила Лида. Она была очень осторожна в объяснении и словах, обходя непредвиденные препятствия, как это делает умудренная жизнью в неосвоенной людьми округе (тайга, непроходимые болота, пустыня, мошара, испепеляющее солнце, невыносимые морозы, дикие звери с двойными рядами страшных зубов) женщина.

Берта, которая тоже кое-что знала о существовании и преградах, смутилась так сильно, как может смущаться человек, запутавшийся в жизни и попавший в безвыходное положение. Она не понимала объяснений Лиды, это было много значительнее ее созна-

ния, она стыдилась этого. Ей казалось, что происходящее сейчас в России меняет действительность в этой стране и оставляет надежду на оптимизм и даже радость. Ну, конечно, о чем речь. О-хо-хо.

В неделю раз в квартире Лиды убиралась женщина, эмигрировавшая из Польши. Возможно, эта средних лет энергичная дама с выпуклыми местами на обширном теле, бежала из польской страны, Берта не уточняла. Она не лезла в чужие дела, они были от нее далеко. Это уже можно было понять по ее предыдущей жизни, да и по будущей жизни тоже.

Лида оставляла уборщице ключи под ковриком у входной двери, а также деньги за работу на столе. Вечером Лида возвращалась с работы и получала начищенный, красивый дом. До ухода на работу Лида приводила в порядок гостиную и спальню, делая это автоматически, потому что перед приходом людей квартира должна быть прибрана, разве нет? Такая у нее была женская натура, с резкими гранями, отшлифованными в Советской России. После ухода Лиды на работу минут через двадцать появлялась Алисия, так звали уборщицу. Она переобувалась в тапки, надевала халат, осторожными движениями рук красила свои значительные губы лилово-красной помадой, подозрительно всматриваясь в освещенное зеркало в ванной комнате и произнося в полголоса короткую фразу-благословение, принималась за работу нежными польскими руками.

Внезапно Лида взяла десять дней отпуска за свой счет.

— Берта, не беспокойся, мне предложили поработать переводчиком с советской делегацией, они приехали из Союза, торгуют рыбными продуктами и консервами, дальневосточники. Французы с ума сходят по Москве с ее рыбной продукцией, как ты знаешь, дорогая. Ты знаешь об этом?

— О чем? — поинтересовалась Берта.

— О том, что французы помешаны на СССР, на красных винах, на маринованных овощах, на морепродуктах и красных флагах, — сообщила быстрым голосом Лида. Она много знала о многом, но глубиной эти знания, как показалось Берте, не отличались. Берте это было не так важно, она и сама была не бог весть как богата знаниями.

— Я догадываюсь об этом, я не маленькая, вообще, — обиженно сказала Берта. Они обе выпили немного вина и сидели за круглым столом с большим салатом в салатнице, на которые Лида была великой мастерицей. На этот раз салат был с вареной курицей, беседа — легкой и ни к чему не обязывающей. Берте это нравилось.

— Их четверо, советских людей из Петропавловска, три женщины и мужчина, главный технолог огромного рыбозавода. В России всегда была гигантомания, все должно быть самое-самое, самое пре самое, понимаешь?! Живут здесь неподалеку от меня в гостинице с тремя звездами, в двух номерах, привезли рюкзаки со свои-

ми консервами, потрясающими. Ничего не понимают абсолютно. Настолько не понимают, что я иногда думаю об их иной профессии, клянусь. А что, вполне может быть. — Лида задумалась, прикусила губу и продолжила:

— Меня просят переводить их требования люди, с которыми они ведут переговоры. В общем, мне это нравится, я защищаю их интересы заодно.

Эта не самая простая женщина вдруг продемонстрировала неожиданные теплоту и нежность в голосе, во время рассказа о загадочных дальневосточных гостях. Полные губы Лиды размыкались и смыкались в улыбке. Она щурила свои карие глаза со скользящей лукавинкой, выпуская крепкий дым сигареты с черным табаком без фильтра, вытянутой из синей пачки «житана».

— Ну, и подзаработать неплохо, правда, — она засмеялась хрипловато, откинувшись на спинку стула сильной спиной, смешно вздернула подбородок и неожиданно вытянув чуть оплывшие, прекрасной лепки длинные руки перед собой, сладко потянулась. — Мне часто кажется, что я уже прежде жила, и именно в тех местах, где живу сейчас, и делала тоже самое. С тобой, Берта, такое случается?

Берта пожала плечами, что не знает. Может быть, да, а может быть, и нет. «Я не знаю».

Все-таки Лида было много старше Берты и прожила совершенно другую жизнь и совсем в другом месте. То, что происходило в это время в России, тем не менее, стало полной неожиданностью и для нее, умной, циничной, скептической, пережившей очень многое в этой стране. «Не думай, Бертуля, — говорила она, выпив лишний бокал вина за ужином, — этот весь разгул пройдет, но когда и какие будут результаты у всего этого шумного маскарада, я могу только предположить...»

В квартире у Лиды на стенах висели картины, их было четыре. Сама Лида сказала ей, что «это работы моих знакомых, куплены еще в Ленинграде. Я привезла их с собой. Тебе нравится? Или как?!». Одна картина демонстрировала барак на конце заросшего бурьяном пустыря, с сине-зеленой радужной лужей у входа и газетой, расстеленной на грязном пне. Было отчетливо видно название газеты «Труд» и граненый стакан с остатками крепленого вина, по всей вероятности, бессмертного и обожаемого многими «Солнцедара».

Берта все-таки была поклонницей других художественных школ, но глядя сквозь сигаретный дым на Лидино уверенное лицо с пшеничного цвета челкой, падающей на глаза, она кивнула, что нравится. «Особенно эта», — она показала указательным пальцем на картину с баракком и пустырем за правым плечом Лиды. «Да, понимаешь», — похвалила Лида уважительно и запила похвалу большим глотком. Берта сделала то же самое и с не меньшим удовольствием.

— Я пессимистична, скажу тебе, ничего хорошего не получится там, но ты меня не слушай. Все эти игры с перестройкой, у России

есть лет десять-пятнадцать, ты знаешь, Берта, что такое перестройка? Слышала о ней в своем средиземноморском захолустье?

Напомним, что еще были две разные Германии, еще советские войска не выведены были из Афганистана, хотя уже восемнадцатилетний немецкий пацан посадил на Красной площади легкий самолет, пролетев все непроходимые границы и непреодолимые преграды. Звонок прозвучал, и колокол одиноко тренькнул, как бы набирая силы перед могучим звоном.

Конечно, Берта слышала о неожиданном политическом процессе в СССР. Удивлялась вместе со всеми. Зеев даже подарил ей футболку с надписью на груди «Горби forever». Она прекрасно знала, кто такой этот таинственный Горби. Правда, майку Берта все-таки не носила, так как ей не нравилась расцветка, и вообще, что она девочка, что ли? Кто это такой, не знаю, это не моя сфера интересов. А на самом деле она счастливая карьеристка, обожаемая красотка, мать прекрасного ребенка и еще одного не хуже первого. Вы что?! Берта не обижалась на Лиду, их отношения были соответствующими, хотя чем-то они нравились друг дружке, какое-то родство душ наблюдалось. Предположим, что это было хорошо скрытое безумие. Только предположим.

По утрам в пятницу «русский» сосед Мирона Игорь со второго этажа, выгуляв своего Рэкса и накормив, напоив, заперев его в квартире, стучал в дверь на первом этаже. «Ну что, пошли?», — говорил он Мирону в том тоне, которому никак нельзя отказать. И почему, скажите, надо отказывать такому человеку? По пятницам Фрида обычно работала с утра в университете, и Мирон маялся дома один. «Уже сейчас», — нервно отвечал он, хватал байковую куртку с капюшоном и надписью «Реал» на груди, дело было осенью, и они ехали на 4-м автобусе с остановкой напротив гостиницы в центр. Три остановки и все. Могли и пешком, конечно, но душа горела у Игоря, что Мирон понимал хорошо. У него и у самого душа болела, саднила, хотя и не так интенсивно, как у этого собачника из России, из таинственного города Липецк, признаем.

Выйдя из автобуса, они быстрой увлеченной походкой, не спотыкаясь, шли на перпендикулярную улицу за углом напротив Машбира и после пересечения метров 20-25-ти асфальтового тротуара и булыжной мостовой заходили в только что приветливо открывшую свои двери не то забегаловку не то ресторацию, большое гулкое помещение с высокими потолками, как в каком-нибудь Нью-Йорке или Сан-Франциско, с ограниченным, надо сказать, набором блюд и напитков. Ограниченным, но прекрасным. Они были первыми посетителями в пятницу и уходили обычно последними, таково было их предназначение. Им были рады.

Официантка Надюша приблизилась к ним с утренней улыбкой, очень красивой ее такое понятное юное лицо дочери хорошего знакомого Игоря, приехавшего из Москвы в Иерусалим

жить лет десять назад с сумкой, в которой лежали его философские труды. Многочисленные. Знакомый Игоря был также с семьей, в которой главным человеком была и осталась десятилетняя тогда Надюша.

Они уютно уселись неподалеку от стойки и вдали от сверкающих чистотой окон. У окон и Игорь, и Мирон сидеть не желали, Иерусалим город небольшой, много знакомых, часть которых была в данной ситуации явно лишней. Мы об этом, кажется, уже писали прежде.

Надюша принесла им две стройные литровые (проверено, литровые) кружки, наполненные свежим светлым пивом. За стойкой парень в черной рубаше, поставив крупные, только что испеченные крепкие бублики на попа и придерживая пальцами левой руки, осторожно и быстро разрезал их острейшим хлебным ножом-пилой. Он сложил елочкой части бубликов в хлебницу, присоединил на подносе тарелочки с мягким и твердым сырами, сливочным желтейшим маслом, соленьями и овощами, и сказал Надюше бодрым голосом: «Бери и неси». В спину ей он добавил слово «дорогая», мол, я с тобой. — «А кто тебя приглашал в компанию, прохвост?» — бегло подумал Игорь, обладавший идеальным слухом, даже слышавший писк голодных крысят в пустом пространстве домашней стены, томившихся в ожидании заботливо-нежной мамы-крысы размером с хорошего кота. «У них тоже есть душа и есть мама, у всех есть мама», — объяснял Игорь про крыс после четвертой выпитой кружки.

К двум часам этого пятничного дня Мирон и Игорь были категорически нетрезвы, но вели себя тихо. Вокруг сидели за столами часто сменяемые люди, только они оставались на месте, только Надюша носила им все новые кружки с пивом и новые распластанные бублики с маслом и сыром. Игорь еще щедро посыпал сыр черным перцем, объясняя, что «для крепости». Мирона это не интересовало вообще, он с удовольствием пьянел. Игорь с самого утра объяснял ему устройство Советского государства, ярым противником которого он был. «У них все против жизни людей, все против удобства существования, псы, весь мир против нас, Отечество нам Царское село, понимаешь, Мирон?». Он двигал своей кружкой и сталкивал ее с кружкой Мирона, тот не отставал от Игоря, к большому удивлению диссидента. «А здесь у нас средиземноморский безоговорочный рай, наивность и поиски мира, слава Эрец Израель, слава!», — провозглашал он. И Мирон повторял за ним, как заведенный: «Слава, слава, слава!».

В ноябре темнеет в Иерусалиме рано и быстро. После двух часов заведение начинало пустеть, Надюша и еще одна такая же, как она, из obsługi, начали быстро протирать влажными тряпками столы, но никто Мирону и Игорю ничего не говорил и даже не намекал, что «мол, хватит, господа, пора и честь знать».

Неожиданно широко распахнулась входная дверь — на улице, оказывается, за эти часы начался косой, довольно сильный и нудный дождь — зашли два человека. «Ба, — воскликнул Игорь, — неужели наш человек пришел, наша скромная сионистская надежда, наш кандидат, наш будущий мэр». Он поднял руку в приветствии и помахал ею: «давайте сюда». Игорь начал звать Надюшу, чтобы та принесла пивка дорогому гостю. Кандидат в мэры Иерусалима, а это был он, подошел к ним, пожал руки по очереди, но от пива довольно резко отказался. «В другой раз, извините меня, господа», — сказал он, приложив руку к груди и обращаясь к Игорю, который был старше и выглядел солиднее, чем Мирон. Второй был темнوليц, с седой прядью в коротких волосах, рассмотреть его подробно было сложно. Никто и не рассматривал.

Кандидат в мэры был моложав, одет без щегольства, но дорого, что не всегда совпадает, как известно. На нем была чудная курточка, похожая на те, которые носят выпускники летных школ ЦАХАЛа, рубашка с длинными рукавами была застегнута до последней пуговицы, он был худ и спортивен, лицо со впалыми щеками походило на волчье, узкий лоб, глаза выглядели какими-то загнанными, что было жалко. Он представлял еще недавно правящую в стране партию ревизионистов, по идее он должен был победить старого толстого мэра, бывалого и ушлого человека, время которого, по мнению советников кандидата, ушло в прошлое.

— Надеемся на вас, — сказал ему Игорь, — голосуем двумя руками, вы — наша надежда, вы должны победить.

Мирон кивал в знак согласия с теплыми пожеланиями, он уже был хорош, хотя держался прямо. В туалет он не ходил с утра, держался. Игорь посетил туалет дважды. Все это не значило ничего.

Игоря, повидавшего многое в жизни, несколько насторожило напряжение, изуродовавшее и так не слишком милое лицо кандидата, но он решительно отогнал от себя крамолу. Кандидат перекинулся парой слов с хозяином, барменом и официантками, все они были за него, если верить их словам. Голос у него был низкий, красивый. Он пожал всем руки и двинул к выходу. «Давай хоть я сделаю тебе бублик с маслицем и сырком, если пить не хочешь. Смотри, какой ты тощий, так и ноги можно протянуть, не успев достичь высот», — на этих словах Игоря Надюша громко расхохоталась, не выдержав всего балагана, кандидат в панике рванулся к выходу. «И помни, только победа, дорогой мой, только ревизионизм спасет нас», — сказал Игорь кандидату вслед. Перед ним уже распахивал двери второй мужчина с темным, разбойничьим и неподвижным лицом. Имя его не сохранилось в памяти. Впрочем, как и имя кандидата. Память устроена очень избирательно.

Иврит у Игоря был правильный, акцент выдавал его происхождение, а не ошибки. «Вот так, Мирон, брат мой, мы победим их», — Игорь положил на стол две сотенные и одну пятидесятишекелевую

купюру, Мирон добавил свою сотню, и они ушли. Надюша хотела вернуть им зелененького цвета в 50 шекелей ассигнацию: «Это много, не надо столько, что вы», — но Мирон уверенно сказал ей: «Это все тебе, девочка, ты — наше все». Надюша покраснела. «Скажи папе, чтобы написал обо мне стихотворение, дорогая, без иронии пусть, имя мое Игорь, он знает», — легко выразился Игорь. Тем временем Мирон зашел в туалет, вышел из него помолодевшим и присоединился к Игорю, который ждал его на улице, стоя под козырьком над входом. Он был мокрым от дождя, в прекрасном настроении, и мурлыкал «Йершалаим шель захав», почти не нарушая мелодии. Мостовая была черной и блестящей от дождя, редкие прохожие бежали вниз в сторону Яффо. Они повернули направо. Домой Игорь и Мирон поехали на такси, в которое сели прямо на углу «Кинг Джордж».

Ехали минут семь. Движение в городе затихало. Даже у самого популярного места в центре под названием «На моем углу» народ уже не толпился. В этом небольшом месте хозяин ходил между столиками и повторял посетителям: «Не жевать, не жевать, господа, только глотать, снаружи много желающих голодают». Впрочем, говорилось все это с известным добродушием и даже юмором, хотя какой там юмор, скажите?! Подавали там гороховый суп, хумус с жареным фаршем и соления с половиной луковицы. На столе стоял местный аналог зеленой аджики в его курдском варианте, потрясающий. Да что говорить, сходите сами туда и убедитесь. Это против «Машбира», чуть ниже на другой стороне «Кинг Джордж» на светофоре по правую руку, если ехать в сторону Яффо.

Игорь, живший активной социальной жизнью в столице, знавший всех и знакомый почти (почти — потому что все тайны города знать невозможно никому, как известно) со всеми городскими тайнами, разговорился с патлатым шофером, бывшим взрывным форвардом местной футбольной команды. «Как же не узнать, когда ты — вингер «Бейтара», вы — наше черно-желтое все, я, между прочим, член ЦК партии Ликуд, Бегин — наш рулевой, а я поклонник Ури и Эли», — воскликнул Игорь, которого алкоголь расслаблял и делал плохо управляемым подростком переходного возраста.

Присутствовавшие в автомобиле не все понимали в его речах, о многом догадывались. Шофер, закончивший с футболом лет десять назад, поскуцнел, услышав имена кумиров своего пассажира, имела место ревность. Шофер был своим футбольным уровнем ниже, чем вышеназванные. Игорь отдал шоферу 50 шекелей, легко сказав: «Сдачи не надо, брат, шабат тебе шалом». Бумажник он не глядя, после больших усилий, сунул в карман пиджака. Закрывая дверцу машины, Игорь спросил у водителя: «А знаешь, как отчество Бегина? Вижу, что не знаешь. А отчество его Вольфович, Менахем Вольфович Бегин из Брест-Литовска, вот». Оставил за собой последнее слово, и очень довольный пошел, почти не качаясь, к дому, все-

таким выпито было немало в этот день. Дома он еще добавлял слегка и шел спать в одиночестве, такой вот советско-еврейский организм был у Игоря, известного сиониста-ревизиониста.

Через двадцать с чем-то лет после этого дня Мирон иногда говорил Игорю, встречая его в саду с новым псом, который тоже был золотистой масти лабрадором, которого тоже звали Рэксом, как того прежнего и любимого, и который тоже припадал на задние лапы, беда этих животных. «А помнишь, как мы жали руки кандидату в мэры, помнишь, как я хотел ему налить, как хотел его накормить, помнишь, как мы, два дурака пара, говорили ему, что он наша надежда, наше все, помнишь?» — спрашивал Мирон. Игорь отворачивался и кивал ему, что помнит, и недовольно бормотал себе под нос: «Ну, бывает всякое в жизни, даже мы можем ошибиться». Хехе. А кто из нас не ошибался, не делал этого с известным удовольствием, а?! Скажите. Игорь никогда своих ошибок не признавал, не был готов к этому. Его право, нет? Очень сильный запах свежескошенной травы в окружающих садовых участках сопровождал жизнь Мирона и Игоря большую часть года.

Кандидат, ставший тогда новым мэром, за эти годы проделал большой путь, сменив свои политические пути не дважды и не трижды, и даже отсидев срок в тюрьме совсем не за политику. Хотя мог бы, по мнению того же Игоря, по совокупности поступков оттянуть и за политику тоже. Никому не желаем тюрьмы и сумы, так, отмечаем факты. По пятницам они больше на пиво не ездили, многое изменилось. Фрида уехала в Америку, наверное, поближе к тому ее герою Джону, к кому же еще. Джон теннис уже оставил по возрасту и поскучнел, хотя взрывы его характера не исчезли никуда. Фрида стала там профессором, от Мирона ушла. В Америке замуж она, кажется, не вышла, но Игорь не знал о ее жизни ничего, так как был человеком тактичным и ничего у Мирона не спрашивал. А тот, закрытый, одинокий человек ничего и не рассказывал, чего душу терять.

В один из вечеров вся дальневосточная русская делегация по рыбе и консервам из них, все четыре человека вместе, пришли к Лиде вечером на ужин. Их пребывание в Париже подходило к концу. Лида расстаралась, приготовила роскошную еду, весь стол был заставлен блюдами, вином и литровой бутылкой замечательного дублинского виски «Jameson» божественного медово-орехового лесного духа и цвета. Всего лишь каких-то 40 градусов крепости, а объясните. Про водку тоже не объяснить, она другая и не хуже. Берта, конечно, тоже была приглашена, она уже неплохо ориентировалась и понимала, кто за кого.

Главным блюдом у Лиды был, конечно, луковый суп, который понравился всем. Сергей Петрович под виски и успокоительный поток женских слов со всех сторон съел три порции. «Что же в нем у вас такого особенного, кроме лука, Лиды?» — спросил он у хозяйки. «Вместо куриного бульона я варила его на супе из моз-

говых костей и в конце готовки кроме вина доливала грамм 70 водки, рассказываю вам, как дорогим гостям, секрет большой важности», — призналась Лида. «Одобряю, верный подход», — очень серьезно сказала женщина Сергея Петровича. Остальные закивали в знак согласия.

Все гости были средних лет. Женщины были среднего роста, казались тяжеловатыми, поначалу очень стеснялись, но это быстро прошло. Мужчина был невысок, широк, лицо обветренное, морщинистое, смышленное, собранное. На нем был хороший костюм и лакированные концертные башмаки. Берту поразили его руки, которые высовывались из рукавов пиджака и которые он безуспешно пытался спрятать. Когда мужчина подал Берте свою руку во время приветствия, оказалась, что ладонь его является полной копией кисти дражайшего мясника Нисима из лавки «Нисим Счастье мое (Нисим Ошри), лучшее мясо столицы» неподалеку от их дома в Иерусалиме. Левая рука Нисима была в металлической перчатке, сделанной из мелких никелированных колечек, такая прочная кольчужка, защищавшая кисть от ударов блестящего тесака, которым он рубил туши. Вот такая же, как бы металлическая рука, была и у Сергея Петровича, технолога рыбозавода.

Лиде гости принесли оренбургский платок в подарок. Его передала хозяйке уютная женщина, «наш главбух Раечка, Раиса Геннадиевна», представил ее Сергей Петрович. Платок был завернут в бумагу с непонятной фиолетовой надписью наискосок «Изделие номер 3», пакет был перевязан бумажной бечевкой крест на крест. Лида, развязав, раскрыв и посмотрев содержимое, положила сверток с платком на телевизионный столик. Все сели за стол.

Берта понимала лишь малую часть разговоров за столом, звук которых нарастал и нарастал. Ей все нравилось поначалу, она крутила головой в разные стороны, улыбалась, передавала тарелки, а потом она стала уставать. Сергей Петрович подливал и подливал ей вина, с такими дозами она не справлялась. Отца ее и Зеева здесь не было, отстаивать ее было некому. Сам технолог не очень пьянел, хотя виски пил на зависть многим профессионалам. Берта обратила внимание, что за Сергея Петровича у женщин было некое соревнование. Кажется, в нем, в этом соревновании, по очкам, но уверенно побеждала Раечка. Две другие дамы явно проигрывали в борьбе за любовь этого бывалого, если судить по внешнему виду, например, по рукам и морщинам, немолодого человека.

— Часто улыбаетесь, Берта, это очень хорошо. Девушки, вы мешаете, можете не петь пять минут? — резко попросил он бодрых женщин за столом, которые уже зарядили «Не сыпь мне соль на рану». Дамы испуганно споткнулись на словах «не говори навзрыд». «Хочу с вами поговорить, Берта, можно?» — осторожно спросил ее Сергей Петрович. Не дожидаясь ответа, он пересел к ней вместе со стулом, скрипнув ножками его по деревянному по-

лу, взяв заодно со стола бутылку. Остальные гости были заняты беседой, хотя Раечка поглядывала на них внимательно и часто.

Она не поняла смысла его фраз и попросила Лиду помочь. «Не справляюсь, тут какие-то сложные придаточные предложения, мне нужен только смысл», — сказала Берта Лиде через стол. Лида была безотказным человеком, это было ее главным человеческим качеством. Сергей Петрович осторожно мял корявыми, плохо гнущимися рыбацкими пальцами сигарету, не сминая ее, а глядя, как глядят женщину.

Послушав короткую речь его, Лида посидела минуту неподвижно, еще одну, не глядя ни на кого, они все не смотрели друг на друга, и после этого рассказала: «Жизнь удивляет. Но если коротко, то у этого человека есть больной сын, ничего ему не помогает, он угасает там. Единственный ребенок. За него молятся во многих скитах России. Сергей узнал, что ты из Иерусалима, он просит тебя сходить к вашим тамошним святым рабинам, как он их называет, и попросить у них помолиться за его Юрочку. Ну, просто по дружбе, он никого там не знает, тебя ему бог послал, говорит. Юрия Сергеевича маму звать Тося, Анастасия, он все выяснил, что надо. На вас, на Иерусалим, говорит, вся надежда. Даст тебе много денег за услугу, все, что у него есть, он надеется на тебя, Берта».

Пару раз Сергей Петрович рано утром звонил Лиде и умолял страшным рыбацким голосом, глухим тусклым шепотком: «Пришлю сейчас Раису, дай ей пару сигареток твоих, одна надежда на тебя, умираю я».

Через пять минут раздавался звонок, и Лида бежала к дверям, держа в руках початую пачку «житана», оставшуюся со вчера, и литровую банку пугающе мутного рассола, огурцы она солила сама, настаивая их по ленинградскому рецепту своей тещи, усиленному кайенскими перчиками, сельдереем и еще чем-то таинственным из душистой лавки марокканца напротив их парадной. Рая, одетая в шелковое вечернее платье, втискивала ей в руки вместо сигарет 250-граммовую банку красной икры, русской безотказной валюты: «Так Сергей сказал, и не думай отказываться». Лида отвечала ей: «Вы меня за кого держите, безумцы?» — но Раиса Геннадиевна уже катилась по лестнице вниз в своем алом платье, в своих красных сапожках на каблуках, которые не очень подходили для июньского Парижа. Да плевать мне на вас на всех с вашим Парижем. А Сереженьке нужно поправиться после вчерашнего, что важнее, скажите, а!.

Берта сидела прямо, скрывая удивление. Она была хороша собой, на щеках румянец, губы в очень алой помаде «номер 16» от Анны Паломы Пикассо (да-да, дочь того самого левого гения), в то время очень популярной, удивленно разлеплены, зеленые глаза таинственны, она была прелестна, как всегда. Как будто Берта каждый день выслушивала подобные просьбы. Она вспомнила, что отец иногда говорил о своих отношениях с творцом. Слова его были

нерадостными и горькими. И вообще, она была вне всех этих отношений, она была даже не из атеистов. Она была простым человеком, насколько такая может быть простой. К тому же иногда она бывала вульгарной, что делало ее только привлекательней. Сергей Петрович сидел напротив нее и в ожидании смотрел в пол, огромная печаль мешала ему жить, это было видно. Лида крутила дымящуюся сигарету в руке, рассматривая огонь в ней. Раиса Геннадиевна молчала по другую сторону стола. Вообще, все проходило в полной тишине почему-то.

После этого случая отец Берты неподвижно сидел на сквозняке в гостиной, повернувшись лицом к стене, никто к нему не подходил, боялись его. Двухлетний внук, начинавший учиться говорить, приковылял к нему, шлепая босыми ногами по каменной плитке, и протянул двухцветный пластиковый грузовик: «На, дед, возьми, играй, не сиди», — казалось, говорил он, названный в честь пропавшего в никуда дядьки. Отец скосил на него глаза, взял игрушку и сказал ребенку: «Давай мальчик, иди к маме теперь». Ребенок покачался, ища равновесие, потом развернулся и пошел к матери в недоумении. Никто не знал, как успокоить отца Берты, никто этого просто не мог сделать. Он иногда только беззвучно говорил, глядя перед собой: «Что же ты наделал, а? Почему? И, в конце концов, за что?». Но это были вопросы без ответов, и к кому он обращался, было хотя и очевидно, но все-таки не озвучено им никогда.

Берта, уроженка поселка городского типа, самодостаточная современная длинноногая женщина, некоронованная королева Иерусалима конца 80-тых, любившая яркую одежду, на прочной талии широкие ремни с заклепками, жившая с надеждой на скорый мир во всем мире, с профессией в руках, взрывная эгоистка, с любящим мужем и детьми, красавица, скромница, умница, задумчивая отличница, обожаемая мужчинами всех возрастов, вздохнула и взвешивая, и экономя слова, как истинная крестьянская дочь, серьезно сказала, Лида переводила Сергею слово в слово:

— Я вас понимаю, Сергей. Пытаюсь вас понять. Я очень хотела бы вам помочь, попытаюсь это сделать, но мне надо выяснить кое-что, ладно? Денег не надо, я не нуждаюсь, почту за честь. Это милое, доброе дело, по-нашему. Есть некоторые нюансы, вот их я выясню и скажу вам окончательно. Понимаете меня, Сергей?

Отчество Петрович ей было выговорить трудно. Это был вторник. В среду Берта пообещала Сергею Петровичу дать ответ. Он кивнул ей, хотел что-то сказать, но передумал и махнул рукой в воздухе перед собой. «Чего там, понял вас прекрасно, дождусь вас, Берта», — Сергей Петрович отвернулся от нее, еще раз рассмотрев эту прекрасную женщину в подробностях. «С этой иерусалимской еврейкой надо быть осторожней, но мне-то что теперь, все уже сказано», — неожиданно сделал вывод Сергей Петрович, непонятно почему. Чему-то он напугался в движениях и словах этой молодой

женщины, но отступать было поздно. Он очень надеялся на нее и ее помощь почему-то. «Мы здесь все закончили в Париже, через два дня возвращаемся, очень надеюсь на вас», — сказал Сергей Петрович. От ее облика могла закружиться голова, она и кружилась у этого человека.

Славный пейзаж за открытым окном Лидиной гостиной вдруг закрасился косыми струями сильного дождя. Вечерний дождь в летнем Париже, что может быть лучше и красивее. Разом зажегся свет в домах через дорогу, шофера включили фары, звук проезжавших внизу машин стал влажным и мягким, вечерний час в полную силу в полном разгаре. Этот дождь и вечер внезапно вселили в Берту полновесное и поглощающее ощущение покоя.

Когда гости ушли, недолго прощаясь и с удивлением поглядывая на Берту, женщины еще посидели за столом, попили от своих испачканных помадой бокалов, поклевали без особого аппетита, и Лида сказала: «Тут за углом есть бар, там во втором зальчике хозяева устраивают танцы. Аккордеон, гитара, скрипка, барабан, кажется, не помню, но очень все мило, давай пойдем, чего дома сидеть, время детское... по быстрому, давай, на раз-два»... И начала собираться. «Любишь танцы? Что я спрашиваю, конечно, любишь, Берта, обожаешь, давай, мать, нас ждет танго», — часть слов Лида произносила по-русски, как бы теряя реальность. Она ловко наносила краски на свое лицо с увядшей кожей и темными пятнами под глазами. Но шея у нее была молодой, бархатно-кремовой, и радовала глаз стороннего наблюдателя. Она не уставала никогда, эта Лида, видно, сказывались молодые годы, которые прошли вдалеке от Парижа в шадящем балтийском климате и не требовали от нее, возможно, особой затраты энергии.

Женщины вышли на улицу и легким шагом за три минуты под зонтиком, которым, как фокусник, ловко щелкнула Лида над их головами, дошли до того бара. Берта не производила впечатления провинциалки, совсем нет. Людей в баре было много, все сгрудилось у стойки, чему-то смеялись, разговаривали, курили, не жадно выпивали, жевали, ровный неразличимый гул стоял под низким потолком. Лида кивнула и улыбнулась небритому бармену в безрукавке, который был похож на расслабленного доцента с кафедры алгебры. Он с довольной улыбкой поглядывал на толпящихся вокруг людей, как бы в уме пересчитывая будущий доход.

В танцзале было мало света, кроме музыкантов находилось еще пять-шесть пар и еще кое-кто, всего человек 17-18, не больше. К Лиде и Берте сразу подошел из угла кудрявый белолицый юноша, похожий на молодого Ромео из двадцатилетней давности чудного фильма по пьесе Шекспира, написанной о любви в Вероне лет 400 назад, но все равно потрясающей и пронзительной.

Берта, уж на что уверенная в себе, наглая деревенская девка, как она называла себя сама, и та растерялась от вида этого патла-

того парня в синей рубаше, бордовом галстуке и с такими васильковыми глазами, что смотреть на него почему-то больше мгновения было просто невозможно.

Он был хрупок и как-то узок, но движения ног и бедер его в танце были мощны, ладонь на Бертиной спине горяча и сильна, а прямой взгляд василькового цвета глаз был неотступен и сокрушителен. Запах его юношеского тела был головокружителен, ох, глаза у нее закрывались от нестерпимого счастья. Берта-Берта, что будет с тобой, а?!

— Ой, я это танго знаю, слова помню с детства, — воскликнула Лида, стоя подле Берты в клубах серого сигаретного дыма. Она легко спела, ничуть не фальшивя, никого, не стесняясь: «В шумном городе мы встретились с тобой, до утра не уходили мы домой...».

Напомню, что все это происходило в то благословенное время, в тот шумный год, когда повсюду можно было курить, зажигая сигареты одна от другой, когда все только начиналось или заканчивалось, смотря как посмотреть. Через два месяца прошла Олимпиада в Сеуле со скандальным канадским бегуном на короткие дистанции, русской интернациональной баскетбольной командой, порвавшей вопреки прогнозам американцев и повторившими этот золотой триумф русскими футболистами. И сибирский борец Карелин расправлялся со всеми, как с куклами, на тренировке.

Дождь все не прекращался, было тепло. По полутемной улице, отклоняясь от деревьев, растущих в тротуаре, бежал человек в трусах и майке, с поясом на животе. Лицо у него было напряжено, челюсти сжаты, он был мокрым до последней нитки. Берта удивилась этому зрелищу: «Вот ведь какие люди есть в Париже», — подумала она. — «Куда они бегут ночью?» — интересовало Берту. Лида совершенно не обратила внимания на этого мужчину, она была беспричинно весела. Впрочем, причина почти на все всегда есть.

Возвращались женщины вдвоем, стряхнув настойчивых кавалеров, Лида наобещала своему седовласому красавцу с три короба любви, «но послезавтра, милый, сегодня никак». А Берта, более прямолинейная, пересилив себя и свои желания, шепнула своему васильковому Ромео, что «давай потом, мой мальчик, меня дите дома ждет, не кормленное». Тогда он, пылающий, нагнул голову и поцеловал ее в грудь, больно прикусив сосок. Берта, у нее подкосились ноги, чуть не рухнула на черный от дождя тротуар перед входом в бар, где происходило прощание, но Бог ее хранил... Или нет, неизвестно.

Лида не комментировала этот вечер никак. Она немного устала. А Берта шла легко, будто бы получила заряд новых сил от своего василькового кавалера. Еще бы!

Лида хотела рассказывать свои странные истории, к которым Берта относилась очень по-разному. В этих историях было много

непонятных слов. Лида просто была просветительницей, несла искры правды и истины в незрелые умы своей собеседницы.

— Ты говоришь СССР, Берта. А ты знаешь, что во время и после революции семнадцатого года из России ушло в эмиграцию около десяти миллионов человек, знаешь? Или про революцию ты тоже не знаешь?! Так! По порядку. Париж, Турция, Америка, Южная Америка, Китай — люди неслись куда угодно, только бы подальше от коммунистов. В России царствовали коммунисты. В сорок шестом году генсек и первый человек в СССР Сталин решил вернуть Бунина на родину, любой ценой. Он был широкий человек, товарищ Сталин. Ты, конечно, знаешь, кто такой Сталин, Берта? Не пугай меня. Я так и знала. Ты, счастливая женщина, Бертуля. Про Бунина не спрашиваю, что нам... Скажу только, что это первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе, он был эмигрант из России, ненавидел большевиков, аристократ, поэт, коммунистов презирал, евреев прятал во время германской оккупации... очень бедствовал после и во время войны. И тут в сорок шестом году приезжает в Париж советский поэт Симонов, который написал «Жди меня», знаешь, конечно, вместе с женой, молодой актрисой Вaley, ездит на паккарде, каждый день обеды, ужины, приемы, Бунин, живущий в бедности, все время приглашается с женой в советское посольство. Бунин был за Советский Союз во время войны с фашистами: эти убийцы, злодеи, а эти свои, разбившие злодеев, понимаешь, Берта?

Это Берта понимала, она сама была за Советский Союз, про нацистов и Холокост она учила в школе и изредка слышала проклятия отца в сторону Германии.

— Ну вот. Из Москвы пригнали спецрейсом самолет с русскими яствами, какие только есть на свете. Прилетел, по слухам, с продуктами, и официант из «Праги», есть такой ресторан в Москве, для обслуживания по-русски. Ты все понимаешь, Берта, или все-таки есть еще вопросы? — Лида была деловита, у нее был диплом педагога, полученный в Ленинграде.

Уже почти пришли. Остановились у парадной. У Берты не выходил из головы тот мужчина, который бежал под дождем по бульвару. Куда и откуда он мог бежать ночью?

— Так вот Бунин, — сказала Лида. — Ну, я тебе говорила, русский писатель, лауреат, Сталин хотел его вернуть в СССР, помнишь, Берта?! Я говорила.

Берта ничего не помнила, не знала. Какое! Она была все-таки непривычна к таким эмоциональным нагрузкам. В школе они учили историю Холокоста, историю создания своего небольшого государства и прочее. Но про Бунина они не учили. Мать ее вообще ничего знать не хотела, только детей родить, накормить и обстригать, отец тоже. Он только слушал каждый час новости, приложив к уху транзисторный приемник, и два раза в год ходил молиться. В синагоге про Бунина ничего не говорили. Берта провела левой рукой по

мокрому лицу сверху вниз, встряхнула кисть и сказала Лиде: «Конечно, помню, я все помню, Иван Алексеевич Бунин, надменный и благородный русский аристократ».

— Поэт, Берта, поэт, — поучительным тоном произнесла Лида. Было два часа ночи, чудесной парижской ночи. На дальнем углу ссорились под теряющим силу дождем две рослые шлюхи, одетые в шорты и майки, мелодично обзывая друг друга ругательствами одного из воинственных ливийских племен, кажется, амахагов. Берберов, иначе говоря.

Женщины поднялись в квартиру с некоторым усилием, наблюдался перебор с расходом энергии в этот день. Они сели на кухне за стол, Лида включила чайник со словами: «Срочно нужен крепкий чай». Берта от избытка событий этого дня и вечера, не чувствовала спины. Она сжала кулаки и сделала ими несколько круговых движений, напоминающих разминку боксеров. «Знаешь, Берта, что такое чифирь?», — спросила Лида, разливая чай по кружкам. Сахара они обе себе не клали, не надо им сахара, и так все сахарно в жизни, разве нет? Берта, конечно, не знала, что такое чифирь, но все сразу поняла. Она здорово соображала эта, хуторянка. Чифирь очень подошел. После того доели остатки лукового супа, Берта сказала «Ура тебе!» в отношении супа, Лида была очень довольна такой реакцией ее.

— Я хочу досказать про Бунина. Помнишь, кто это? Ну, конечно, помнишь. Так вот, такая легенда. Был решающий ужин у посла Богомолова в посольстве. Август сорок шестого. Бунин сидел за столом напротив Симонова с женой, которую звали Валя, необычайной красавицей, кинозвездой. Он наливал ему одну за другой, говорил тосты, за Красную армию, победительницу фашистского зверя, за русский народ, за русскую литературу, за первого русского лауреата Нобелевской премии, и так далее. Советское правительство приглашает вас, Иван Алексеевич, возвратиться на родину, как это сделали прежде такие гиганты пера как Горький, Куприн, Алексей Толстой, вам гарантируются издание собрания сочинений, тиражи, квартира, дача и прочее, что можно только представить, вы наша гордость, величайший писатель, гордость земли русской, Иван Алексеевич, Россия ждет вас, дорогой, — Лида сделала паузу в своем рассказе перед финальной частью его. Она отпила чайку и собралась с силами. Она почему-то считала свой рассказ очень важным для Берты, да и для себя. Вот так она решила, хотела показать себя, наверное, продемонстрировать свое отношение к этому миру.

— Все время монолога Симонова, красноречивого и многообещающего писателя, жена советского писателя, сидя подле него, отрицательно мотала головой, поджимала губы, показывая, что нет, нет, нет, ни в коем случае, Иван Алексеевич, не соглашайтесь, вас обманывают, ну, и так далее. Ей было двадцать шесть лет, девочка, красавица, актриса, карьеристка, конечно, и вот на тебе. Когда Си-

монов вернулся в Москву, он разошелся с нею. Говорят, очень любил ее. Валю эту лишили по возвращении ролей в кино, из театра она ушла, сильно пила, умерла в одиночестве. Надо выпить за эту Валю, за ее судьбу, давай, Берта, давай, — женщины чокнулись кружками с недопитым чифирем и отпили по большому глотку.

На улице прекратился дождь, на кухне было свежо и прохладно. Вместе с дождем куда-то ушли шумы, сопровождавшие его. «Все кончилось, надо уезжать уже, сколько можно», — подумала Берта не настойчиво. «Я хочу позвонить в Иерусалим мужу, попросить его кое о чем, только я хочу заплатить за звонок, Лида», — сказала Берта. Было 3 часа 20 минут утра. Самое время для звонков на дальние расстояния. Лида посмотрела на нее возмущенно: «Ты что, девка, совсем обалдела, что за мысли», — говорило ее лицо.

Сейчас в Иерусалиме 2 часа 20 минут утра, подходит для разговора с мужем. Берта соскучилась по этому человеку, по его рукам, по его телу, по его запаху, признавала это в себе, удивляясь. Лида, еще раз отмахнувшись гибкой рукой от намерений Берты — «за кого ты меня принимаешь, мать» — поднялась и принесла из гостиной телефон на проводе, установив его с некоторым шумом на столе перед Бертой.

Сама Лида облокотилась о подоконник и стала смотреть на дерево у дома с мокрой шумящей на порывах ветра листвой, на мокрые крыши автомобилей, припаркованных у дома. Патрульная полицейская машина стояла на углу, перед моргающим светофором, заехав на тротуар правыми колесами. Кажется, ажаны отдыхали или ждали с поличным преступников, которых все не было. За перекрестком виден был тупик с воспаленным в угольной тьме желтым фонарем. Никаких шлюх, никаких ссор, никаких правонарушений, очень тихо. Мокрый прошедший день и не менее мокрая черная ночь ничего хорошего не обещали. Лида догадывалась, о чем Берта хочет говорить с мужем.

Берта набрала номер и Зеев ответил сразу, как будто сидел у телефона и ждал звонка. Наверное, так и было на самом деле. А что?! 2 часа 20 минут утра. Муж не удивился звонку в такое время, он привык к ней, ждал от нее любого поступка.

— Сходи на улицу Иса Браха, там в шхунат (квартале) а-Бухарим, где твой отец жил, помнишь, мальчик мой, там живет цадик Ицхак (Кадури), к нему очередь увидишь сразу, и спроси у него то, что я тебе сейчас скажу. Давай быстро, потому что чужой номер, неловко время тянуть. Я прилетаю через три дня, соскучилась, как дети-то? — о детях она помнила, но спросить удалось о них только в конце разговора.

— Все в порядке, девочка моя. Дети и я очень ждем тебя, надоело одиночество всем, вообще, все сделаю сразу, все выясню, позвони вечером, целую тебя всю, — сказал ей муж. Теща, сестра и наемная женщина помогали ему с детьми все это время.

— Очень кстати ты меня целуешь, я тоже тебя целую изо всей силы, — Берта повесила трубку, поставила отточие до завтрашнего ответа. Она выдохнула — «кажется, все сделала, нет?» — поглядела на наручные часы, которые он подарил ей на пятую годовщину свадьбы. «Две минуты говорила, а кажется, что час. Но хоть не ввела Лиду в расходы», — подумала она, очень довольная разговором и возбужденная им. Ее телефонный разговор с мужем не походил на дуэль. Она подумала об этом, между прочим, с каким-то необъяснимым удовольствием.

Лида обернулась к ней от окна. Не было ей покоя, а ведь возраст уже поджигает. Или 37 это ничего? Или все только начинается? Неизвестно, но чувство справедливости, учительское желание научить всех, бешеная энергия этой женщины были неукротимы.

— Ты скажи мне, Берта, неужели ты всю жизнь хочешь заниматься переписью ржавых подсвечников, семисвечников и тому подобного, неужели? Я не лезу в твою жизнь, но все-таки, а, — голос у Лиды был усталый, силы у нее кончались, но она звучала заинтересованно.

— Не вижу в своей жизни ничего, что хотела бы изменить. Но мы потом поговорим с тобой, хорошо? — спросила Берта. Она вдруг захотела спать. События этого дня превосходили ее силы и возможности в несколько раз.

— Про Бунина еще помнишь? Кто он и что с ним стало? — Лида уже поднялась на ноги и, облакачиваясь о стол двумя руками, ждала ответа.

Берта отвечала ей тезисами, как на уроке в американском колледже, она тоже была не лыком шита:

— Русский поэт, лауреат, эмигрант, аристократ. Иван Бунин, жил в Париже. Сталин хотел его вернуть в СССР после войны, ему обещали золотые горы, всенародную любовь, молоденькая жена Симонова Валя на ужине показывала Бунину, чтобы он этого не делал ни в коем случае. Он поехал тогда в Москву?

— Нет, конечно, он не был дураком, этот Бунин. Вернувшись в Москву из Парижа, Симонов разошелся с Валей, она спилась и умерла, потеряв все.

— Какой ужас, — сказала Берта. Ей действительно стало грустно, она переживала за судьбу этой неизвестной ей смелой, несчастной и отчаянной женщины. — Наверное, она своего любила, да, Лида? Как ты думаешь?

— Я не знаю, но думаю, что она его обожала, — элемент трагизма стоял за всеми историями Лиды всегда. Это шло у нее еще из Ленинграда, из той литературной традиции. — Он был элегантен, усат, богат и по-своему талантлив. Не без недостатков, но без недостатков людей нет, ты это знаешь Берта.

На следующий день вечером Берта созвонилась с Зевом, и он все ей сказал: «Был у рэб Ицхака, долго ждал, десятки людей его

ждут. Пробился, наконец. Он сказал, что можно, благословение будет сказано им, имя мамы нужно. Ты говоришь, Тося, Анастасия, да? Юрий бен Тося, правильно, понял тебя. Иду ему сказать. Очень жду тебя, приезжай уже», — сказал Зеев громко, почти крича от возбуждения.

Затем они с Лидой сходили в темноте под фонарями в гостиницу к русской делегации, и Берта все рассказала совершенно трезвому Сергей Петровичу. «Будет благословение вашему Юре», — сказала она. Говорили они вполголоса, мужчина не хотел никого ни во что посвящать. Он был благодарен Берте и попытался дать ей увесистый клубок ассигнаций, свернутый колесом и обвязанный аптекарской резинкой. Берта очень испугалась, и деньги не взяла со словами: «Вы что, Сергей, за такое деньги не берут». Лида переводила не без испуга. «Его благословение, этого рэб Ицхака (Кадури), очень сильное. Ему больше 90 лет, кажется». Тогда ему больше 90 лет было, отметим.

Сергей удивился ее поведению и ее словам, вернул деньги в карман, встал перед Бертой на колени и со словами: «Не забуду тебя, матушка, никогда, вечное тебе спасибо», — поцеловал ей руку. Берта руку отдернуть не успела, от такого как Сергей Петрович руки убрать не успеть никому, и наверное, никогда не дано. Раиса Геннадиевна смотрела на происходящее пытливым и завистливым взглядом брошенной любви. Две другие дамочки отвернулись: «Петрович наш совсем рехнулся с сынком своим, бедный».

Музей Феликса Нуссбаума стоит в Оснабрюке до сих пор на том же месте: улица Лоттер, 2. Берта там больше не была никогда. Лиду она также больше не встречала. С Фридой они пересеклись как-то, но подробностей об этой встрече нет, женщины очень сложные, их внутренняя жизнь загадочна. Непостижима.

Раввин Ицхак Кадури, уроженец славного города Багдада, который к семнадцати годам знал весь Талмуд наизусть, прожил на свете 110 лет и умер в Иерусалиме. Некоторые источники утверждают, что Кадури прожил 112 лет. Никто не спорит по этому вопросу. Его похоронили на кладбище в Гиват Шаул, если при въезде в Иерусалим, то на светофоре перед Садами Сахарова справа. Да вы знаете, конечно.

Берта ничего не помнит об истории с благословением Юры. Прошло много лет, и часть тех событий как бы осталась в неких закромах памяти. Только иногда, услышав имя Юра, она вздрагивает, взгляд ее оживает, и улыбка прозрения озаряет ее все еще прекрасное лицо с зелеными, совершенно не постаревшими глазами.



Віталій БОРИСПОЛЕЦЬ

/ Київ /

* * *

Темрява
поглинає слабодухих

Людей світла — не здолати

Ми виживемо
завдяки променям
внутрішніх сонячних ліхтариків
які освітлюють довкілля
нашими душами

* * *

Не важливо
ти кращий чи гірший
перемагають
справжні

* * *

Лишився час
який ще не розтратив
але чого він вартий
якщо назавжди втратив мить

* * *

Кожен з нас
і Бог
і диявол
і Вічність
і тимчасовість

і Світло
і темрява
і Геній
і нікчема

Бо кожен з нас
уміє мріяти
і лишатися тим
ким є насправді

* * *

Мої невблаганні сльози
змішувались з краплями дощу
і падали на твої
усміхнені вуста

а ти
здивовано вдивлялася у далечінь
і не розуміла
чому у Неба солоний присмак

* * *

Не намагайся
щось прочитати в очах того
хто навіть у суцільній темряві
відводить погляд

* * *

Зірки
спалахують лише тоді
коли падають

люди
влаштовані інакше —
в намаганні палахкотіти
вони жевріють
аж доки не упадуть

* * *

Вечоріє
така краса
уже не бачиш
бруду на асфальті
і себе

* * *

Грішні люди
блукають святими місцями

та річ не в тім що грішні

а втім
що святими місцями
можна хіба що блукати

* * *

Знесилений
добіг до урвища
намагався стрибнути

але побачив
як з неба падає зоря

зупинився

як легко було
летіти потім у незвіданність

* * *

Боїмося
потрапити на безлюдний острів

МИ

господарі
давно вже знелюднілих континентів

* * *

Неприємно
якщо тобі дихають у спину
в той час
коли біжиш навмання
тікаючи від себе

* * *

Бог —
це твоє власне відображення
у викривленому дзеркалі протиріч
між розумом і душею

але за умови
якщо хоча би щось з цього
ти маєш
не у податково обкладений
власності

* * *

Навіщо худнути

засохла квітка
не чарує духмяністю
і не вабить
соковитими пелюстками

* * *

Твої ревнощі безпідставні
друже

жінка —
це витвір мистецтва
яке належить всім

* * *

Чи шукає сенс
заради якого варто померти
людина
хвора на невиліковну хворобу

* * *

Не радій дарунку
допоки не дізнаєшся
від кого отримав

зміст
не має сенсу
без історії

* * *

Зовні
все як завжди —
приємна посмішка
проникливі очі

ніхто і не здогадується
що усередині
завершується бальзамування
померлої душі

* * *

Відчай —
це коли
ставиш безглузкого смайлика
позаду
останнього слова
вимовити яке не стало сил

* * *

Зустрів
щасливу людину

ніяково посміхнувся
і пішов далі

бідолашна

певно вона нічого не знає
про день
який хижим звіром
завжди наздоганяє цей

* * *

Злидні —
це коли
на твоїх очах палають
мільйони сподівань
що їх ховав у скрині
своїї душі

щастя —
це коли останню надію
щиро кидаєш
у капелюх
зневіреного злидаря

* * *

Важко щось знайти
коли небосхил захопила

суцільна пільма
хіба що
власну душу

* * *

Тону

звідусіль простягнуті руки

чи допоможуть

шукаю бодай чиїсь
рятивні очі

* * *

Твій погляд
крізь мене
нагадає індіанську стрілу
яка нізащо не схибить
і влучить в ціль
за моєю спиною

туди
де лишилось найдорожче —
моє щасливе минуле

* * *

Ще вчора
мріяв про завтра

та сьогодні
все розклало по полицям

на одній з них
тепер лежить
моє розтерзане
неопізнане тіло

* * *

Олександру Спренцісу

Жити довго —
це не про нас
ми
налаштовані на вічність

* * *

Навіщо
увесь час кудись бігти
намагаючись
випередити життя

достатньо
випити повінь
з долонь коханої
і летіти до мрій дитинства

бо життя
закінчується там
де й почалося
колись давно
із-за необачності часу

* * *

Від споконвічності світанку
до невблаганності суцільної імли
лишився
лише крок
і лише подих

перший —
прискорить неминуче падіння
другий —
уповільнить рух повітря
аби усі твої мрії
наче збиті з крила янгола
невагомі пір'їнки
супроводжували твій останній політ
до прірви

* * *

Між світлом і темрявою
застигла твоя тінь
і це єдине
на що ти здатен
чоловіче

* * *

Живемо
розмножуємося
помираєм

комахи
такі ж самі
але ще й мають крила

* * *

Я — вірую
але навіщо засмічувати
мій розум і душу
іконними ідолами

я вірую
у здійснення мрій
у віддану любов
у власну велич

я несамовито вірую
у Бога
ім'я якому — Свобода

шкода
що він атеїст

* * *

Важко мріяти про майбутнє
коли стоїш навколішках
проводжаючи в останню путь
своє минуле

* * *

Я ріс
безталанною дитиною

мріяв
стати дорослим

але не навчившись перед тим
силою бажання
зупиняти час

* * *

Нарешті
знайшов себе

тепер не знаю яким чином
позбутись
цього сіромахи

* * *

Ціль —
це неовов'язково те
у що маєш влучити
для багатьох ціль —
це нескінченні ухилиння
аби не влучили у тебе

* * *

Колись
я скажу своє слово
але зараз
я прагну
аби дослухались
до мого мовчання

* * *

Знесилена Тінь мого майбуття
доторкнулась
кінчиками тендітних пальців
до наморщеного чола
стомленого Неба
тепер вони завжди разом

Небо і Тінь
це як
Слова і Музика

перше — даруватиме
безмежність
друга — рятуватиме
від безжального сонця
тих
хто ще й досі мандрує
нескінченними пустелями
буремного життя

А я
лише озиратимусь
на битий шлях власної долі
страхаючись
дивитись уперед
аби не наврочити

тим
хто продовжить мій Шлях
своїми Стежками
які мають оповити Землю
наче венами
щоби в ній пульсувало життя
прийдешніх поколінь
одвічних мандрівників

* * *

Важко
йти до істини
вщент зруйнованим шляхом

тим більше
коли всі довкола запевняють
що і їй самій
не вдалося вціліти

* * *

Вже й зорі
розтанули за обрієм
а ти ще й досі дивишся на мене
тим поглядом
який подарувала на світанку
в той день
з якого розпочався відлік часу
у зворотному напрямку

* * *

Навіщо
віддавати борги тим
хто має можливість позичати

краще
лишитись боржником
і щедро роздавати милостиню
тим
хто цього потребує

так чи інакше
кожен з нас і боржник
і позичальник
і той хто потребує

* * *

Мій тлін
розвіють над безладдям
воскреслого з попелу міста

де я
марнував час
на чергове щасливе життя

* * *

Хіба ж це злочин —
поцупити собі щастя
з кишені сп'янілої долі
якій гостинно
наповнював келиха
з нагоди
нашої першої випадкової зустрічі

* * *

Мої зорі
майорять на твоєму небі

як ти думаєш
кохана
чим все скінчиться

* * *

В свій останній політ
в Небуття
я взяв би з собою скрипку
не тому що люблю
цнотливу вишуканість
а тому
що це остання річ на землі
яка не виносить фальшу
і нагадує обриси коханої
яку втратив
коли
зізнаючись у коханні
сфальшував ноту «мі»

* * *

Сліпий
благав увімкнути світло
ні
він не сподівався прозріти
йому було конче потрібно
переконатись
що воно ще й досі
не згасло назавжди

* * *

Як не продати душу
дияволу
який дає за неї гарну ціну
і як далі любити бога
який навіть забув
що тримає її за пазухою

* * *

Аби ти впізнав мене
взяв на зустріч з тобою
очі
чого зазвичай не роблю
бо стидаюсь
коли мене — зорезнавця і блазня
який своїми очима
пригледів собі
чужу веселкову долю
впізнають на вулиці
безцільно блукаючим
у натовпі
звичайних безталанних сіромах
які відкрито
зазирають одне одному в очі
і зичать щасливої долі
навіть гадки не маючи
що з Неба
її викрала людина
яка вкрай рідко
бере з собою на прогулянку
очі



Борис РУДЕНКО

/ Київ /

З РОМАНУ «ОЧЕРЕТИНИ НА СКЛІ»

Фрагмент

світ — всього-на-всього вічність на словах, які ранком пригадали птахи...

...ранком підскочив бадьорим й не те щоб паскудному настрої, і зробив ще до того, коли неподалік проноситься якийсь нестримний до жаху потяг, скоріше пасажирський, ба навіть міжнародний; їх стало останнім часом таки помітно менше, напруженість в стосунках з сусідніми країнами, війна, провисла далі вже нікуди економіка — ні кінця цьому, ні краю... можливо й будуть живі заздрити померлим — тут складно щось зрозуміти, тільки от поки що всім хочеться жити... єдине, що прямо лізе от в очі зі Святого Письма, так це те, що останні посіли місця перших, але й тут в мене є деякі сумніви, ага, дивлячись кого вважати першими... в моєму номері є всі зручності, вистачає засобів особистої гігієни, з цим вони поступають розважливо, а то еліта розведе такий тілесний сморід, що від нього перед ложкою несила буде відкрити рот, і з їжі в холодильник, як я вже вам говорив, необхідний мінімум... до речі, і як це таке трапилось зі мною, не менш ніж випадково згадав, що маю щось на кшталт відповідальних обов'язків з бараклом, от тільки не впевнений, що бачив бібліотеку з творами для театрального вжитку, могло й з навіювання таке знайти, але ж це б і не було протиріччям відносно логічного перебігу в житті закладу, потрібно ж якось бавити публіку з відбитими півкулями, а то, вони такі, почнуть писати та скаржитись куди й кому завгодно...

правда до нас немає ні в кого, що також вся правда, ну от зовсім ніякої справи, бо всі живуть в даному провидінням над завданнями, але, погодьтесь, й хорошого от також мало... та що там — ну зовсім нічого... після того як привів себе в невідворотно привабливий стан, артист же, — чи вам тут всім повилазило? — пішов подихати свіжим повітрям, скоріше створеного лише для того, щоб чимось ба-

вити відморожених замість *подій*... а вони привели його в першокласний стан: вичистили всі до одного чагарники таволги, підрізали дерева, рясно насадили молодняк, наставили зручні лавочки й скрізь виложили по стежках приємну на колір плитку; та й паркан, що оточував наші володіння для тих, хто вже не має наміру справлятися самотужки зі своєю довбаною кармою наприкінці всього, виглядав більш цивілізованим, а вірніше, не нагадував такий, яким обносять закриті установи для інших, які за своєю ціллю бачення всього навкруг, багато з чим не можуть, або не бажають, примиритися... про нас мова не йде — нагодували, нагадали про таблетки, поміряли артеріальний тиск, подивились щоб якось було тепло, от і все... ну, може, ще щось, але без нього можна ж і обійтись... чванливу публіку, не без зусиль, від кого скривати, вдавалось таки не інакше як за участі провидіння навчити багато чому, та воно й зрозуміло, — скільки часу! — крім не кидати сміття собі під ноги будь де, ніяким чином от було неможливо, хто тільки й стільки за часом не намагався, до цих пір ще позитивні результати ніде не були зафіксовані, та й що там в тому такого, якби вони мали місце, приховувати, або, наприклад, випадково десь про прогрес ніби чомусь не згадати, що також би вистачило... за нами тут у дворі, й туди далі парком аж до лісу, але в межах все ж таки огорожі, прибирав, при тому не добираючи слів у вигляді епітетів один соціалізований щойно ось зовсім недавно представник якоїсь хитрої благодійної організації з іноземним капіталом за просто так, якщо не вважати платнею та не брати до уваги нами наступне: той припудрений бур'яном, і не одним лише ним, телепень не далі як цієї ночі під її екватор мав допотопну пані, яка прославилась тим, що до божевілля вдавала з себе на сцені примару вічної тілесної цноти, а тепер ось так неவிбажливо, та й з чого б це, при тому без очікуваної ентузіастом панорами сексуальних фантазій, точніше він мав у звичайний спосіб, до того ж без ревнощів, до кого там, сильно потаскану громадянку, яка ще, хай воно й інколи, це також правда, нагадувала товариству про те, що мала славу, безліч нагород, була в неї страшенна кількість фанатів і всього такого іншого, але...

все-все, будемо робити вигляд і далі, що ніхто нічого не чув і не бачив, та й на який чорт вони мені впали, та й здались якби... я, це справді чесно, також не те щоб не перебірливий, ще та худоба, правда мало залишилося тих, кому було б дуже приємно про щось таке підтвердити, але ж не до такої вже граничної міри... відверто кажучи, мені, та і то правда, поки ще нічого такого нікому і в голову не приходило пропонувати — а раптом... ні, ну ні, обіцяю себе вести належним чином... не напився ж поки що, так якого ще чорта їм ще потрібно, а то, знаєте, якби потім не пожалкувати... та нікого я не лякаю, я не в тому, твою матір, тут становищі, щоб ось влаштовувати драйв, а то ще не приведи й заступи викинуть за па-

ркан і собаками вилякають... ну й, хіба забули, маю певну відповідальність стосовно реквізиту поки ще лише примарної театральної бібліотеки, тобто зібрання за тематикою, так би мовити, — вже завтра все передивлюсь, а то сьогодні нас всіх мають намір перезнайти за вечерею, де планували зібрати наявних представників вже не пануючого над смаками класу за одним столом з винною картою, кавою та десертом, переважно у вигляді фруктів... так робили всякий раз, коли вже були зведені, а потім живо й розміщені не без гнилих претензій, всі уславлені в їх баченні особи, а в нашому випадку, здається, вже нікого не чекали, що й приємно і не дуже, бо ж інколи так хочеться побачити когось із раніше невідомих тобі ще... врешті-решт, після перших непорозумінь, уже після них та всього з цим пов'язаного, бо ж воно ніби як ми маємо справу з незвичайними людьми, тим більше далеко вже не молодими, обтяженими спогадами, але коли, в кінці кінців, все ніби налагодилось й навіть думати про протиріччя потроху всі почали забувати, можна було поспробувати збагнути й тобі, до якої міри все склалося, чи навпаки, й у тебе, так як все ж існування натикається на спогади, хай і не на далекі, наприклад все це одного разу не дуже добре закінчилось торік, коли всі пережили такий стрес, навіть шок, й коли вже більше нічого не залишалось, крім сліз, та й то таких собі з огляду на вік... згодом, звичайно, з тих, кому поталанило виплутатись та десь переждати, вже ніхто й ні про що не згадував, як там та з ким, коли? я й сих пір не знаю, в кого запитати про кого б то не було з попереднього, так би мовити, набору, так як майже нікого не міг зразу так пригадати, та й кого, хто мені й тоді був близькою віддушеною, тобто ніяк не можу відродити в пам'яті те й з тими, щоб мало місце ніби продовження в часі, як одному із варіантів вже аж ніяк не можливо... безумовно так воно і є, але мені ще й дотепер не просто, — та що там! — дуже тяжко говорити про це, думати, надіятись...

зараз я не маю що додати до своїх слів, до того ж в закладах, подібних до нашого, у вас відбирають всі на світі можливості для більш-менш пристойного перебування в соціумі за стінами, вірніше вся решта як остаток чогось твого раптом стикається з на рідкість неприємною стороною точно непрохідних для самоусвідомлення обмежень... чи мав я хоч би з ким із них до зустрічі в цій не без комфорту, до речі, божевільні які-небудь контакти? відповім вам наступним чином: маючи ідіотичні побажання якнайдалі триматись від обтяжливої, як і для багатьох із нас, подивіться на них, самотності й чимось себе насправді зайняти, мене б влаштовувало більше за все коли б мені тут менше хоч би хто попадався на очі... тому й прошую їх до можливості при нагоді навіть зі мною якимось розминатись, бо ж чим вони будуть в моїй самотності... а поки що, якщо я де й можу почуватись більш-менш терпимо, так це в своєму номері, й насправді затишному та привабливому, може ще мені би було ні-

чого так там в складській комірчині з лахміттям, але в ній я ще поки ні разу не з'являвся, то ж і не можу нічого стверджувати напевно... відверто кажучи, щоб я легко якось сходився з людьми — так цього за собою чесно не пригадую, а що стосується цих...

ну і не знаю вже, при першому, й за ним більш прискіпливими наступними оглядами, щось ніхто не впав в око, та й з чого б це... старі люблять потеревенити, досить таки скоро знайомляться, уже в першому спілкуванні розповідають про себе й всіх винних в їх долі все на світі, хизуються своїм розкішним минулим, якого насправді навіть у снах не було таким, яке називають заліковим, але... мене це ніяк не торкає, воно мені просто ні до чого, правда самоізолюватись тут також не вийде, бо ми ж не можемо не перетинатись де б то воно в режимах не співпадало... — ні ж? ось, до речі, для мене виявилось досить таки неприємним сюрпризом узнати, що пов'язане з минулорічною пожежею слідство, ще далеко не закінчилось, особливо звертали увагу на те, чому це мене не було в розташуванні установи, воно ж дивно, то сидів сиднем днями біля вікна, а то раптом поперся до ятки й нализався з якимись там безпритульними вироками... щось тут не все зрозуміло... якось воно не дуже в'яжеться з логікою, хіба не так? не так, я вже давав покази й вони не викликали питань... не дякуйте, нема за що, мало що може та хоч би хто забути — нічого дивного... все б воно і нічого, але мій спокій намагалася дуже вперто порушити якась намазана фарбами й обсипана пудрою потвора, про те в що вона вдяглася й говорити нічого!? їй, як вона мені сповістила, між іншими залишалося таке стійке враження, ніби як представниця нашої дефективної з розприсканими гормонами спільноти, неважно чула, тобто була глухою, бо ж в мене вирвалось неоднозначне визначення її з усім разом взятим в цьому від чого тільки не токсичного світу, а вона не звернула хоч би найменшої уваги на сказане мною... та пішла ти, якого приперлась, та якось і сам розберусь як накинути на шию петлю та де себе почепити без сторонніх зауважень та порад?! які на фіг карти? я й без гри в дурня з тобою від тебе ось прямо тепер збожеволію! йшла б ти звідси, суко, хіба кому мною було обіцяно розважати з підсохлими півкулями жирних хвойд? ні ж? ладно... добре... на роздягання і в сауні... підходить? їй підходило, але можна було й у мене розкидати, або скидати до купи на підлозі одягу... схоже — я невдало пожартував... ну нарешті, звідкись приплівся трохи на підпитку санітар, схопив блудницю за вухо й притиснув його так сильно, що стерво аж заволоало, й без очікуваних, як він гадав, пояснень, кудись потяг... маю надію, що вона не мешкає поруч, бо ж воно, бачите, перед вами поважна людина і все таке інше... а щоб його, ніби аж в горлянці посохло! звичайно це ще ні про що не говорить, та й де його взяти, щоб тихо накотити для заспокоєння нервів, ну просто в них не реально поки ще... ну залишався варіант з відвідинами тієї

з шостого номера пані двірником пізніше вночі, але він вже буде готовим, та й як я йому стану пропонувати підвечеряти вмісті, коли в нього трохи з моїми не співпадають плани, а дати гроші на ніч глядячи такому типу міг тільки дурень... та й то правда, він не довго її того разу куйовдив, ну це ж ще ні про що не говорить, воно вставлене на повну ріпу, які ще вам в чорта потрібні пояснення? та й здати може, ще й як, тоді вже прощай миле серцю становище обраного, добре що ще не запроторять в карцер, бо тієї каденції такий вид виправного драйву практикувався аж бігом: запруть, чомусь не згадають, що ти там наче якийсь дефективний вентилюєшся, і тобі нічого іншого не залишиться, як прямо там собі під ноги й почнеш дзюрити, якщо не ще щось більш радикальне, а так як вони знали, що я несамовито боюся мишок, то ще впустять, суки, потайки звіря... та ні, ви не так мене зрозуміли, на сьогодні вже це не так актуально і я на них насправді не ображаюся — все, проїхали, тільки от не бажав би моєму найзавзятішому ворогові мишці такого з собою поводження... смердючі щурі, ще й ладанку з шиї зірвали, де вони її прилаштували — можна лише гадати? тут не довго засиджуються, виганяють за що завгодно, — це так вони хіба можуть вести себе неналежним чином...

спіймав себе на тому, що прислухаюсь, не швендяє хто по коридору, або не зупиняється підслухати під дверима, а то вони це люблять, тільки що на їх розсуд не так, або щось викликає суперечливе бачення того, що за твоєї участі здійснюється, зразу доповідать... ну а потім вся ця гидота з образами та погрозами вивезти в ліс вже коли вдарять морози, мовляв, недогледіли, людина похилого віку, десь знайшла випити, от і маємо... ми швидко кинулись та найшли також зразу, ще був теплий, вірите, але що не робили, ніщо не поспібило, звичайно жаль, ще й як, така чудова людина і чому це такими людьми ось так завжди трапляється? ми відійти вже з півроку всі не можемо... поховати, воно таки наш обов'язок, ну й все з цим пов'язане також є нашим обов'язком, а хіба по-іншому якимось буває, ні ж? обіцяли зняти всім до одного якби надбавки, але вини нашої в цьому жакливому випадку, вірите, зовсім мало? його речі, а вони в наших підопічних є в кожного, ми здали на благодійний аукціон, вони добре збереглися і мали товарний вигляд... з решти грошей поставили типовий пам'ятник, при нагоді вам його залюбки продемонструємо, він є в моєму пристрої, і ви тоді самі на ньому прочитаете, хто він був та скільки прожив, а тепер вибачте, не до вас, це тільки здається, що ми нічим в закладі не займаємось, а насправді — в гору ніколи глянути... та й чого його і задля чого заглядати хоч би трохи, тим більше наперед? мій світ вибудований зразу й на засадах все охопити упродовж десть поточної доби і він ярко окрилений дивовижними фантазіями якомога найскоріше отримати неправомірні вигоди, не виключаючи навіть крихкі миті наземного

існування в межах біблійних перерахунків, а то я помітив як ви страшенно здивувались, коли почули мої справжні цифри поки ще необмеженого окремого життя... щось я вже впав у сумніви, можливо б, і не слід мені було так себе вести із заведеною картяркою, звичайно, хто сперечається, — у випадку чого виявилась би потрібною оспівана диваками та поведених на збоченнях мужність, — але мали, це тільки припущення, раптом десь взятись і приємні речі... ну, ви здогадуєтесь про що тут йдеться, вони, гадюки, дуже в таких речах натаскані, та й хто б подумав про таке? тобто в неї можливо десь завалалося декілька краплин для підняття й життєвого тонуся також... мабуть, проґавив, але ще не все втрачено, це ж не я ту навіжену тяг за вухо в її номер, так чому б і не приколотись за сніданком з нятяками на те, що вже більше нікуди, до того жалкую про досадне непорозуміння... та хвате вже тобі, а то ще, чого доброго, терміново переведуть в божевільню, що не бажано би — та що там, то вже насправді кінець?!

краще зразу собі щось непоправне, чи як там воно ще, заподіяти: колись провідував там на підгірку в паркові, що заледве не ліс за площею, одного барана з біполярними розладами, правда тоді справді воно якось називалось по-іншому, які подарували йому голосами нав'язливу ідею бухати кожну мить свого земного потерпання від свого тіла та природних явищ — він це й робив, поринаючи час від часу в алкогольні психози та інші форми знецілення... вже перед зачиненими на спеціальні замки дверима його відділення справа від входу, де я мав би подзвонити в спеціально для цього дійства устатований дзвінок, я побачив двох божевільних голих дівок, що гатили в решітки і які ну просто не своїм голосом волали про те, що тільки мені, й більше нікому, ось тут зараз хочуть дати туди, куди мені захочеться... єдине, на чому б я наполягав як достовірності в ті наповнені жайхиттям секунди, так це те, що вони мали зайву вагу, погані зуби й нездорову шкіру... отже я не хочу потрапити назавжди аж туди до закритого закладу, до того ж, це прогнозовано, та хто тільки не розповідав, їжу там дають до того гидку, що навіть ті, що не можуть впоратись з патологічною жадобою до неї, не завжди доїдають все з неї в алюмінієві мисці... ще пам'ятаю там старі забудови, чи й не двохсотлітні та старовинну церкву, але я бачив їх похапцем, бо тільки-но передав щось там з одержі, дешеві цигарки, та фрукти чимдуж чкурнув звідси наспіх протоптаною кимось стежкою аж до яру, до речі майже заблукав... а жити одинаком, що як спроба було не один раз, також важко, і не тому, ніби з тобою має бути поруч ще хтось так просто... — ні, треба щось собі готувати, прати, сплачувати шалені рахунки за спожите й не те щоб відверто точно так... в тому, що віроломна громадянка дому для старих вела тверезий спосіб життя, ніхто мене не переконає, а раз так, то чого б його відмовитись від дбайливої опіки лікарняного режиму в ньому, закладі, та не випити

за будь що з тим поведеним на своїй значущості психом? а він так нічого... спокійніше, ми ще побачимо... о, боязко навіть в загальних рисах починати перелік... ближче до кінця дня завтра наші мають намір влаштувати щось схоже на концерт, не полінувались навіть скласти програму на цілих майже три години, є і я там за лаштунками в якості прими під кінець, — та який там вже в біса голос, але й вони, що зрозуміло, всі вже не ті... не думаю, щоб він не з'явився: здалеку привітаюсь, покажу де йому сісти, бо ж прийшла раніше і його зайняла, а то не так вже й щоб багато місць, та воно так, всім вистачить, але ж мають бути й кращі, натякну на нерішучість, а то, бачу, мені не здається, з ним ще можна... до чого ж відбитий псих, впустив би зразу тихенько й ніхто б не побачив, а то той дурень ледь вухо не відірвав, що не завадило йому помацати поверхню моїх сідниць... ніхто тут й не сперечається, їм приємніші молоді жінки за так, юнки повії за хоч би що, але краще з приплатою до тарифу, нерідко маразматиків тягне до своєї статі з орієнтацією на хлопчиків... ну це вже зовсім десь за моїм уявленням добро та зло... так йому й ляпну з ходу: може б, ми там пізніше сьогодні чогось потроху випили, до речі, в мене є пляшка хорошої горілки, колумбійська кава, якась закуска, то ж може... та що ви! з чого б це! ніхто й не збирається з ним нянчитись, просто інколи одній сумно — більше такого нічого...

мене дивує більш за усе ось що, чому я його ніде раніше не зустрічала, ба навіть не чула про його, а мала б, так як місто в нас хоч і величезне, а театри на пальцях однієї руки перерахуєш, я маю на увазі старі й розкручені ще в ті часи з акторами звідусіль у світі, площадки, та байдуже, тут вам такого зуміють намолоти, що ваш власний дах вам скаже першим до побачення... тільки-но починались холоди, починались заметілі й мороз та нещадна сирість не давали нам життя, а насправді так воно й спостерігалось в минулі зими, нас розбирали по домівках, звичайно, в кого було кому й куди, тим же, хто не мав жодної живої душі з рідні, або тих, хто був небайдужим до ось такого перебігу подій, залишались на місці, їм вистачало площі для декількох ліжок навіть не в самій великій кімнаті, й тоді вже ніхто й не думав звертати уваги ні на вік, ні на заслуги, ні на огидну з усіх сторін життєдіяльності фізіологію — товклись та сварились всі вмісті, без кінця скаржились особам з персоналу, якому платили за те, що вони за нами доглядали, давали потрібні ліки, розбороняли, якщо раптом виникала бійка, не дозволяли спати по двох й примарні репетиції якихось п'єс, бо це вже було за межею не тільки здорового глузду, а й взагалі чогось реального... тобто узимку справи були не те щоб трохи кепські, а такі, що ні одна жива душа з більш реалістичним баченням всього навкруг просто-напросто не витримає, але в нас виходило: кажу в нас тому, що я залишався й все сам бачив на власні очі...

Георг ГЕЙМ

/ 1887–1912 /

Перевод с нем. Леонида Бердичевского



ДЛИННЫЕ ТВОИ РЕСНИЦЫ...

Длинные твои ресницы,
темней воды твои глаза.
Позволь мне прикоснуться к ним
и утонуть в твоей глубине.

Тропа приводит шахтёра в шахту
при дрожи мутной его лампы
через высокие, кованые двери,
раздвинутые тенью стен.

Я вижу там свой подъём
к твоему манящему лону.
Возвращение оттуда угрожает
появлением пасмурного дня.

Поле тогда цветёт, когда ветер
пьёт влагу из зёрен,
хоть там и высокие колючки
под дождевым небом.

Сожми мою руку с желанием
прорасти друг в друге.
Добычей ветра является птица
со сломанным крылом.

Прислушаемся к финалу лета,
как гроза к звукам органа.
Искупаемся в дыхании осени
на побережье ясного дня.

Мы молча стоим
на краю тёмного источника,
разглядывая его с любопытством,
ищем в нём притаившуюся любовь.

Затем возвращаемся
сквозь тени золотистых лесов
от солнечного сияния, к тебе, —
там нас ласкает звёздный сок.

Хочется, стоя на земле, увидеть
море с жёлтыми бликами.
Там блаженно плывёт по ветру
сентябрьская бухта

вверх, к домашнему покою,
к крепкому цветочному аромату,
через высокие скалы,
где покой разволнован ветром.

От тополей доносится
пьянящий запах пива,
спускаясь на опавшую листву,
оставляя нам своё дыхание.

О, святая грусть!
Взаимная любовь льётся
из огромной кружки,
которая залпом пьёт сон...

ЗАПАХ ВОЗДУХА

По воздуху, что запах тянет скупю
рассыпался рой ошалевших пчёл,
им к ульям путь немислимо нащупать.

Где прежде был цветник, пригорок голый,
свирепый ветер завывает тупо,
мечты разбрызганы, — их ветер не нашёл.
Обвила плесень за́мершие трубы.
Весло мертво, скучает дряхлый чёлн.

Вокруг народ рассыпался, как пчёлы,
и каждый миром напрочь позабыт, —
устали плыть под флагом произвола,
давно уж всем осточертела жизнь.

ПОВСЮДУ РАЗРУШЕНИЙ ПОЧЕРК...

Повсюду разрушений нервный почерк,
чертополохи на пространстве крыш.
Звон колокольный возмущает ночи,
река прогулкою шуршит, как мышь.

И небо задохнулось в полумраке,
и в души навсегда вселилась грусть.
Веселья вспышки делают зигзаги
то в суету, то в скорбь, то в шёпот уст.

Улыбок нет, а хохота, — тем паче,
расплылся жирно по душе сургуч.
Глаза опущены, — стыдливость прячут,
и солнце нехотя бросает луч.

ФИНАЛЬНАЯ ВИГИЛИЯ

Ты бледна, ни кровинки, повисло безмолвье,
а лицом овладела застывшая грусть.
Запрокинуты руки узлом в изголовье,
взгляд совсем отрешен, — он бессмысленно пуст.

Словно старость черты твои вмиг изменила
и морщинами скомкала кожный покров.
Губы в скорбной гримасе скривились, застыли,
и улыбка исчезла, лишь дрожь у висков.

Утром будет навеки с тобою прощанье.
Трупный запах удушлив, — он съел кислород.
Гроб украсят вазонами роз и герани,
чтобы легче принять твой внезапный уход.

Ночь впервые откажет мне в страсти. И скука
чёрной молнией тупо промчится по мне.
И судьба не отпустит ни вздоха, ни звука,
время вроде заглохнет в слепой тишине.



Альберт ЭРЕНШТАЙН

/ 1886–1950 /

Перевод с нем. Леонида Бердичевского

НАДЕЖДА

Я безволен.
Слепые камни смотрят
в мои глаза презрительно.
Моё старое кресло
кóротно для ног,
но доставляет радость, —
приятно сидеть в нём.
Оно мягкое и ещё крепкое,
и придаёт мне смелость
и надежду на несбыточное,
не напоминает о бедности
и постоянных недугах,
о неизбежности смерти.

СТРАННИК

Мои друзья шатаются по свету,
Им не нужны порядочность и страсть.
На их устах дрожь всех сердец играет,
И танцы лживей всяческих чудес...

Я с детства сторонюсь шальных красоток.
Сон для меня, — не более чем сон...
Меня от сна пробудит луч оконный —
Он не бросает лишних слов в лицо.
И как твои бы губы ни кривились,
В ответ моих не сможешь ты найти...

Знакомы мне клыки собак свирепых.
Живу в компании со сквозняками
На верхнем этаже, где нет комфорта...
Там плесень украшает стойкость стен,

И трещины от сырости повсюду...
Смерть обращается к ножу всё чаще,
А за окном спешит нелепо жизнь!
Пусть будет так. Не урезонить время,
Оно настойчивей красоти, что спешит,
Хоть не люблю его я, как тебя...
Дождя капризы — мой любимый враг!

НА БЕЗДЫХАННОЙ ЗЕМЛЕ

Начинаю с езды на локомотиве.
Радуют пляски небесных светил.
Блеск сбруи проезжающих лошадей.
Радуют дубы, моргающие кронами.
Холодное серебро озера с форелью,
Лесные кабаны, и чирикание воробьёв,
Зелень кустов и запахи полевых цветов.
Оставив дорогу, пешком иду по полю.

Мой принцип:

«Радость дарят друзья и природа!»

Я ненавижу сумерки.
Радуюсь любви мужчин к женщинам, —
Посылаю привет от кровоточащего сердца,
разбитого в клочки. Вряд ли я прав во всём!
Примите сентиментальные чувства
моего учащённого дыхания,
мою любовь ко всей планете...
Слабые ноги мотают меня по сторонам.

ПЕЧАЛЬ

Я напряжён, перегружен печалью,
Как вагонетка полная углем,
проезжающего по мне времени,
задевающего клетки моего тела.
Мои редущие волосы,
поседевшие и уставшие,
словно попавшие под острый серп,
проявляющий ко мне внимание...

Засыпаю во мраке своих костей,
в крепком наряде своей печали,
с дрожью, как трава на ветру, мыслями,
окунаясь в чернозём своей головы.

ПОЭТ И ПЕСНЯ

Моя песня — всеми подхваченная мелодия...
Я напеваю её лесу, морю и небу,
Но навстречу мне молчаливые одиночества.
Цикада поёт лишь для себя,
я — лишь себе.
Я огорчён своими шагами,
утомлёнными от песен,
от сиюминутности взглядов,
от бесполезности движений,
от рокота воды, детей и улиц.

Я не замечаю пропастей, и полёта стрел,
шёпота берёз и свиста ветра.
Я засыпаю при звуках арфы,
я говорю себе: «Брось, не стоит»,
но всё памятно мне и утешительно,
даже загрязнение мира.

МЕНЯ ПОДЖИДАЕТ СМЕРТЬ

Я безнадёжен.
Солнце является ко мне ниоткуда,
и приносит с собой камни печали,
и безумную надежды на счастье.

Желание не замечает проституток,
не звенит для меня по-немецки:
«Я люблю тебя!»
А если и звенит, то отдалённо, из звёзд,
иногда от жены со злостью, полушёпотом.

Меня повсюду поджидает смерть.
Она без спроса пьёт мою кровь, как вино.
Мои сухожилия позволяют расслабиться,
они с тревогой держатся в теле, задыхаясь.
Они тактичны, как волны на море, в ожидании ветра,
как женщина, подстерегая своё время.

КОПАНИЕ В СЕБЕ

Месяцы и недели я бессловесен,
люблю одиночество,
особенно беззвёздное,
замыкаясь в себе.

Взгляд вокруг туманит зрение.
Я забиваюсь в угол,
словно испуганный паук,
чтобы никто меня не раздавил.

Я не сделал никому ничего плохого,
лишь иногда помогал кое-что уладить.
Но никогда не был счастлив,
похоронив мелькнувшие желания.

МИРНОЕ ВРЕМЯ

Деревья любят радугу.
Зелень треплет тишину.
Ягнята блеют на пастбище.
Девчонки с шумом скользят по воде.

Вечерами солнце совсем низко.
Пушистые облака умирают
в сумерках в час прилива.

Лягушки скачут, выкатив глаза.
Вокруг меня огромный луг.
Звёзды звенят в источнике.
Попутный ветер желает доброй ночи.

НЕИСТОВСТВО

Я стремлюсь уничтожить мир,
разрубить его на куски.
Это пламя моей жизни,
и неистового чувства смерти.
Я живу в пылу одержимости,
я владею морем таких чувств
и с жадностью пожираю людей,
почти бесцельно...
Мои сухожилия крепнут,
во мне кипят силы для убийства,
для тысячекратного нападения.
Я — холера,
поглощающая беспощадно
Запад и Восток.



Анна ЛОБАНОВСКАЯ

/ Киев /

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ МЕРИЛИН, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДЕПРЕССИИ

Фрагменты романа

Чудо есть метафора, прочитанная буквально...

Александр Эткинд. Содом и психея

Видит Сталин: в углу сидит Ленин и целуется с Мэрилин Монро. «Вот наказание, которое мне по вкусу», — говорит он Сатане. «Но это наказание для Мэрилин», — отвечает Сатана.

Из постперестроечного анекдота

Ламентации

Сколько вам твердить: в человеке все должно быть прекрасно! И душа, и тело, и облачение, а не только член, извините за выражение. (А то многие только этим и гордятся, если еще хоть оно в порядке). А у настоящего мужчины должно быть и в голове, и в кармане, и в штанах «дубликат бесценного груза». И это уже не по А.П.Чехову, царствие ему небесное (частенько, кстати, теперь его вспоминаем, то ли в альтернативном исследовании Б.Штерна-Мозма «Второе июля четвертого года», то ли в рассказе малоизвестного еще Б.Фалькова «Ракоход», — но вот Чехов недопил шампанского и умер, а сейчас — цитирую по Алконосту: «В человеке все должно быть прекрасно!»).

* * *

Первый опыт... был просто отвратителен. Но мне было только семнадцать. Вполне достаточно, чтобы к восемнадцати годам уже не питать никаких иллюзий относительно существ противоположного пола. Но вот когда окончательно разуверилась — потеряла невинность. С тех пор мой опыт мне просто опротивел. Но я до сих пор шлю ему поздравительные открытки.

Пылкости моих чувств хватает на год-два, потом огонь постепенно угасает, и я подумываю о новом объекте... Между прочим,

мне сугубо фиолетово, «что скажет Марья Алексевна». Пишу я для души — просто пометать хочется. Луч солнца для меня много значит, если скользнет по светлым кудрям Моего. Мысленно я всегда уже с ним переспала. Какие сладкие грезы! (А по натуре большинство из них — личности амбивалентные.)

Это потому, что женщина я — темпераментная и в меру эмансипированная.

* * *

Только не пишите потом и не говорите, что она, «в меру своей начитанности», имитировала чей-то стиль, будь то Генри Миллер, Луи Селин, Жан Жене... или, ах, ну да, Франц Кафка, Михаил Булгаков, М.Ю. Лермонтов... вообще, кто бы то ни был... Хватит, позвольте мне быть собой. Они все замечательные ребята. Настоящие писатели! Но при чем здесь я? Позвольте остаться наедине с собственной «псевдоневрастенией» — я запру ее в стол, а публика все же узнает об этих происшествиях... Не навсегда ведь — в стол. До ближайшего спонсора. Как-то одна дама на розничной книжной ярмарке в Украинском доме рекламировала свой толстый новый роман так: «Это «Мастер и Маргарита», только еще и с эротикой...».

Никогда не будет второго «Мастера и Маргариты», и даже эротики там никакой... Просто (ура!) наконец-то и у нас стали появляться «коммерческие» романы.

Византийский хам

А еще говорят, любовь... Он въезжал в нее на своей «формообразующей доминанте». Провинциальный журналист, возмнивший себя поэтом, романтиком и мазохистом нашего времени. Некоторые поэты влюбляются прямо-таки с первого взгляда. И наживают грыжу,нося Музу на руках. А сверху капает мелкий январский дождик, а под ногами размазывается грязная жижица. И если много болтать на сыром воздухе, то к вечеру запершит в горле.

Я мысленно взвешиваю его любовь на одной чаше весов, любовь, не дающую перевесить словесной ценности его стихов. Но весы, колеблемые ветром, переворачиваются, и я понимаю, что все это мне только снится.

Но я раздвигаю руками покровы сна, и из-под полуопущенных век замечаю его милую улыбку и бараньи близорукие глаза под стеклами очков... И я понимаю, что от судьбы не уйти, и этот человек в душе — поэт. (А что же я вам говорила.) И этот человек меня любит. (А разве это не смешно?) И что этот человек меня не обманет, что я гляжу на него с умилением. (А в мыслях — забавляюсь.)

Нет, это не «нареченный», это всего лишь претендент на мою маленькую ручку с поразительно тонкими пальцами.

Во мне есть что-то от верной Пенелопы, но, в отличие от нее, я не распарываю по ночам ткань, а вышиваю, вышиваю, вышиваю свое гордое безумие. (Он не уважает меня, он бешеный, он ревнивый, заточит в клетку, даже если «золотую», а мне до лампочки его «шиза».)

Я люблю смотреться в зеркало и видеть при этом весь мир в причудливых образах. Мне надо было родиться в день весеннего карнавала. Я бы превратилась в томную фею лени, и голову мою венчал бы высокий готический энэн, окутанный тончайшим муслином.

Он не знает меня, он мне не верит, он постоянно сомневается в искренности моих слов. О, почему поэт не может ошибиться? Потому что все поэты немножко подонки. Сначала они ползают у ваших ног, а потом перерождаются в великих хамов, коими так богата нынче левобережная Византия.

Где мы только не бродили, ждали каждого звонка, сомневались и любили только собственное «я».

Его провинциализм глубоко укоренился в самой личности. Он позволяет себе повышать голос в беседе с приятельницами, у него весьма посредственное восприятие, он внутренне закрепощен и подчиняется общественным вкусам и мнениям. Его «постмодернистские приколы», то бишь желание «порисоваться» оригинальностью не пахнут.

Будем надеяться, что редактируемый им печатный орган, не произведя особого фурора в общественно-литературной жизни города, все же отличится разумным подбором произведений, не напоминающая об узком кругозоре его редактора.

Перед моими глазами маячит видение: толстый журнал с белой глянцевой обложкой, на которой черными жирными буквами сияет название — «Византийский хам» (новый литературный журнал: публикует материалы на русском, украинском, белорусском, старославянском, польском, болгарском и удмуртском языках). Остается место и для сербохорватского конфликта.

* * *

Ты можешь не расставаться со мной до полуночи, а после — не провожать домой. Я понимаю твои проблемы, но ты делаешь из мухи слона. Твое «богатое» воображение не подкреплено фактами.

В душе ты просто не хочешь ничего менять, и в то же время, желаешь владеть моими помыслами.

Так ты уверяешь, что не читал «Дневник обольстителя» Серена Кьеркегора. По-видимому, в этом нет нужды.

Люди так не хотят расставаться со своим детством, им бы гонять футбол во дворе, висеть на деревьях вниз головой, подсматривать в окна женских бань, бить стекла и получать зарплату «лимонами».

Лапочка, мозгами шевелить надо, если хочешь, чтобы тебя любили и уважали те, для кого ты олицетворение несуществующего мужества. (Это все слова, слова. Вот я посмотрю на тебя через год: не послушаешься — пропадешь. И что за демон безразличия вселился в тебя? Самовнушением надо заниматься, только не в обратную сторону.)

А вообще — лучше повесься на телефонном шнуре, и тогда все проблемы будут сразу решены.

А еще говорят, любовь...

Я не флагеллянтка, чтобы стоять над тобой с плеткой. Еще не заказаны для Венеры меха. Но мы с тобой по квитаемся (ты будешь у меня под острым каблуком).

Кентавром он себя, что ли, вообразил, в котором дурь и упрямство уживаются одновременно...

Почем нынче фунт баранины?

А фунт ревности нынче почем... Господа! Покупайте ревность — первый сорт, только что из-за бугра сплавил, чтобы растекалась по миру черной рекой.

Любовь как растение

Сердце умиляется, когда видишь, как широко распространяется у нас культура!

Э.Т.А. Гофман «Крейслериана»

«Ну, до чего же цинична я».

А дурье бабье сердце не камень, от чужих нескромных взглядов тает: вот луч золотой промелькнул в стеклах очков молодого философа, отразился — утешил. Философ — псевдоромантическая личность, с налетом загадочности и несколько завуалированным прошлым, пишет эссе об одиночестве, изобретает панацею ухода от обыденности (в Искусство, конечно). Похоже, он и не подозревает, «из какого сора...».

(Но, уж поверьте опытному женскому глазу — в природе еще не встречались бесхитростные романтики — все скрывается под так называемым имиджем. На самом деле — крайне честолюбивый и недобрый человек. К понятию «брак по любви» относится весьма скептически, а значит, мыслит в духе современной ему эпохи. Тут и без Иоганна Вольфганга Гете, даже без Эрнста Теодора Амадея Гофмана все ясно. Особенно, если цитировать по Бердяеву.)

Конечно, я это не со зла пишу — просто поговорить было не с кем, и философ отказал — мысленно. Я ведь по глазам читать умею.

А вот если придет Коленька: солнце ясное засияет, — говорить он будет вздохом... Чувствуется — есть в нем изюминка, внутреннее обаяние, что ли. И знать не знаю, сколько ему лет (видно, что молодой) и женат ли он, а страсть как целовать хочется...

И не в том дело: правильно или неправильно прислушиваться к своим чувствам, а вся беда в том, что кроме мнения «Марьи Алексевны» кто-то еще придумал семейные обстоятельства, наваливающиеся на нас непосильным грузом. Кто-то еще, если не из мещанского эгоизма, так от осознания собственной несложившейся жизни думает, что мол, важно, чтобы было на что детей кормить. Это, безусловно, важно. Но в таком случае, любовь и дети были бы несовместимы (потому что мы любим, прежде всего, саму себя в своей половине) или это уже надо так любить, чтобы себя забыть... И тогда появляются дети. И заберут твою любовь. Хотела же просто любить.

* * *

Егорка сказал недавно, что любовь, как растение — меняется изнутри, в этом чувстве подспудно происходят свои, внутренние процессы, неподвластные разуму.

Руины Зеленого театра...

Руины Зеленого театра, что располагался на склонах Днепра, особенно впечатляют зимней ночью. Здесь едва уловимо ощущается некий сгусток отрицательной энергии.

Я, конечно, помню Зеленый театр в лучшие времена... — многим более десяти лет назад здесь демонстрировали кино под открытым небом, ряды светлых деревянных скамей располагались амфитеатром перед сценой, на которой возвышалось декорационное сооружение с башенками, украшенными ажурной резьбой.

Потом, после Чернобыльской катастрофы, скамейки как-то сразу исчезли, башенки сожгли, стекла повыбивали, и лишь стены из розового туфа, внутри которых размещались кассы, и комната киномеханика каким-то чудом уцелели, и отныне эти руины — место тусовки джазменов и местной шпаны...

Подобные воспоминания всегда навевают легкую грусть, но театр всегда нуждался, как я думаю, в дополнительной рекламе, ведь кроме живущих по соседству с парком печерян никто, пожалуй, не подозревал о его существовании...

Возможно, что теперь там обитают весьма своеобразные существа...

Когда я спускаюсь на склоны и неспешно брожу от Киево-Печерской лавры до Европейской площади, от Подола — мимо Аскольдовой могилы — и до Старонаводницкой... — невольно вспоминается случайная встреча на пробудившихся к весне 1988 дорожках парка.

Казалось бы, это не тема для романа — потому что встреча была случайной, и встречный исчез давно, канул в лету, растворился в парах перестройки...

Его звали Арсений, и было ему всего шестнадцать, — и если мы и встречались потом довольно редко — нас ничто не объединяло, кроме весьма странных откровений с его стороны и почти полного равнодушия — с моей.

Как-то летним вечером я встретила его на лестничной площадке — и это был единственный раз, когда мы сидели на кухне его родного дома (если у него было когда-либо постоянное место проживания).

Он любил создавать вокруг себя поле неизвестности. И если он пошел по чересчур крутой жизненной тропе — мне жаль, потому что он мог преждевременно сорваться.

Единственный раз если мне и угрожали настоящим пистолетом — это исходило от него, — естественно, он только пугал меня — он бы никогда не причинил мне особого вреда, потому что я нравилась ему, — и в память об этом дне в моих руках оказалась книжка Виктора Анисимова «Скорбное бесчувствие», посвященная уничтоженным архитектурным памятникам Киева.

Случались порой в моей жизни весьма странные встречи. Однажды в троллейбус № 9 промозглым осенним вечером 1991-го вошел светловолосый молодой человек, посмотрел мне в глаза и предложил угоститься мороженым. Смешно, не правда ли? Тем более что мороженое я осенью не ем. Но он угадал первые цифры номера моего телефона и сообщил, что я — из породы долгожителей.

Сергей из Северодвинска... безусловно, обладал паранормальными способностями (и в память о себе оставил эзотерический сборник «АУМ»), и пока мы блуждали по мокрому осеннему Киеву и забрели в Лавру, столкнувшись случайно с Арсением, который тогда посещал заочные курсы Духовной семинарии (и подумывал одно время, а не податься ли ему в монастырь, но эти его мысли потом облеклись в прямо противоположную форму: «мы хотим жить мало, но хорошо») — я почему-то задумалась о смысле его бытия, а Сергей, вероятно, уловив мои мысли, сказал, что Арсений будет сильно наказан за это. За что? Порою мне кажется, что Сергей и по сегодня улавливает мои мысли, но подсказать не может ничего. Потому что он уже все мне рассказал.

На память об Арсениии у меня осталось два крестика: из желтого металла и серебряной проволоки. Тот, из проволоки, он сделал своими руками, а второй «сделали ребята с Лукьяновки».

Мы с ним прежде часто бродили по весенним дорожкам парка, и много лет спустя я хожу тем же самым маршрутом. Потом встречи как-то прервались и случались совсем изредка. Он меня ни разу не тронул, только целовал. Наверное, он понимал, что я его не люблю, нисколько.

Любовь выпестовывалась потом, и даже теперь я лишь осознаю, что не любила никогда и никого до самого того момента, когда встретила...

* * *

А его дочке уже ...надцать лет. Он уже почувствовал свою ответственность. Своей жене он всегда старался хранить верность.

Бывшая цирковая наездница — жена поэта В. Сосюры — метала в мужа пишущими машинками (благо, тогда компьютеры в обиход еще не вошли). Когда Сосюра жаловался — ему давали путевку в санаторий.

— Такою, я понимаю, должна быть жена писателя. Но если мой муж — поэт Егор Параноиков — хотел быть президентом, то он и основал империю диванно-компьютерного «ВИЗАНТА».

Невропатолог, правда, советовала впоследствии, когда события уже разворачивались с неимоверной быстротой, приобрести еще и кактус, таящий в себе, оказывается, способности поглощать вредные волны насиженного бытия.

И святочного неба бирюза...

— Сейчас уйдешь, а потом всю жизнь жалеть будешь.

— Не буду. Любые трудности легче перенести без тебя.

(Из диалога с Е. Параноиковым)

Это Егор в последний раз говорил накануне своего дня рождения, пьяный: «Я люблю тебя. Хочешь — ты только скажи, с девятого этажа брошусь — ради моей любви к тебе».

Тогда я приходила поздравить его: купила два галстука и носки. (Галстуки ему очень нравились, хотя повязывать он их не умел.)

Пришла я тогда засветло, прямо из редакции, а Егор встречает меня совсем голышом, без трусов даже. Ну, я на него галстук и напялила.

— Анька, — просит он, — я люблю тебя, только не уходи. Я знаю — ты с этими мудаками ебешься. Я тебе все прощу, только останься. Письку он тебе целовал, этот мудак, да? Вернись ко мне. Я люблю тебя. Я тебе все прощу. Только с ним кончай. А впрочем, как хочешь. Только приходи ко мне.

— А я и рада прийти к тебе, но каждый раз слышу гадости, гадости и то, что я — дешевая проститутка.

— Да, я — жлоб, мерзавец. Да, я исправлюсь. Наложу епитимью. Анька — ты мне снилась. Ты и моя мама покойная. Встретил Мамушева, говорю: «Мне моя жена снилась». — «Почему?» — «Она ушла от меня». — «Как так?» — «Я ее выгнал». — «Ну и мерзавец ты», — говорит. Анька, я люблю тебя, только вернись. Вон комета летает, я так хотел, как те 36 человек в Америке с пятью долларами в кармане уснули вечным сном. И я так хотел — из любви к тебе.

— Дай мне лучше девять гривен — на студенческий проездной.

— Да я тебе больше дам. У меня деньги есть. Я тебе сто баксов дам. Вот. Хочешь, еще сто дам, — и дает. — У меня сегодня с утра Пострелец сидел, я ему говорил, как я люблю тебя, и что ты мне снилась. А он умеет слушать. Сидит, слушает и говорит: «так». Приходи завтра, и они собирались приехать.

— Я не знаю, ты завтра будешь трезвый и злой, ты деньги назад потребуешь.

— Нет. Разве я когда-нибудь требовал? Только вернись. Будем жить мужем и женой. Не хочешь детей — не надо, я хотел как лучше.

— Егор, ты ничего из журнала больше не выбрасывал? Мне Ким звонил с утра, сказал, что в тексте рекламы допущено четыре ошибки.

— А, ну их, пусть катятся. Да — я сбросил этого мудака-графомана, «Кохання опят» его.

— Он не графоман!

— Ну, если не графоман, так пойдет в 4-й номер.

— Егор, как же ты мог? Этот человек работает для нас.

— Та-а.

— Егор, он — замечательный человек. Если бы не он, я... я рецензию написала уже.

Надела пальто и ушла.

— Так я и знал, что ты из-за этого мудака... — неслось вдогонку, из-под одеяла.

— Живи себе... — я прикрыла дверь.

* * *

А я люблю этого «графомана», я очень сильно люблю его. Я знаю, что в этом мире ничто не способно поколебать мою любовь. Пусть вы все — эгоисты. А я люблю его. Я готова весь мир ему подарить. Как мне с ним хорошо. Какой он сильный. Я люблю его. И буду любить всегда.

А иначе — я не хочу жить на этой земле. Да, я знаю, что ему все равно. Но он мне нужен, он мне необходим. Он — свет очей моих. Солнце мое ясное. Я бы целовала твои глаза, твои зеленые глаза — дни и ночи напролет. Как он нежен в постели, а как он страстно кусает мою грудь, аж до синяков. Я тебя люблю, Коля. И ничего в мире не помешает мне любить тебя.

* * *

Мы решили развестись.

Мой муж показал себя, каков он есть на самом деле, в наилучшем свете: как только чуть протрезвел — деньги назад потребовал.

— За журнал платить нечем, я все пропил, черныбыльские — во дворе гулявшим раздал, кому-то даже кошелек подарил.

— А я здесь при чем?

— Не отдашь, позвоню корейцам, скажу: «Анна Борисовна деньги забрала». (С утра он таким плаксивым голосом — в трубку: «Анюта, приезжай, у меня невроз обострился».)

— Ах ты — невроз, сплошной невроз — по жизни.

— Шамиль приходил, пятьдесят долларов требовал: у него сыночек в больнице.

— А что с ним?

— Тоже невроз какой-то, хотя его все любят.

— В восемь лет — невроз?

— Наверное, его обидели в школе.

Ну, и врал же он мне. Когда Шамиль явился за деньгами, то сообщил, что за журнал они уже перечислили, а это — на собственные нужды.

Долларов пятьдесят я, однако, успела потратить. Жаль, что не сто, не двести. На лето отложила, хотела зарегистрировать собственное предприятие.

А теперь...

А теперь пусть Параноиков лечит свой невроз.

— Как ты могла пьяного мужчину обобрать? (Того самого, который деньги мне в руки всучил. Если бы за всю супружескую жизнь я такую сумму хоть раз еще в руках держала?)

— А когда же тебе можно верить — сейчас или когда ты пьян?

— Конечно, сейчас.

* * *

Подали заявление на развод.

— А ты все мне мои лахи подбрасываешь, их все равно давно выбрасывать пора — принесла бы что-нибудь стоящее: комплект постельного белья или пишущую машинку, например. Это притом что мы ему подарили холодильник, а нашу пишущую машинку уютно раздолбал, как мог. И компьютер у него был. Но ему надо было все забрать, такой он по жизни несчастный. Поэт!

Прямо руки чесались отдубасить его чем-нибудь тяжелым, до крови.

Но у меня не возникло на этот раз желание портить себе впечатление после трехчасового просмотра видеотрансляции оперы Вагнера «Золото Рейна» из Метрополитен-опера в полупустом уютном зале Планетария. Тем более, еще предстояло всю ночь печатать реферат по философии. Поэтому я предпочла поскорее уйти, с некоторых пор Параноикова я просто органически не переносила.

* * *

Одна мысль не давала покоя только: мысль о встрече с любимым человеком. Чтобы он не избегал этих встреч. Чтобы с

ним всегда было легко и радостно, невзирая на сложные ситуации. Чтобы он верил мне. Чтобы он понял, как я его люблю.

Я бы только для него жила. Только его хотела видеть и любить всегда.

И пусть меня все слышат: «Я тебя люблю!». Пожалуйста, не забывай меня! И мы обязательно будем встречаться.

«Диагностика кармы»

Вчера пришло известие о смерти Олега. Ему было всего двадцать восемь.

Олег был моим приятелем, из окружения Оксаны Елкиной. Я помню его с весны 94-го: он тогда еще был вполне в норме. Мы как раз с Егором тогда женихались: я брала ключ у художника Макашева, и мы бегали в общежитие, где Тит занимал комнатку на первом этаже, в которой практически негде было повернуться, настолько она была заставлена холстами и эскизами. Но у нас не было другого выхода. Теперь с полным недоумением вспоминаю: неужели я когда-то любила этого человека, своего мужа, будучи и тогда прекрасно осведомленной о его хамстве. Или он тогда еще не достиг того предела, когда я сказала себе: «Все! Баста». С ним в постель я больше не лягу. А ведь он, порой, и раньше, в безумном приступе ярости пинал меня ногами, но, наверное, не так больно.

Впрочем, у меня была масса причин, по которым до поры до времени я вынуждена была его терпеть. Я тогда не задумывалась о том, что могут быть и более обходительные мужчины. Не была избалована мужским вниманием. Или просто себя недооценивала.

Но был еще Олег, который все время болел: он говорил, что вся его жизненная энергия, отведенная ему, была израсходована за первые двадцать пять лет жизни. Он дружил с покойным Андреем Звездовым, художником (Андрей угаз в тридцать... Светлая была личность).

Я общалась с ними обоими весной 95-го (последней весной для Андрея), мы говорили о живописи, обменивались книгами, пили чай, и нам было очень душевно вместе. Я приходила к ним, в мастерскую покойного художника Михаила Вайнштейна (которую впоследствии у семьи отобрал ЖЭК) и, глядя на обширную панораму расстилавшейся внизу Татарки, словно предчувствовала, что все это очень кратковременно. В мастерской было холодно, отсутствовал туалет, а из крана текла только студеноя вода. Андрей Звездов угощал пирогом собственной выпечки. В то время я писала статью о творчестве его отца, Евгения Звездова, скончавшегося в 1988-м и оставившего после себя рукопись книги по методике преподавания изобразительного искусства «Меры подобия».

Позднее мы с Оксаной Елкиной долго обсуждали неудавшуюся попытку издать эту книгу в Санкт-Петербурге, но у Оксаны парали-

зовало мать, и она тщетно пыталась добиться в институте нейрохирургии, чтобы ее прооперировали. Но за два с половиной месяца никто из врачей и пальцем не шевельнул, а того доктора, который готов был приступить к операции, начальство распорядилось немедленно отправить в отпуск. Помню, Оксана тогда страшно разнервничалась и рассердилась на Олега и на его маму, которая не хотела, чтобы Оксана пожила у них дома. «У него третья группа инвалидности, — говорила Оксана, — это самая легкая группа».

* * *

Джулик с тех пор в Ольвию не ездил, его «достали». «Достатый» он был с самого начала. Будучи сыном штабного офицера (имевшего отношение даже к штабу Варшавского договора), занимаясь фарцой, совмещая в себе множество различных мелких пороков, этот человек, не без поддержки кафедрального начальства, конечно, тихой сапой делал себе карьеру в академических стенах, как ученый являя собой полное ничто.

Помнится, при первой же встрече с нашим курсом, который ему предстояло «вести» целый год, Джулик, лениво сглатывая слюну, протянул:

— А в колхоз вас не отправляют?

Похоже, никакой отсрочки в этом плане ему не светило. Тем не менее, если он не имел желания касаться какого-либо исторического периода в своих лекциях, он его обходил.

* * *

А Олегу оставалось жить только год.

«По жизни я как манекен, — говорил Олег, — но вполне возможно, что при этом я еще всех вас переживу».

За какой-то год он почти полностью поседел. Я предполагала, что он в свое время отравился наркотическими веществами.

Олег подарил мне книгу Лазарева «Диагностика кармы» (много, кстати сказать, ею увлекаются, а я даже из любопытства в нее не заглядывала). Отец Олега тогда открыл собственную фирму на базе того предприятия, где работал. Жили они, в общем-то, неплохо, на фоне нашей голодухи — даже зажиточно.

Собака Олега, эрдельтерьер Антон, всегда на меня прыгала, и я старалась спрятаться от нее.

Мы гуляли с Олегом по окрестностям Татарки, один раз были на дне рождения у Андрея (увы, последнем) в феврале 95-го, а потом еще — у графиков, братьев Ткаченко. Часто, просидев у Олега дотемна, я потом ехала к Егору на Оболонь, к себе домой добиралась уже к полуночи.

Последний раз мы довольно долго бродили с Олегом и его приятелем по Сырцу и Лукьяновке поздним ноябрьским вечером 1996-го. (Егор тогда был в Польше.)

А потом я с полгода не звонила Олегу (в ту зиму все перевернулось в моей жизни, и когда в январе Егорка запил — тот факт, что я не стала вместе с ним отмечать сочельник, а одна пошла в храм и написала за здоровье всех: и Егора, и Николая, и Олега, — послужил лишь поводом для его разрыва со мной), внутренне мне было очень тяжело, и если бы я не смотрела в сторону Николая — я не знаю, что бы еще могло произойти и со мной.

Олега не стало в январе.

А позвонила я только на Пасху. Эту весть услышать было невыносимо больно, настолько я уже привыкла, что Олег есть, я всегда могу пить с ним чай, болтать, просматривать его рисунки. Я и сейчас не верю, что он умер — просто уехал очень далеко.

Люди теперь угасают сразу, внезапно. Очень больно, когда умирают молодые — из твоего поколения, и медицина здесь бессильна.

* * *

Свою страсть я считаю вполне оправданной. И как бы трудно мне не приходилось — я всегда буду неукоснительно следовать собственным правилам игры. (Да, он профессиональный рекламный агент. Он умеет обещать.)

А мне все равно, я никогда ни на кого специально не рассчитываю, чтобы потом не впадать ни в панику, ни в отчаяние.

По жизни он великолепный имитатор и пародист. Это просто замечательно. С ним не соскучишься ни за письменным столом, ни на прогулке, ни в постели.

«Его рассказы несколько сыроваты».

«Так всегда говорят, если писатель не знаменит».

Но что это за заголовок для рецензии на книгу А. Перрюшо о жизни Ван Гога «Розповідь про людину з відрізаним вухом»? «А в «Киевских ведомостях» любят такие заголовки». В «Киевских ведомостях», кстати сказать, много чего любят из области «расчлененки», зато в редакции иногда с трудом соображают, что же это все-таки за тип был — Герман Гессе, и цензурно ли звучит его имя.

Но человеку в достаточной мере эрудированному, цитирующему при случае Мартина Бубера и К. Леви-Стросса — пародировать всего лишь «Киевские ведомости»?

Здесь-то и появляются на солнце пятна. Но если так самозабвенно его любишь, что даже проводишь с ним ночь перед собственным днем рождения, то стоит ли критиковать его в смысле творчества — он ведь из генерации молодых украинских писателей, которым еще «лет до ста расти».

А ведь критика — это тоже форма любви. Но по сравнению с бывшим — в постели он просто чудо. Никогда представить себе не могла, что самцы могут быть столь нежными, ласковыми и заботливыми!

И все-таки он несколько наивен в своем творчестве (я осмеливаюсь говорить об этом при всем уважении к его личности, притом что готова на него молиться, готова к самопожертвованию ради него, ибо он для меня — это та личность, которую я с удовольствием живописала бы в романе своей жизни, и все свои лучшие чувства посвятила ему), быть может, потому, что он получает удовольствие (или удовлетворение?), пародируя различные ситуации и прототипы своих литературных героев по жизни; но при всем его умении выстроить закономерное развитие сюжета, соблюдая симметрию в композиционной разработке общего плана и мизансцен, его сюжеты не спасает даже захватывающий ритмический строй прозы. Его сюжеты порою просто убоги, может быть, потому, что он чересчур сдерживает вдохновенные творческие (а скорее, сексуальные) порывы, влекущие в бездну, — хотя в эту бездну не следовало бы опасаться нырнуть, потому что страх бездны внутренней сильнее. Или потому, что он ставит перед собой иные цели: например, создание галереи портретов-характеристик его современников, портретов людей «новых» профессий (как то: рекламный агент, коммивояжер, регулировщица) — материал, черпаемый из болота повседневной жизни.

Знаете ли, это тоже весьма увлекательное и в какой-то мере даже благодарное занятие: это символически завуалированная хроника эпохи перемен. Ему удастся зафиксировать, вплоть до малейших нюансов, состояние человека преследуемого и гонимого, состояние человека предельно увлеченного. Но во всей его прозе остается оттенок некоей недосказанности — решение основных проблем бытия он предпочитает оставить назавтра.

Я бы сказала, что его как писателя несколько портит это вынужденное обивание порогов различных офисов, где он, великолепно играя роль рекламного агента, все время должен решать, как он будет выглядеть, что он должен сказать, как поступить и т.п. Невольно он сам вживается в роль героя своих рассказов, а это очень утомляет.

Но на фоне своих современников Юрия ли Андруховича (группа «Бу-ба-бу»), «Псов святого Юра», даже всей альтернативной организации АУП он смотрится куда выигрышнее и самобытнее, поскольку является эпигоном и индикатором только своих собственных мыслей и убеждений, возможно, потому, что заглядывал в классические первоисточники, а не приобщался к миру литературы в первую очередь через опыт соседних собратьев по перу из ближнего и дальнего зарубежья.

Вообще, все то, чем занимаются наши современники, чтобы не кануть в Лету: эта метушня, борьба за гранты фонда «Відродження» или Европейского совета, за премии американской диаспоры в лице Грабовича или Зинкевича, — для меня это все равно, что на базар сходить. Потому что я жила с «великим поэтом» Егоркой Параноиковым в ту нелегкую пору, когда он «завязал»; но столько хамства и унижения, сколько я вынесла от него, наверное, не услышала бы от простого пролетария (естественно, от кого же еще). А если Сашка Пострелец сидел у нас на кухне, тогда как его красавица-жена шила, вязала и кормила Сашку? (О, мечты-мечты и сожаления Егорки Параноикова: где бы ему такую жёнушку раздобыть — на что Саша безапелляционно заявлял, что так везет только ему.)

Так что же мне до этой «ярмарки тщеславия», если всё — суета сует, а самое мое сладкое желание — спать с Колей рядом в одной постели (чего по отношению к собственному мужу я никогда не испытывала).

Я думала, что и Коля относится к оценке этой «ярмарки» философски отрешенно, впрочем, — он их всех внимательно наблюдает, изучает и пародирует. Вообще же, в своих новеллах он претендует на «тонкий психологизм» и безупречное знание «женской натуры».

Правда, как выяснилось позднее, не столь уж и «отрешенно» относился он к собственной персоне, а скорее наоборот, ревностно. Для себя я тогда убедилась, что полюбила жадного, трусливого и тщеславного человека, который, дабы «увековечить» свое имя на скрижалях «сучасної української літератури», написал своей супруге кандидатскую диссертацию на тему анализа собственного творчества. Ольге, вероятно, было все равно. Хорошо, если она не уставала над ним посмеиваться. Но на самом деле Ольге давно уже были безразличны любые его «выходки», как бы он ни старался.

По поводу его «знания женской психологии» все выглядело несколько однозначно: не любовь правит миром, а только лишь порывы страсти толкают к необдуманым действиям. Женщина никого не любит, а только делает вид, если ей хорошо и удобно с мужчиной. (А язык вообще дан человеку, чтобы лгать.)

И наша история так и не стала «нашей общей историей» — все в ней послужило лишь дополнительным материалом для пополнения жизненного опыта. За исключением кратковременных постельных встреч, мы с ним почти всегда общались на «вы», как и следует воспитанным коллегам по «свободной занятости».

Но как трогательно он кивает головой на прощание — самообаяние.

Пасхальные воспоминания

Всенощную в пасхальную ночь отстояла одна в Воскресенской церкви (ее обычно посещают те, кто участвовал в афганской войне, или их родственники), и все-таки, это киевское мещанство — оно все святое убивает: этот люд в долгополых черных пальто (верх респектабельности), кожаных куртках и люмпен в спортивных штанах (разве им объяснишь, что спортивные штаны — это не форма одежды для танцев или посещения храма): так ведь — всенощная, а вечером — все расслабленные (танцы тоже вечером). Большинство же наших мужчин не знает, зачем нужна пижама, и не умеет повязывать галстук, — это все привилегии «новых», щеголяющих в долгополых пальто (видать, они в западных гостиницах приобшились к вкусам тамошнего среднего класса и, может быть, пытаются осознать, что ходить в «спортивках» в храм или в джинсах в театр — не комильфо). Хотя джинсы, все же, по сравнению со спортивными штанами, скорее смахивают на фрак.

Впрочем, это не потому, что они мещане и обыватели, а потому, что нищета полная — весь досуг среднестатистический городской житель сегодня проводит за шнапсом перед телевизором (в лучшем случае). И если они удосужились посетить храм в пасхальную ночь — это уже нечто.

Вообще же, картинка выглядела так: апрель, ночь, холодно. Праздничный гул колоколов наполнял пространство вокруг трапезной палаты и освещенных прожектором руин Успенского собора, — я сидела на скамье рядом с ковнировским корпусом (где помещается музей книги и книгопечатания) и читала рассказы Бориса Виана, поскольку ночь впереди была длинная, а в трапезной стоять невыносимо душно, — но рядом постоянно подсаживалась беспрестанно курившая молодежь, и ядовитый дым их сигарет делал пребывание там неприятным. В конце концов, я спустилась к нижним пещерам и далее направилась вверх к Воскресенской церкви за пределами Лавры.

* * *

Был один парень, Арсений его звали (на первых страницах я уже осуществляла попытку вспомнить о нем) — он первый открыл для меня всю прелесть днепровских склонов. Много занесенных листвой дорог мы вместе исходили. Встречались редко. Было мне пятнадцать, а ему — шестнадцать. Я ходила в школу, а он — в ПТУ (а потом — «связался с лягашами»). Потом он шибко в гору пошел.

Жив ли он сегодня — не знаю. Он любил мне рассказывать «дикие истории» из своей жизни, причем преподносил их, словно подвиги Геракла. Я думаю, если он жив, то уже давно пополнил ря-

ды нуворишей в длиннополых пальто, с сотовыми за пазухой и телохранителями справа и слева. С телохранителями, правда, он уже давно разгуливал.

Сколько раз, очнувшись на мгновение от своей сверхбурной жизни, метавшей его по многим городам и весям бывшего СССР, после драк в московских кабаках и разбитых спьяну «тойот», смыв на минуточку грязь всех этих бараков и хаз, тихим летним вечером выходил он на «юношеское» свидание в парк боевой Славы и исповедовался:

— Я в монастырь уйду.

— Ты в новый кооператив вступишь, — возражала ему. Так оно и происходило. Одно время он, правда, учился заочно в духовной семинарии. Потом открыл сеть сувенирных лавочек на территории Киево-Печерской Лавры.

Осенью 92-го пришел ко мне с приятелем — попросили договор с наместником Киево-Печерской Лавры на продажу изделий лаврских мастерских напечатать. Я перепечатала его в семи экземплярах — письменный образец Арсений уничтожил (договор заключался совсем на другое имя: Лукашук Владимир Арсентьевич). Его приятель — переводчик — сказал, что семь — счастливое число. У него было симпатичное лицо, с ясным взглядом из-под стекол очков (в первый раз мой будущий супруг чем-то напомнил его, только у него черты лица были гораздо грубее). Молодой человек мне показался чем-то опечаленным.

Арсений в то время сотрудничал с фирмой «Минолта-трейдинг-Украина», с ее ялтинским филиалом. В тот момент он было решил, что примитивным бизнесом «купи-продай» он может заниматься и самостоятельно, но через месяц сообщил, что его приятеля убили прямо в собственном магазине. Даже имя его было скорее всего вымышленным — Арсений называл его «Володя», а потом еще рассказывал, что у погибшего переводчика остался брат-близнец (только ростом пониже), которого тоже зовут Володя (а кто их там, на Курильских островах, разберет), и вот все вместе они работали на одного типа, который в мае 93-го значился коммерческим директором банка «Відродження», а потом сделал карьеру в Министерстве финансов, а потом его тоже убили. По наводке того типа (которого, кстати, тоже звали «Володя») якобы и убили переводчика в магазине, потому что он не желал отстегивать рэкету за другой свой киоск, стоявший на чужой территории. (Подозреваю, что это была сеть киосков «Аленка» на Контрактовой, один из которых сгорел дотла, а сегодня в нем разместилось кафе «Артобстрел»).

Родом он был с Курил, а в Киеве имел квартиру и машину — не на хлеба переводчика в инфляционный период все-таки. Расписываясь за себя и за него, Арсений обычно повторял: «Мы хотим жить мало, но хорошо». И когда его убили, Арсений пошел на службу к этому типу и сообщил, что женился (фиктивно) на его племяннице

(так как она должна была получить вид на жительство в Италии, где участвовала в съемках фильма). Я «ее» встречала — симпатичная девица. Но когда через какой-то год я спросила Арсения о ней, он заметил: «Да кто кому сейчас верен?». Когда того типа убили, он с ней развелся (по-видимому, стало невыгодно).

Только как-то на страстной неделе много лет спустя я встретила случайно «убитого» Володю в Гидропарке, и он сказал мне, что убили тогда как раз его брата-близнеца.

Однажды он заманил меня к «шефу-Володе» на вечерок — развлечь их «умными» беседами, и пообещал только за «беседы» заплатить 100000 (это была по тем временам приличная сумма, примерно долларов сто).

Согласилась я тогда чисто из любопытства. Но все выразилось в жлобстве этих кобелей. Ужин состоял из пива и сала, и осмотра «коллекции» бандита, который собирал всяческий китч у коробейников на Андреевском спуске, а «гвоздем» его коллекции являлось очень темное полотно (как предполагал сам хозяин — кисти Рембрандта).

Сначала мы немного покружились с Арсением в танце, а потом они залегли на одной кровати — хозяин и его «телохранитель» (при том, Арсений поклялся, что они меня и пальцем не тронут).

При одном воспоминании об этом меня начинает тошнить, потому что к любви «по-французски» у меня выработалось отвращение еще с того момента, когда один семнадцатилетний ублюдок пытался меня изнасиловать в белоцерковском дендропарке «Александрия», и сколько бы впоследствии меня бывший муж не упрасивал доставить ему это удовольствие, я категорически отказывалась. (Говорят, чтобы согласиться на подобный акт надо любить мужчину больше, чем себя.)

Ну, а потом была история с пистолетом (чтобы я только молчала). Эти «новые киевские», особенно обматфозифшиеся — они все такие жлобы, в натуре, вроде тех владельцев комларьков, что завалились как-то в ресторан «Украина» (где мы с Параноиковым скромно отмечали его половину среднестатистического века) — в спортивных костюмах, с воки-токи в руках — и устроились за дальним столиком похлебать водки с борщом. Все они — «вышли из народа» на большую дорогу.

Как ни странно, в районе Замковой горы Арсений продолжал мне встречаться довольно часто — потом он поменял место проживания, хорошо, если не на Лесное.

Последний звонок был умоляющим: приехать в ночь в отдаленный район, неизвестно в какую компанию, а в противном случае он обещал заняться любовью с унитазом. Я еще три месяца отплевывалась при воспоминании о светлом пиве «Оболонь», соответственно, никакого сочувствия к Арсению не испытывала. В тот момент я даже переживала эйфорию и допускала мысль, что Параноиков

годится на роль «надежды и опоры». Тот факт, что в его семействе не могли поделить три утюга на четверых, и он ходил покусанный родным братом, я особенно близко к сердцу не принимала. Он мне казался прямо-таки обиженным ангелом.

Все мои симпатии к нему он вскорости зашвырял носками. В душе он моей копался, как только мог себе позволить.

Естественно, под одной крышей жить с ним было категорически противопоказано — я и не жила. Но даже в интимных отношениях он был чересчур неопытен и туп.

Каждый день у меня вставала перед глазами картина, как он лежит и постоянно занимается самоудовлетворением — меня он не стеснялся: «прихожу — свой член потешить», — заявлял обычно с порога.

«Девочка моя, я хочу твою маму...»

Она больше не хотела лежать жалкой и плачущей. Она начнет действовать! «Пойду к Мухину и возьму у него револьвер!» — решила она.

Е. Нагородская, «Белая колоннада»

Мне повезло (если это можно назвать везением) — в сложившейся ситуации все средства были хороши. Нужно было достать журналы (третий номер «Византийского ангела» — тот самый, который частично оплатили корейцы, и из которого в самый последний момент редактор выбросил рассказ Николая).

Я размышляла на ходу: если он будет пьяный — все в порядке, а если трезвый — ничего не добьешься.

Было начало одиннадцатого, когда он вошел в парадное — я все еще нажимала на дверной звонок, словно пытаюсь разбудить его сознание.

А он пришел пьяный и сообщил, что они набухались с Тарасом Липольцем, и менты им по почкам надавали, особенно досталось Тарасу, которого подружка увела. «Чего ты ходишь с ним? — пытались правоохранительные органы выяснить у Параноикова. — Разве ты не знаешь, что он колется?» — «Знаю», — ответил Параноиков. И тогда им влетело.

— Ты, идиотка ебаная, бери журналы, на тебе двадцать баксов на проездной.

— Спасибо, Егор, когда ты пьяный — ты добрый.

— Почему я добрый? Я и пьяный, и трезвый говорю, что ты — идиотка еб*ная, с кем ты связалась? Я любил тебя, идиотку ебаную, я и сейчас люблю тебя, а этого... Ты скажи ему, что если он еще придет ко мне, я замочу его, блядь...

Егор метался в истерике, рыдал.

— Да ты знаешь, кто он: бывший комсомолец, руховец и филаретовец. Да, ты поспрашивай его — он филаретовец.

— Он — бывший аппаратчик. Молодые аппаратчики — моя слабость, — поддразнила Егора. — И вообще, он поклоняется Будде (как антихристианин в трактате Ницше) и не ест мяса, в отличие от нас грешных.

— Анька, я присмотрел себе девочку-поэтессу.

— Кого? Лапкину?

— Почему... А, впрочем, можно и ее.

— Анька, останься со мной, как посторонняя женщина. Останься, я очень хочу женщину.

— Если бы я у тебя могла оставаться, наверное, я бы и жить с тобой могла.

— Послушай, моя девочка, я расскажу тебе сон (мой пьяный сон): мне недавно снилась твоя мама на кухне, в короткой комбинатке, и я хотел ее. Я возбуждился, и целовал ее везде...

* * *

Я никого не хотела видеть, кроме Николая. Долго было холодно, шли дожди, беспрерывно дул северный ветер. А после Пасхи земля согрелась, купаясь в первых теплых лучах. Деревья все расцвели как-то сразу, и зазеленели травы, запели соловьи, распустились листочки, и пошли чередой майские праздники.

Я задавала себе один вопрос: почему у меня до сих пор нет ни сына, ни дочки? Я бы их тоже водила в сады и парки, на выставки и в кино, и мне бы не было так невыносимо грустно и одиноко в этом жестоком мире, где ты никому не нужен, или никто не нужен тебе.

В конце века события развиваются с неимоверной быстротой, но человеческая натура имеет склонность приспосабливаться к любым обстоятельствам.

Каждый день, прорываясь сквозь сутолоку густонаселенного столичного города, воспринимаешь реальные события, словно вести из зазеркалья, — и уже одно это свидетельствует о наличии защитной реакции, иначе... Если бы я все воспринимала серьезно — мир давно бы перевернулся. Главное сегодня — не потерять себя, сохранить внутреннюю гармонию, не суетиться, не растрачивать свою энергию по мелочам.

С утра начинать жить заново, радоваться восходу солнца, радоваться, что живешь... — все эти прописные истины приложимы в первые десять минут, пока очнешься от сна. Все эти современные рецепты: как выйти из состояния стресса — полезны при отсутствии стрессовой ситуации.

Но для меня важно было прежде найти себя — в другом; важно было сохранить в себе, вобрать в себя до мельчайших подробностей те ощущения, что были внушены при общении с тем таинственным

человеком, имени которого я не могла припомнить, сидя напротив него в полутьме. Тогда я остро ощутила внутренний разлад между «я» и «не я»: одновременно возникало желание бежать отсюда, но что-то влекло, с непреодолимой силой, заключить его в объятия.

Представив себе, что человек, которого я безумно полюбила; несмотря на сложную цепь обстоятельств, послуживших верной помехой на пути нашего сближения, — этот человек... и я — принадлежали друг другу на иной планете, в иррациональном измерении — ибо случайных встреч не бывает.

Я, несомненно, была рабой, он — повелителем стихий.

Каждый из нас, вырванный сегодня из привычного контекста, все глубже с каждым днем постигает истинное одиночество. Но, насколько он дорожит собственным одиночеством, я — как драгоценные камни — собираю по крупинкам воедино портрет его личности, сотканный из коротких, мимолетных встреч, чередующихся с долгими разлуками...

Но стоит лишь сомкнуть глаза, как ясно представляю себе картину нашего существования в иррациональном измерении: бесконечный звездный простор, бесшумно пересекаемый прозрачными астральными телами, теряющимися во тьме вечной ночи...

Мой зеленоглазый принц одним взмахом руки оставляет позади себя целые поля орхидей, мерцающих в первозданной мгле.

Мой принц — демиург.

Он может все, но ему ничего не дано. Он все познал и, главное, — не потревожить в нем биение творческого пульса, не нарушить момент вдохновения, ибо он способен выразить словами нечто...

Пока я сплю — он что-то создает, когда я просыпаюсь — он уже витает совсем в иных сферах...

Я не вижу его днями, неделями, я переживаю...

Ухожу от нелюбимого мужа, бросаю неудобную работу... Бегаю по всему городу, собираю информацию, свожу множество сущностей воедино, и каждую минуту не перестаю думать: «А как он там, вообще...».

А он вообще предпочитает быть в одиночестве... И меня утешает лишь мысль, что он вообще существует где-то здесь, живет... и дышим мы с ним одним воздухом.

* * *

Я думаю, что завтра будет светить солнце и будут улыбаться дети. Завтра я обязательно встречу его и буду слушать с замиранием сердца...

Когда-нибудь наступит день, который вознаградит всех жаждущих и ждущих — исполнением желаний.

Когда-нибудь все наладится, но мы будем вспоминать это время как эпоху больших ожиданий, когда, несмотря на все невероятные ситуации: голод, холод, страх перед будущим, — нас согревала надежда на встречу с Судьбой, когда каждый себя проявил в меру своих способностей, когда люди сняли маски и каждый товар получил свою цену, кроме настоящего.

Настоящее было так дорого, что уходило почти даром. А любовь была бескорыстной, ибо ни он, ни она — ничего не имели, зато сбросили невидимые цепи и были искренни друг перед другом.

«Твои глаза — трясина рока...»

Однако, все преходяще. Дальше дела пошли наперекосяк. Пока длились двухнедельные праздники — я места себе не находила. Наконец, решила — пятого числа опять совершила поход в «убежище», цель у меня была журналы передать (тешила себя мыслью, что мы все равно вклеим Колину новеллу), естественно, редактор поместил на этом месте рецензию на книжку стихов небезразличной ему Лапкиной, вследствие чего массу претензий высказал один поэт-динозавр: «У меня четыре книги за этот год вышло, в том числе и в этом издательстве, где Лапкина опубликовалась, — а вы моим книгам ни строчки не уделили. Впрочем, можете не обращать внимания на меня, старого поэта: если я безразличен такому поэту, как Е. Параноиков, то и мне безразличен такой поэт, как Е. Параноиков».

— Да, помилуйте, — говорю, — я не имею сейчас к этому никакого отношения, в «Византийском ангеле» я вообще — фигура декоративная, и вообще, я с Параноиковым развожусь.

— А как с ним связаться?

— Да никак — только через меня.

— А как же он издает журнал, если не имеет телефона?

— Из автоматов звонит.

Вот такой нелепый был разговор. А я хотела от всех убежать, а видеть только его, его, его...

* * *

Были сумерки, кое-где в окнах уже горел свет, но в Колиной комнате было темно, и я подумала, что если его нет дома, то я оставлю записку и уйду до следующего раза.

Но когда я поднялась на третий этаж, то случайно обратила внимание, что дверь его комнаты открыта, и оттуда вышла женщина, — правда, она направилась в противоположную сторону и не заметила меня. Но я подумала, что сейчас, возможно, время не для деловых бесед — и ретировалась.

Кажется, это была всего лишь соседка. Мне-то абсолютно фиолетово было, что там соседки судачат обо мне. Но вот какво Коле

выкручиваться? Кстати, женщины к нему ходили постоянно: сестры, племянницы, жена, дочка — его «маленький гарем». Но мне было бы весьма неприятно, если бы его жена что-либо заподозрила, потому что она, наверно, не смогла бы оценить просто как женщина всю высоту моих чувств.

* * *

Ольга корпела над корректурой, уткнувшись локтями в стол, когда скрипнула дверь и на пороге появился запыхавшийся Николай с пакетом в руках.

Ольга попыталась сделать вид, что не заметила его прихода, пока Николай неспешно выгружал содержимое пакета на стол: бутылку красного массандровского портвейна и килограмм апельсинов.

— Вот, я купил.

Ольга сощурила глаза и процедила:

— Молчал бы уже, — «купил». Коля, ты такой «щедрый» — ты меня изредка «побалуешь»! Принес, и ладно.

«И так всегда», — с тоской подумал Николай, нервно озираясь по сторонам, словно стены могли выступить свидетелями в его защиту.

Впрочем, это началось не вчера и не два года назад. С самого начала супруги как бы играли в привычную с юности игру. Ольга не любила Николая, а Николай не принимал Ольгу. Но она привлекала его своей природной женственностью, с ней он чувствовал себя в безопасности. Ибо, невзирая на наносное эстетство и проявление любопытства к «кастальским играм», Николай внутренне побаивался сложных, изысканных женщин, коварных светских обольстительниц, что ни говори. А в Ольге он был уверен: не предаст, потому что слишком многое их связывает.

Конечно, он замечал, что Ольга относится к нему, в общем-то, как к предмету, общепринятой части мебелировки комнаты для гостей... Правда, он не мог досконально выяснить, где именно собака зарыта, потому что на Коленькины деловые флирты и романтические шашни Ольга давно смотрела сквозь пальцы.

К сексу он всегда относился настороженно, словно чувствуя ответственность перед цивилизацией за греховную животную сущность человека, не поборовшего инстинкты до конца. Вероятно, подобный комплекс был заложен в нем с детства, вследствие неверного истолкования природных инстинктов родителями.

А Ольга была попроще и мужчин любила более напористых. Коля для нее был, фигурально выражаясь, как кролик для кобылицы.

Похоже, именно это он и не вполне осознавал. Но, пестуя свое творческое одиночество, он боялся в один прекрасный день остаться

одиноким на самом деле. Он вдруг решил, что к сорока годам пора бы уже наладить семейную жизнь как следует, ведь это его тыл.

Он только не знал, что Ольга все равно с ним вместе постоянно жить не будет — не выдержит его эгоцентрической целеустремленности на пути к удовлетворению собственных комплексов.

Если бы он понимал, он бы и ко мне иначе относился. Был бы «заботливым, ласковым и нежным» на самом деле, а не так, как мне это только мнилось. А он решил, что не сможет мне дать много, и решил не давать ничего.

Хотя я всегда про себя посмеивалась: «Коленька, лучше дать мало, чем не дать ничего...» (это по Гегелю, кажется). Я только хотела целовать его в глаза каждый день и приговаривать: «У, Коленька, как мне твои дурацкие табу надоели!..» (Сексуальные отношения на стороне он себе запретил и опасался углубиться в собственное подсознание, которое прописывало ему хороший секс каждый день. Он вообще избегал сильных оргазмов). Я хотела забеременеть от него и драпануть в Европу. (О, это сразу бы разрешило все мои колебания.) Коля же слишком ответственно относился к вопросам подобного рода, если можно так выразиться, он был «жиден» на ребенка. Я продолжала жить мечтами о соитии с ним — более нежных и легких (необременительных, то есть) мужчин в постели я просто не встречала.

Он был нежен со мной. Я боялась мужчин, а он побаивался женской «бездны». Я с первого раза понравилась ему как женщина, я дала ему то, чего он уже не ожидал от своей жизни в браке — я безоговорочно признала его мужское превосходство, но, может быть, он ожидал от меня несколько большей активности. А я еще сомневалась! Похоже, мы оба были дураками: он избегал меня, а я — Ольги, именем которой он от меня всегда прикрывался. Если бы Ольги не было, он бы ее, наверное, выдумал.

* * *

Колю я случайно настигла в редакции газеты «День», — он был огорчен, поскольку не получил ни копейки, а я даже не стала ждать своей очереди (ради какой-то двадцатки!), я кинулась вслед за ним — а он весь такой забеганный, замотанный — надо, мол, срочно позвонить (а значит ехать — аж на Позняки).

Был май. Солнце уже палило невыносимо. Я достала фотоаппарат и объявила: здесь и сейчас (мечтая о цветущих яблонях среди пустыни новостроек).

Коля не стал снимать темные очки:

— Давайте в следующий раз.

— У меня пленка заканчивается — специально для вас берегу, снимите очки.

— Глаза все равно на солнце сощурятся.

Так и щелкнула его — в темных очках (снимок впрямь из цикла «Их разыскивает милиция»).

Все равно, Коля — твои красивые глаза я никогда не забуду. Целую тебя крепко...

* * *

Из Питера приезжала Оксана Елкина. Она вышла замуж за своего давнего приятеля и помощника. Она серьезно повредила руку в автокатастрофе, которая была подстроена мафией, вследствие пуска в эфир нежелательного для организаторов материала.

«С мужем — хуже, — сказала Оксана, — у него теперь лицо в шрамах. Перед выходом на работу он теперь вынужден гримироваться, даже после пластической операции».

Мы поехали к родителям Олега. Очень грустный был вечер. Тяжелый был вечер. Мама Олега рыдала не переставая. Олег покончил с собой восемнадцатого января. Перед смертью он уничтожил все свои рукописи и рисунки. (У меня хранится пара его рисунков.) Больно об этом писать. Олегу было всего двадцать семь, а он без всякого сожаления расстался с жизнью.

Мне только оставалось укорять себя: почему, почему не позволила, может быть, ты... Я весь январь тогда пребывала под прессом депрессии Параноикова, но ведь могла же, могла...

Доктора Олега залечили — десять капельниц подряд и сильнодействующие средства плюс выводы, что «через энное количество лет человеком тебе все равно не быть» — все это возымело губительное действие на его и без того психически истощенный организм. Наши медики, к сожалению, нарушают заповедь Гиппократата: «Не навреди».

Такой необыкновенный человек был, добрый. Его так не хватает как друга. Я настолько привыкла, что он есть, иначе и быть не могло. Я им не верю, что Олег умер — он живет в памяти друзей.

* * *

Сидела целый час в редакции «Дня», правила рукопись, но Коли так и не дождалась.

И все-таки я вспомнила, почему объектом своей неудержимой страсти выбрала именно Николая: это было давно, в 11 лет, в широкий прокат у нас тогда запустили польский фильм «Знахарь», я не помню фамилии актера, исполнявшего роль молодого графа, но созданный им мелодраматический образ настолько сильно заполонил мое сознание, что я бегала смотреть этот фильм раза три, а потом он еще долго преследовал меня в отроческих мечтах, пока не выкристаллизовался в лелеемый идеал мужчины, которого я хотела бы видеть рядом с собой. (Но при этом я даже не отдавала себе отчет, что

характер этого человека более соответствовал характеру моего отца — характеру перепуганного блокадой Ленинграда и властной матерью мальчика, сумевшего свой страх обратить в искусство, а стрелы язвительной иронии направить вглубь собственной анимы.)

Вечером я все-таки решила его проводить, невзирая на надвигавшуюся грозу. И тогда случилось нечто — мистика какая-то, объяснить не могу, да и не пыталась: свет горел в его приоткрытом окне.

Уж я стучала-стучала — из-за двери не доносилось ни звука. Соседская девочка сообщила, что он звонить пошел: я прождала час-другой — время уж к полуночи близилось; я так и ушла, оставив записку с предупреждением, что зайду в четверг.

Когда вышла на улицу, в тьму непроглядную и сырость, в запасае оставалось только полчаса — при наличии в кармане полтинника на такси рассчитывать не приходилось. И как только подрулил 11-й номер, хорошо знакомый по постоянным шатаниям на Оболонь — я благополучно успела в метро. И, стоя на перроне станции «Оболонь», я лихорадочно соображала, что же все-таки происходило за дверью комнаты № 28...

Улица пива

Есть у английского художника восемнадцатого века Уильяма Хогарта пара гравюр в духе эпохи «Просвещения»: «Улица водки» и «Улица пива». На улице водки — сплошная грязь, неряшество и нищета. На улице пива царит спокойствие и достаток. Поскольку пиво пьют — ума не пропивают. «Случайных встреч не бывает», — подумала я, когда познакомилась поздно вечером в метро на станции «Оболонь» с Валентином. Это было в тот самый вечер, когда я два часа стучала в дверь комнаты № 28.

Молодой человек был явно навеселе, мы еще часа четыре тогда с ним прогуливались вокруг моего дома, почти до рассвета.

Цвела акация, и в теплом ночном воздухе разливался ее пьянящий аромат. (Страсть к описанию окружающей среды и длинным, на пару абзацев, предложениям мне нравились еще в школе на примерах отрывков из стихотворений в прозе Ивана Сергеевича Тургенева: слава великому и могучему!)

Молодой человек выражал полное восхищение моими достоинствами (я такая падкая на комплименты: просто приятно послушать, что говорят молодые люди о таком выдающемся человеке, как я), он удивлялся моим познаниям в области бухгалтерского учета. Он намекнул, что занимается мелким бизнесом: торгует пивом, мороженым, апельсинами в своем родном Раkitном.

Нельзя сказать, чтобы так уж он меня заинтриговал (все-таки своего героя я любила гораздо сильнее — это было всерьез), а что касается тайны, каковой окутанный, Валентин приходил ниоткуда и уходил в никуда — это меня несколько раздражало.

Говорил он мало, но красиво. Особенно он любил повторять, что «девушка должна только тратить, а не зарабатывать». («Где же эта твоя девушка, — думала я, — которая способна потратить обе тысячи баксов, которые ты зарабатываешь».) «Я одинок, — утверждал он, — а когда много работаешь — одиночества не замечаешь». (Очень мило, — каждое его слово вызывало у меня сомнения).

В следующий раз он приехал на машине (на темно-синей «восьмерке», номера которой я не догадалась сразу записать), поехали мы по ночному городу, посидели в придорожной кафешке «Разгуляй» (однако, поганые у них котлеты — из прошлогодней курятины), потом еще поехали.

— А деться нам некуда, — сказал он с грустью.

— Так поехали в Конча-Заспу.

* * *

Я рассчитывала потанцевать с ним где-нибудь в клубе, а он был такой вялый после рабочего дня.

Такие машины, с откидными сиденьями, конечно, не приспособлены для занятий сексом. У нас уже есть гостиницы вроде домов свиданий, но мне неизвестен распорядок их работы и месторасположение, а чтобы особенно не рисковать, в следующий раз мы просто пошли на вокзал и сняли за 25 гривен квартиру на ночь.

Он все не переставал твердить, что у него якобы родственник гостит, а он снимает однокомнатную и поэтому никого не может в дом приводить. (Во-первых, непонятно было, кто там у кого гостит, во-вторых, кроме жены, мне неизвестна такая разновидность родственников, при которых нельзя привести девушку в гости).

А вот женщина, работающая на фабрике, разведенная, чтобы прокормить двух дочек — сдает свою однокомнатную «хрущовку» на ночь, а сама идет с детьми ночевать к соседке. И еще довольна, если желающих найти удалось. Гримасы нашего постсоветского быта бытийного.

А в другой раз я его к себе в гости пригласила — поставила эксперимент. Видно, он сильно смутился — неделю не звонит, другую.

Дом его, недостроенный, в четыре этажа, на Петропавловской Борщаговке, я видела и сфотографировала на память. (Весьма пространенное, и в то же время оригинальное среди прочих тамошних построек, сочетание элементов барокко и классицизма.) «Я, конечно, продам этот дом тысяч за сто двадцать долларов, — говорил он, — я его не смогу содержать, не потяну просто, зато куплю квартиру для жизни, хотя бы трехкомнатную». («Интересно, как там твоя "девушка" поживает», — думаю.)

— Ну, я поеду в провинцию, в Ракитное, дня на два, — сказал он на прощание.

— А в Ракитном ждет тебя невеста.

— В Ракитном меня ждет руль.

(Бедняга, совсем они его заездили, видеть.)

Хороши, однако же, наши мужчины — за два километра от родного села отъедут — и уже одинокими сказываются.

Проходит неделя-другая. Он все не звонит.

«Ладно уж, — думаю я, — почему бы и мне не проехаться в Ракитное. Домиком твоим под Киевом я уже налюбовалась, посмотрим, как там в Ракитном». И поехала в один прекрасный день, место ведь знакомое, я там председателя профкома крупного завода знаю, как-то в Конча-Заспе познакомились.

Прямой автобус на Ракитное ушел прямо из-под носа, как я ни торопилась. А на электричку идти не было охоты — она ползет четыре часа. Села я на автобус «Киев-Кагарлык», как люди подсказали — проехала с ветерком: дорога красивая, через Обухов протекает.

Вышла я в этой дыре захолустной, а оттуда на Ракитное ничего не идет — через час подъехал единственный автобус до Белой Церкви (а из Белой Церкви еще сорок минут надо ехать электричкой). А у меня при себе всего две гривны оставалось (забыла взять с собой больше денег), на автобус уже не хватает — я изучила карту местности и взяла билет до ближайшего села, чтобы только сесть в автобус, местные вообще надурняк привыкли там ездить — ехать-то надо.

В автобусе мне уже подсказывают: зачем, мол, крюк такой делать — через Белую Церковь, когда, не доезжая до Узина, будет поворот — прямо на Ракитное — ровно восемь километров до поселка. И я сошла в поле, и на свое счастье, поймала попутку до Житних гор — оттуда уже километра полтора до Ракитного, но я села еще в одну попутку, и высадили меня прямо в центре Ракитного.

Не знала я, конечно, ни фамилии, ни адреса его, но был известен род его занятий, и что отец его — директор карьера — хотя карьеров по области много. Гляжу — стоит палатка: торгует девушка водичкой. Задумчивая такая девушка, в очках.

Подхожу, спрашиваю:

— А пиво у вас есть?

— Пива нет.

— А вообще, бывает?

— Бывает.

— А пиво вам случайно не привозит из Киева такой парень, Валентин его зовут.

— Валентин, — задумалась она на мгновение, — Откот его фамилия. Они там живут, — показала она рукой, — как дойдете до перекрестка — их дом прямо напротив универсама. Как будете идти — вы еще переспросите, где Откот живет.

Добротное двухэтажное кирпичное строение, повернутое торцом к главной улице поселка, высилось несколько в стороне от дороги, отделенное железными воротами. Возле ворот, как я и ожидала, стояла темно-синяя машина, а на веранде играл ребенок.

— А Валентин дома? — окликнула я ребенка.

— Валентин за мороженым поехал, вернется — когда все развезет.

Затем появилась грузная пожилая женщина и пробурчала, что Валентина дома нет.

— А я, вообще-то, из Киева приехала.

В воздухе повисло какое-то напряжение. Вскоре подошла другая женщина.

— Я, — говорит, — его мама. А что вы хотели?

— Да так, я по делу переговорить хотела.

— Да, прямо из Киева — по делу, а с его женой познакомиться не хочешь? В нього гарна жінка. Бач, яка гарна.

Подошла смазливая девица с ребенком на руках.

— А если он сказал, что не женат — я ему такое устрою. А ты — иди, иди отсюда.

(Ясное дело, скандала бояться.)

Потом я нашла его раскладку с мороженым, записку написала, сожалею, мол, что так получилось, но надо было не лгать.

До прихода электрички еще часа полтора оставалось. «Дайка, — думаю, — прогуляюсь до того завода», — и только подошла к заводу — приезжает машина, и из нее выходит Василий Иванович:

— Что случилось?

(Этак с полгодика не виделись.)

— Да, вы не думайте, вам не снится. Это правда я.

— Я сейчас, на минутку съезжу по делам. Вы подождете?

Вернулся. Пошли, посидели в кабинете, пообсуждали.

— Вот вы, — говорю, — Василий Иванович, не стали же выдумывать. Вы — женаты, и все в порядке. А как там, вообще, с путевками?

— А вы кому хотите: себе или маме?

— На этот раз — себе, и на море.

— Да, вот понимаете, все черныбыльские деньги пошли на Днепропетровск, так что до сентября вообще неизвестно, но я вас в первую очередь буду иметь в виду.

— Да, конечно, мы ведь с вами уже старые друзья.

Он, однако, на стол меня уложил в профкоме.

— Эх, — говорю, — Василий Иванович, вам опять не повезло — у меня месячные.

Ну, поцеловал на прощание.

Я потом всю дорогу думала: надо же, разведку провела. Но сидящая напротив женщина отвлекала меня болтовней, так незаметно и в Киев приехали.

Я уж думала — на мороженое и смотреть не стану, а она меня угостила.

И так легко стало на душе: анекдот, да и только.

* * *

Наша киевская тусовка мелковата, чувствуешь постоянный информационный голод и полную оторванность от всемирных новостей. Живут — на вернисажах хлеб жуют.

Писатель Андрей Курков заангажировался. «Раньше он писал прозу, — сказал Параноиков, — а теперь ерундой занялся».

Параноиков, конечно, занял удобную для себя позицию, но много хлеба это ему не приносило. «Как это, однако, Егор умудряется — никому не мешает в литературных кругах», — заметил однажды Николай. Так у Егорки же любимая поговорка: «Рожденный ползать — куда ты лезешь».

В один прекрасный вечер мне захотелось подразнить публику, и я пустилась в пляс на вернисаже в «Миксте» — кафе под открытым небом, музыка играет: «Дорогой длиною...» Сидор-Гибелинда уже осовел маленько от выпитого.

Боже мой, какие все вокруг провинциалы: «Такая смелая...».

А в чем смелость-то? Сказать проще, оттянутая.

А чего зря гробить молодость, коли танцевать охота.

Мы с Параноиковым завсегда разогревали публику на дискотеках. А то, бывало, соберутся все на танцплощадке, два часа сидят, курят, болтают. И так часов до двух ночи.

Да я лучше потанцую, а потом среди ночи уйду — вдруг меня вдохновение посетит. А публика-то вся вокруг отмороженная.

Но я и без Параноикова станцую, мне даже легче стало без ощущения комплекса, порождаемого его постоянным присутствием, его наездами: не туда посмотрела, не то сказала, и вообще — кушаешь на вернисажах, а все смотрят.

И я смотрела: все кушают и болтают, и пьют, и снова кушают — чего стыдиться-то, коли угощают.

* * *

Я же не такая манерная дамочка «цирлих-манирлих», которая по мелким червям не ступает. Я нормальная молодая женщина, и плясать готова хоть до утра.

Позднее в журнале «Art line» в разделе «Светская хроника» напечатали следующее: «Как мало в Киеве синтетических художественных акций, где можно было бы насладиться гармонией искусств! Дефицит оных решила собственными силами восполнить киевский искусствовед Аня Л.

"Я живу по принципу — делай, как вздумается. Окружающая действительность вызывает постоянные стрессы. Их надо как-то снимать".

Вот и взяла моду Аня плясать на вернисажах цыганочку».

Эх, бедняга Параноиков, сидит в своей берлоге и думает, что он самый правильный, а все вокруг — какие-то не такие.

«Ну что, бросил тебя этот жлоб уже?» — спросил он как бы между прочим.

Можно подумать, что я «им» одним все время занимаюсь. Что кто-то кого-то бросил, потерял...

В конце концов, у него, у Параноикова, сугубо крестьянская психология, и притом, мозги сдвинуты, и густопсовое хамство.

Параноиков — это фигура анекдотичная, фольклорная, я бы сказала. У него синдром обиженного ребенка — и это уже неизлечимо.

«Тантра-мантра-вибрация...»

Поговорим, однако, об академических застенках этого «элитарного» заведения для золотой поросли наших академиков от искусства.

Недаром светлой памяти Михаил Афанасьевич Булгаков именовал Союз писателей не иначе как «Союз профессиональных убийц».

Старая братия, по-видимому, жаждет забвения прошлых грехов, начиная с того момента, кто что делал во времена гитлеровской оккупации (в стенах нынешней Академии тогда располагалась немецкая биржа труда) и, минуя советский послевоенный период, когда все рьяно исполняли заказы во славу «нашей страны великой» и поголовно были реалистами, вплоть до наших дней, когда вклады на сберкнижках заслуженных вконец обесценились.

Группу учеников М.Бойчука (а он, наряду с братьями В. и Г.Кричевскими, стоял у истоков Академии, основанной в 1917 году) расстреляли еще и потому, что эксперты из рядов соратников признали, что их творчество «ни малейшей художественной ценности не представляет».

Теперь уже последние девять лет модно стало писать об украинском авангарде и о вкладе школы М. Бойчука в историю украинского искусства XX века.

А искусствовед Борис Лобановский занимался пропагандой их творчества с 1960-х годов. Поэтому нынешние критики предпочитают всячески замалчивать его имя, хотя он присутствует во всех энциклопедических справочниках по истории украинского искусства. Его, автора более десятка монографий, ряда фундаментальных статей по истории искусства не стеснялся цитировать разве что Святослав Гординский.

В этом киевском болоте он не стал защищать кандидатскую: «А мне здесь не перед кем защищаться».

Да, он бил витрину в УкрНИИТИ, когда в начале 1970-х годов его решили уволить, а директор института спрятался за спину сотрудницы, чтобы избежать его кулаков.

Так и что ж из того, все равно ведь уволили.

Потом пятнадцать лет преподавания в Институте культуры, где в 1991 году его наградили медалью «Ветеран труда» и спроводили на пенсию.

А семью-то кормить надо. Как раз инфляция подоспела.

И тогда КГХИ (переименованный вскорости в УАИ, а еще позже — в Академию изобразительных искусств и архитектуры) предоставил какие-то часы, но не по одному или двум определенным курсам, а взброс по всем возможным дисциплинам.

Он читал за целый институт и студентов особо не мучил.

А то ведь по институту легенды обычно ходят о каждом профессоре. Вот где они все у меня, лапочки, сидят: и «гиена в сахаре», и начетчица-суфражистка, и «вампирик» (писавший разгромные статьи под псевдонимом «Максимов»), а уж о бывшем фарцовщике-шестерке и говорить нечего.

Вообще, все ученые дамы — редкостные бляди. Наличие степеней придает им еще больше форсу.

Хотя, на самом деле, возвращавшемуся из мест не столь отдаленных сантехнику не все ли равно, куда было запускать: хоть в унитаз, хоть в недра вечной девственницы, умницы и «красавицы», чести и гордости нашей кафедры — все едино.

Да что там ворошить прошлое. Женская судьба нелегкая. А для ученой дамы вообще... Однако, ей, знатоку и педанту, упрекающей всех в «несерьезном отношении к институту» и получившей какое-то право обсуждать, достоин ли кто высокого звания «искусствоведа», да, ей довелось сыграть определяющую роль в июньском хепенинге 1995 года, о котором большинство предпочитает молчать в тряпочку, а посторонние люди восклицают: «Да не может этого быть!». Отчего же, очень даже может.

Ну, подумаешь, поставила начетчица тройку по истории русского искусства (серия «Передвижники») за четвертый курс, из одиннадцати человек — восемь получили тройки.

Этим она старалась доказать, что никто из подрастающего поколения не разбирается в проблематике русского искусства второй половины XIX века. (А на кой ляд это русское искусство в «незалежной» Украине, если во всех школах русскую литературу включили в программу мировой. (Достойна всяческой похвалы стойкость нашей кафедры. «А кто же там еще методическими разработками заниматься станет, декан, что ли, так он вообще 32 буквы алфавита правильно не выговаривает, зато густо сыпет псевдонаучными терминами, рецепция-перцепция, антиципация...»).

«Вот вы ваши книги пишете ради собственного удовольствия», — вменялось Б. Лобановскому в особую провинность. А он, стало быть, работает на благо института. Он битых десять лет первые курсы кормит Столяром и Виппером (что бы он без них делал?).

Короче говоря, окончательно достали их мои публикации в сборниках докладов на международных конференциях «Архитектура мира», в Москве.

Была бы умная — не демонстрировала бы им. Они ведь все восприняли как эпатаж.

Можно подумать.

Я считаю, что сделала в науке еще очень мало, но чтобы это кому-то показалось слишком... Они ведь пирог никак поделить не могут. Киев — такая деревня, где всем тесно. А после работы все дружно едут сажать картошку.

Но Борис Борисович решил, что войну объявили именно ему. Зарплаты ведь на каждого не хватает (с почасовой теперь принимать практически перестали).

Взял Борис Борисович «фантастический» альманах «Завтра», привезенный в свое время Параноиковым из Москвы, — а там как раз карикатура кисти К. Брюллова на композитора Глинку воспроизведена была, — взял да и принес на заседание кафедры.

«Вот, — говорит, — кто сможет назвать автора и фамилию изображенного — может претендовать на пятерку по русскому искусству». Кафедра, естественно, молчит. А начетчица как раз пальцем в небо попала: «По-моему, — говорит, — это 1920-х годов графика».

Борис Борисович надеялся, что у них хоть капля юмора сохранилась, а они осатанели буквально.

Днем позже, после защиты дипломов, когда, по традиции, заочники выставляют кафедре, свершилось такое действие, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

У Лобановского защищалась подопечная заочница, он был руководителем дипломной работы. И он пришел посетить их пьянку, чтобы узнать, какой балл она получила. В высшей степени ответственный человек.

Одна моя сокурсница, родом из Лубен, до сих пор без диплома гуляет, хотя полностью растворилась в струе современной художественной жизни, активно участвует в различных симпозиумах, организует выставки, словом, вполне реализовалась как специалист.

Искусствоведы в нашей академии — это люди с особо извращенной психикой, лживые и лицемерные до крайности. С тройным дном.

Вот, светлой памяти, писатель Владимир Кормер, обрисовывая нравы московских интеллигентских кругов 1970-х, в уста лирического героя вложил меткую поговорку: «Людоеда людоед знал отлично с детских лет». Так и мы наших киевских людоедов знаем с послевоенного периода, и все не перестаем поражаться масштабам их «аппетитиков».

Предпочитаю пообщаться с «народом», хотя мне тот же Параноиков предельно надоел, но у него всегда было что на уме, то и на языке.

И что я ему по-настоящему так и не смогла простить, так это то, что когда в застенках КГХИ Борису Борисовичу ломали руку, Параноиков затащил меня в Гидропарке на просмотр порнофильма. И в этот

самый момент меня вдруг стало мутить, по-видимому, вовсе не от вида бесчисленных искусственных членов, мелькавших на экране, а я ощутила внутри какое-то неописуемое давление и вышла на воздух...

А в это время в КГХИ происходило следующее представление.

Началось с того, что встретив «двух раввинок», Борис Борисович в шутку стал им рассказывать про соотношение двух фигур: Кондзелевича и Козлевича (из вышеприведенного поэтического текста), а декан (якобы перенесший в прошлом году инфаркт и якобы трезвый и обозленный, так как пьяным-пьяно было вокруг), давай с противоположного конца стола знаки подавать на пальцах: сначала два пальца продемонстрировал, затем — три, два — три, — и так несколько раз.

Борис Борисович смекнул сразу (это вроде как намек был, что заслужила я двойку, а поставили тройку) и махнул рукой (мол де, плевать уже).

И тогда Джулик, всегда отличавшийся неадекватными реакциями, взревел: «Сейчас я его выброшу со второго этажа». Это заслуженного преподавателя-то.

Борис Борисович, естественно, направился было к нему, выяснить, в чем дело, как сзади набросились заочники и стали крутить ему руки. Он от них как-то вырвался и пошел на первый этаж, в ректорат. Ректора, конечно, не было на месте, а подвернулся проректор по хозяйству, проныра Нейрис.

Он его выслушал, и не более того (оно ему надо!). А Борис Борисович тогда решил вернуться за портфелем.

Навстречу ему — две заочницы с предупреждением: «Борис Борисович, не ходите туда». И портфель ему принесли. А он подумал: «Интересно, что же они там затеяли, на самом деле». Как всегда, страсть к авантурным романам подвела, не всегда ведь ожидаешь обыкновенной подлости.

Не успел он пройти до поворота в коридоре, как вдруг из-за угла высочили подстерегавшие его в засаде заочники, с деканом во главе.

Джулик, декан ФТИИ, полный мужик, около сорока, абсолютный ноль без палочки в обитаемой им сфере, налетает на пожилого преподавателя и ударяет его, целясь в висок. Напоровшись на его кулак, Борис Борисович споткнулся и упал, в тот же момент Джулик спрятался за спины заочников, которые тут же схватили Бориса Борисовича и снова стали ему выкручивать руки, чтобы он не врезал Джулику как следует.

«Я на своей спине дотащил нескольких заочников до деканата, такая драка была», — рассказывал он позднее.

Представляете, драка: восемь — против одного, а в целом же было задействовано около тридцати человек: группа захвата.

Потом пусть кто-нибудь скажет, что я выдумываю. Но, к сожалению, быть зачастую случается фантастичнее небылиц. Почему-то гораздо более сильное впечатление на общество произвел тот факт,

что примерно в то же время на кафедре живописи подрались два профессора: В. Чеканюк (автор картины «Первая комсомольская ячейка на селе») и В. Шаталин (автор произведения «По долинам и по взгорьям...»), но они подрались честно: делили студентов — надавали друг другу по мордасам и сломали дверь, только-то и всего.

* * *

А потом стали собирать свидетельские показания: посланники с кафедры бегали в общежитие — угрожали-уговаривали подписать свидетельства против Бориса Лобановского.

В ментовку вампирчик Максимов за руку Джулика водил, учил, как надо дела стряпать.

И легли к ментам на стол как минимум пять свидетельских показаний за подписью З-й, В-й и компании, в которых единогласно утверждалось, что пострадавший — он же зачинщик пьяного дебоша на кафедре (естественно, о том, что происходила групповая пьянка в общественном учреждении — умолчали) Борис Лобановский явился в институт якобы в нетрезвом состоянии и чуть ли не предпринял попытку насилия над «мощами» профессора З-й, а также учинил побоище на кафедре в присутствии заочников (это один — против тридцати, в 69-то лет, надо же!) А они его «нежно, под руки, из института выпроводили», стало быть. (Так «нежно», что в результате был двойной закрытый винтовой перелом левой руки.)

И когда он с загипсованной рукой пришел на заседание кафедры, Джулик, нагло ухмыляясь, заявил: «Что же вы пьяный дебош устроили!».

Параноиков кричал: «В суд, в суд подавайте — это хулиганство с телесными повреждениями средней тяжести, за это Джулику причитается до трех лет и штраф. Он же сам придет и заплатит».

У Параноикова был большой опыт хождения по судам, он готов был принять на себя все обязательства доверенного лица.

Но Борис Борисович решил не связываться со всей этой кодлой, мол, они таких адвокатов подберут!

По этому поводу мы постоянно скандалили, отчего лишь усугублялось нервное напряжение. А Джулик, наверное, сидел себе и посмеивался.

* * *

Такого аморального типа, как Джулик, надо было еще поискать.

Плоды его деканства вдосталь отведала молодой искусствовед Оксана Елкина, студенчество которой затянулось на лишних три года благодаря его бюрократическим талантам.

По закону она должна была получить диплом в 1993 году, но по замыслу Джулика вышло так, что встретились мы с ней во втором семестре третьего курса в 1994, и то, ей это стоило невероятных усилий.

Когда Оксана поступила в 1988 в институт, Джулик еще ездил с летними практикантами в Ольвию (нашему курсу в этом плане крупно повезло — нас уже никуда не возили, даже во Львов или хотя бы в Чернигов — мы ездили сами куда хотели и когда хотели, в силу своих возможностей). Да, он сопровождал практикантов, ставил свою палатку отдельно от общественного шатра: пил, гулял с товарищами, ловил рыбу, а в особо жаркие дни валялся в тенечке под деревом, оставляя группу студентов на попечительство московской «копальщицы». Студенты дрались с местными и жили тоже в свое удовольствие: чего-то они там копали в свободное от досуга время.

А Оксана на летнюю практику после первого курса тогда приехала чуть позднее, вместе с пятнадцатилетним братом, и тоже разбила отдельную палатку. За что Джулик ее упрекнул, как это она на практику приехала «с мужчиной», каждый ведь судит в меру своей испорченности.

Оксана купалась — распугивала Джулику рыбу; нашла на дне морском застежку-фибулу 1 века н.э. и отказалась приложить ее к результатам практики — оставила у себя: «фибула принадлежала морю», а не каким-либо общественным учреждениям.

Короче говоря, в результате этой практики Джулик еще и выговор в ректорате получил за руководство практикантами.

И вдруг, осенью 1991-го (на моих глазах это было), шестерку Джулика выбирают в деканы ФТИИ вместо «старого коммуниста» Ю. Беличко, который хотя бы публикации делал, альбомы художественные составлял, работал в своей области (хотя «авангардистов» он терпеть не мог: «Здоровый такой мужик, Бурлюк, а что-то намалевал у себя на щеке, идиот», «Такое крыло у ветряной мельницы на гравюре В. Нарбута, что дюжина Дон-Кихотов уместилась бы», — образчики его устного анализа произведений изобразительного искусства так и просятся в анналы отечественной истории). Джулик, конечно, помоложе — выкормыш кафедры и любимец «ученых раввинок», этакий подержанный херувимчик с немытыми кудрями. Если бы еще не такой полный был, а то ведь ремень на брюках постоянно ослаблять приходилось. И вообще, галстук в сочетании с джинсами — это моветон, а впрочем, не все ли равно, даже то, что он половину слов глотает, и горячо любимый им Столяр произносился еле ворочаемым с бодуна языком в его транскрипции, как «Стойлов».

Так что же с него было взять, несчастного, коли «блат выше Совнаркома», и с 1985 года он прочно занял место покойной Л. Сак, знатока фламандского и нидерландского искусства, и с тех пор первобытность и античность стала носить картавые интонации в общем курсе истории искусства на кафедре ФТИИ КГХИ. Впрочем, до Древнего Рима дело доходило только на госэкзаменах.

Хотя, наверное, он мог бы рассказать «про римских женщин». Я, однако же, предпочла читать лекции профессора П.П. Кудрявцева.

От «Виппера» под Джуликовым соусом уже просто тошнило.

А спорить по поводу «происхождения изобразительного искусства» вообще было бесполезно.

Оксана же решила после второго курса взять академку, но не успела — слегла в больницу с переломом ноги, потом обострилась язва.

Джулик в это время, не утруждая себя любопытствовать, где же она находится, состряпал приказ об отчислении, с шестнадцатью академзадолженностями (хотя, на самом деле, документы эти в архиве ректората нигде позднее не были обнаружены).

Беда-то вся в том, что институт — семейный, всего-то в нем студентов с полтысячи в целом по факультетам учится, на архитектурный набирают человек 25–30, а на остальных — по 6–9 человек на курс.

Нас первоначально было двенадцать, но в срок диплом защитили только человек семь. (И это вовсе не потому, что у нас какие-то идиоты учились, а потому что никто на кафедре научной работой руководить не умеет и студенты абсолютно предоставлены самим себе, а кафедра только контролирует выполнимость.)

А когда Оксана выписалась из больницы и разложила перед деканом пасьянс из медицинских справок, он сказал: ну, ладно, приходите весной, разберемся, а весной сказал — приходите осенью, а осенью снова заявляет — приходите весной, и так два с половиной года крутил динамо-машину. И тогда пришлось прибегнуть к более радикальным мерам, потому что надо было всего-то получить разрешение на допуск к сдаче сессии и погашению всех академзадолженностей, с подобным количеством которых, наверное, и в тюрьму вряд ли приняли бы. Ведь Джулик приписал этих задолженностей по программе на два года вперед, чтобы мало не показалось, а Оксане надо было привести в порядок документы для перевода в Академию художеств в Санкт-Петербурге.

О своем восстановлении в институте Оксана рассказывала следующее: «Приходит однажды к Джулику художник Мих. Гуйда, кладет ему руку на плечо и говорит: поехали к любимой женщине. И привез Джулика на квартиру к арт-менеджеру Зое Кедровой, и явилась пред его очи Оксана. И случилась с Джуликом истерика, мол де, достали его окончательно».

Естественно, были и другие пробные попытки: захаживал некто Сергей из театра, приятель Оксаниного мужа (поскольку Оксана в ходе всей этой истории нервничала, Аркадий, соответственно, переживал, и Сергею, би-партнеру Аркадия, это надоело). Захаживал Сергей, брал Джулика «за талию», уединялся с ним в кабинете и тихим голосом настойчиво требовал восстановить Оксану в институте, и Джулик снова впадал в истерику и кричал, что его «достали».

И весь спектакль происходил только из личного нежелания Джулика предоставить ей возможность погасить «задолженности» и спроводить в Питер.

А потом, когда ее, наконец, восстановили, Джулик заявил: «А теперь, как все дети — ходите на лекции, отучитесь семестр, а там — посмотрим».

«Ну, раз, "как все дети" — тогда давайте мне мои пасочки и плюшки», — то бишь студенческий и зачетку.

«Пасочки» ей выдали, и стала Оксана посещать лекции вместе с нашим курсом, а в перерывах отлеживалась с повышенным давлением и обострением язвы в арендуемой конурке на Олеговской.

Но как только подошло время сессии, у Оксаны случился конфликт с пани профессоршей, читающей украинское искусство средневековья, пани наотрез отказалась принимать у Оксаны экзамен, да еще и Платон Белецкий (ныне покойный), который, будучи тогда парализованным, читал лекции у себя на дому, за два дня до защиты ее курсовой — отказался от руководства. Тогда, после препирательств с Джуликом, Оксана выбрала в руководители аспирантствующего в то время Олега Сидора-Гибелинду, который, однако, произведя ряд замечаний, на защите присутствовать не смог ввиду командировки во Львов. А в рецензенты Оксана попросила назначить Бориса Борисовича, так как других ей выбирать вообще не позволили, потому что они не входили в число сотрудников института.

Борис Борисович буквально не допустил этих хвостов, которые ей грозили и не дали бы возможности перевестись в петербургскую Академию. Он поставил ей две четверки, а Джулик сказал, что позволил для нее это сделать, но чтобы и духу ее не было в институте; а в июльскую страду, состоя в комиссии на вступительных экзаменах, в жару с перепою Джулик свалился с обширным инфарктом.

А тут оказывается, что документы о переводе Оксаны в Питер еще не готовы, и приказ не подписан, а факс в ректорате был просто выключен из розетки (они с ним не особо еще обращаться научились).

И тогда Оксану командировали из Питера обратно в Киев, чтобы она приехала и факс в розетку включила.

Ректор сказал, что такой заразы, как Оксана Елкина, отродясь не видал.

В это же время неизвестно кто (может быть, и Джулик, отходя от инфаркта, у себя дома диск накручивал) позвонил в питерскую Академию и сообщил, что к ним едет такая авантюристка, что поостереглись бы принимать. Но они в Питере как-то между прочим только рукой махнули, мол, «этот сумасшедший Джулик». А при выдаче Оксана диплома попросту вычеркнули весь украинский период из ее жизни, выдали красный диплом, где написали, что с 1991 года по 1996-й она училась в С.-Петербурге.

И, стало быть, не было этих «танцев» вокруг украинской Академии с 1988 по 1990-й и с 1993 по 1994-й.

А потом, вероятно, Борису Борисовичу на здешней кафедре припомнили и эту историю со спасением Оксаны Елкиной из скользких лап деканата ФТИИ.

Безусловно, поступить в сие «элитарное заведение» трудно (на год вперед все места уже давно расписаны), но закончить, на поверку оказывается, еще сложнее — кровью расплачиваешься, в буквальном смысле.

А потом все равно ходишь и годами ищешь работу, если нет у тебя «волосатой лапы» дяди-министра. Имели тебя в виду.

Параноиков же думал, что я только от него зависеть буду — то есть, продамся ему в рабство на всю жизнь, вся как есть, с потрохами.

Это ж надо было: из огня да в полымя.

Я все это пережила, стала циничнее смотреть на окружающую жизнь, учиться подтачивать коготки.

* * *

По состоянию на сегодняшний день кафедра, судя по слухам, полностью разложилась: завкафедрой фотографирует задницу невестки ректора, обтянутую короткой юбкой, и заявляет, что благодаря обаятельности этого снимка все выпускники отделения менеджмента в сфере искусства получили пятерки за дипломные работы, хотя все поголовно заслуживали тройки.

А Джулик хвастался, как он по совету Гриши Хорошилова трахнул в бытность свою руководителем практики в Ольвии рыженькую студентку. («Мол, ну и что, что студентка: руки-ноги есть», — сказал Хорошилов.) И все нормально — с тех пор уже двенадцать лет вместе.

Этот Гриша Хорошилов — тоже со своими завихрениями мужик. Помню, приходил к нам в гости, когда ему рецензия на диплом требовалась, году этак в 1988-м.

Потом пытался у нас на первом курсе вести «китайский семинар» и проводил тестирование: что такое, например, «тантра-мантра-вибрация»?

На его вопрос «что такое тусовка?» — я ответила: «сборище бездельников» (не думала, что и сама «тусоваться» начну, что весь мир — это сплошная тусовка).

Потом он однажды высказал Джулику все, что о нем думает, и уехал в Москву.

Больше у нас в институте китайский семинар с тех пор не проводился.

Когда я поняла, что «явочная квартира» проваливается на все лето, я бегала чуть ли не каждый день туда, и каждый раз творилось нечто невообразимое.

Перед сдачей кандидатского минимума (который я сдала хорошо), — сидела и писала письмо к нему, письмо длинной в шестнадцать страниц (впрочем, я могла написать и на девяносто).

Я написала, что люблю его и буду любить всегда, что хотела бы иметь от него ребенка (не сейчас — так через десять лет), что (что бы ни случилось) я найду его всегда: не в Киеве, так на его родине, не на его родине, так в Нью-Йорке.

Сдав кандидатский, выгребла из копилки мелочи и купила четыре апельсина — положила в кулечек, повесила на ручку двери комнаты № 28, письмо засунула в щель и ушла.

* * *

Двадцатого у нас с Параноиковым был развод во время грозы.

С утра я моталась на Куреневку в редакцию газеты «Час» за гонораром в пятерик, на развод опаздывала, потом оказалось — Параноиков паспорт не взял: «Разведите меня по военному билету, а паспорт я потом как-нибудь занесу».

Я купила себе букетик ландышей, благоухавший весенним лесным ветерком.

— Что же вы над нами издеваетесь, — разнервничавшись, спросила я чиновницу.

— Это он над вами издевается.

Хочешь не хочешь, пришлось Параноикову вновь тащиться на Оболонь, пока я ездила еще в одну редакцию.

Нас благополучно и дешево развели, а Параноиков, похоже, все никак понять не мог, что как мужчина он мне вообще осточертел. Он себе вбил в голову, что Николай, как и положено бывшему комсомольскому функционеру, соблазнил меня обещаниями что-то там организовать. (О, если бы он когда-нибудь что-нибудь мне обещал, если бы он чего-нибудь от меня хотел! Никто не поверит, как глубоко и искренне я любила этого человека, который мечтал, чтобы его все оставили в покое.)

На этот раз «поход» сорвался всего лишь из-за излишних размышлений. Пока я шла по улице, свет в окне горел. Но поднявшись на второй этаж и прислушавшись к звонким женским голосам, доносящимся из кухни третьего этажа, застыла в нерешительности: «А что если жена приехала, а уже поздний вечер». Пока я стояла так с полчаса, задумавшись, один командированный из Мукачево предложил мне посидеть у него в номере, я согласилась. Выпив воды, поделилась своими проблемами.

«Нет, вы подумайте только, если бы мне женщина записку оставила — чтобы я не нашел время позвонить! Как бы занят я ни был! Вы подумайте — здесь что-то не так». — «Да все так, все так. Просто мне никто другой не нужен. Конкретно, только этот человек!» — сказала я.

Когда же все-таки я надумала, в одиннадцать вечера, поднявшись на третий этаж — за Колиной дверью свет уже погас, и я просто не решилась его будить — снова засунула письмо в дверную щель и ушла.

Забавно, проснется он утром и прочтет: «Твои глаза — болота рая...».

Дама с камелиями

Я пишу сейчас роман о том, какие все мужчины сволочи.

Да, безусловно, они просто так удовлетворяют свою потребность в сексе, и все. Для них это подобно эффекту «стакана воды».

А как же тогда с последней любовью Федора Тютчева? Или это была всего лишь сублимация? Многое, конечно, решается посредством сублимации.

Однако я всегда предпочитала брюнетов.

* * *

Он сидел за столом, погрузившись в рукописи, и не слышал ни легкого постукивания в незапертую дверь, ни шелеста дождя по мокрой листе за окном.

Наконец, после получасового хождения вокруг да около, я решилась и вошла в незапертую дверь. Лишь когда я поприветствовала его, Коленька поднял голову и пригласил войти: «А я думал — это соседи стучат». (Среди общажного шума и впрямь не разобрать.)

Я просто умиляюсь его выдержке. Сколько писем моих он «проглотил». Сколько я ни писала ему, что люблю, люблю всегда. И вообще — лето короткое, и годы вообще летят быстро. И «отчего ты, отчего ты лучше, чем избранник мой», и «сколько просьб у любимой всегда, у разлюбленной просьб не бывает...».

Одним словом, писание писем превратилось для меня чуть ли не в самоцель. Порою даже посмеивалась. Бедный Николай! Все его преследуют: эмская мафия, а еще и я — это же просто великолепный стеб: просыпается человек утром, а ему — бац, записка: «Отчего ты, отчего ты лучше...» — я ведь ему на полном серьезе писала.

— Может быть, чаю выпьем? — предложила я.

И тогда он рассказал, что у его друга, к которому он на Позняки ездил и пользовался его телефоном, и ел с ним из одной посуды, и беседовал с ним на близком расстоянии, — вдруг обнаруживается открытая форма туберкулеза и его кладут в больницу.

А теперь Коля не знает, не заразился ли он сам, может быть, у него — закрытая форма.

— А вы чай из всех чашек сразу пили?

(Четыре чашки, что я подарила в день святого Валентина.)

Встали мы и пошли в ночь, в дождь — он провожал меня до «Петровки», а пакетик с печеньем сиротливо остался лежать на столе.

— Вы хоть апельсины обнаружили, или их соседские дети растащили?

— Да, не стоило тратить.

— Ну, что вы, Коля: какие траты — о чем речь, я сдала тогда кандидатский минимум по специальности — хотела, чтобы и вы за меня порадовались...

— Да, с завтрашнего дня жена приедет, я устрою ее редактировать рукописи. Она — филолог с опытом.

— Да, хорошо. Будем видеться в газете «День», но вы обязательно позвоните, когда книга выйдет. («И чтобы овцы были целы, и волки сыты».)

— У меня ни с одной женщиной столько проблем не было...

— А от меня ни один мужчина так не отбивался.

— Но ведь, чтобы поддерживать интимные отношения — надо любить.

(Конечно, надо. Вообще, я стала весьма цинично смотреть на эти вещи. Цинизм способствует сохранению истинных чувств.)

Коля, я знаю, что ты меня не любишь. Но интересно, кого ты любишь вообще? Свою жену, вряд ли... Просто привык, и пугаешься что-либо менять в своей жизни («семья — это самые надежные тылы», особенно, если не твоя заслуга была сохранить их).

Это я ничего не боюсь, поскольку риск невелик.

* * *

— Ты представляешь, что вот этому осколку НАТОвской бомбы (из-под Джаковице) калибром 3 тонны абсолютно индифферентно, кто окажется на его пути: ребенок, старик, женщина, серб, албанец или спецкор газеты «Столичные вести».

Параноиков с нескрываемым интересом рассмотрел кусок потемневшей по краям железяки, и сказал:

— Это, конечно, интересно. В твоём интервью с Шалым хорошо прочитывается его независимая, высказанная по праву совести позиция. Но я не могу точно обещать, когда оно будет опубликовано, его придется значительно сократить.

— Странно, вообще, что ваша газета регулярно публикует очерки старого алкоголика Ключи (порой у него выходит совершеннейшая нудятина) или Лешка Пометов сварганит очередную сомнительную сенсацию из мира околехудожественных сплетен, либо, на худой конец (дабы сэкономить на гонорарном фонде), сотрудники попросту извлекают из паутины интернета жареную утку, а когда приходит журналист Бабочкина с эксклюзивным интервью, вы вежливо улыбаетесь, говорите, как вам не хватает хороших материалов, а потом продолжаете тянуть резину в течение двух-трех недель. Я прекрасно понимаю, что чаще всего это происходит из банальных соображений: «Своя рубаха ближе к телу, а рука руку моет», но ведь тебе никогда нельзя было отказать в профессиональном чутье. И твой последний номер «Византийского ангела» — яркое тому доказательство. Вот за это твое чутье, за выстраданный талант твой от Бога, я всегда цени-

ла тебя. Но, впрочем, меня не удивляет, что по качеству содержания вашу газету остается разве что в обувь закладывать — здесь, и в самом деле, твоя хата с краю.

— Ты же сама убедилась, что простых решений жизненный путь не приемлет, и так плутать по нему, чтобы и волки были сыты, и овцы целы — это тонкое искусство будничной дипломатии. Категоричным я могу быть только при формировании содержимого своего журнала.

— Да, и оказался настолько категоричным, что вычеркнул меня из списка авторов, хотя я всем даю читать именно тот номер, где публиковались мои записки о московских беспорядках осенью 93-го (хороший заголовок ты тогда придумал).

— Я тебя ниоткуда не вычеркивал, это ты делаешь вид, что меня не замечаешь.

— Но ты дал понять, что тебе неприятно общаться со мной, из чего я сделала вывод, что лучше нам друг друга забыть. Может быть, сегодня ты уже понимаешь, что по большому счету делить нам было нечего. А знаешь, за что я тебе благодарна — ты научил меня высокому понятию веры. Когда ты мне рассказывал, что ходишь на исповедь, я так прониклась... Я думала, что для этого нужно обладать высоким чувством ответственности за свои поступки. С тех пор я ежедневно выстаиваю всенощную на Пасху.

— Ты всегда испытывала страсть к соблюдению ритуалов, но это не сродни истинному познанию их смысла.

— Я сегодня все обиды свои отпустила.

— А я свои давно уже отпустил и просил у тебя прощения.

— А у меня так сердце щемило, но я думаю, что как бы оно ни происходило, а все должно идти к лучшему. У тебя ведь все вроде бы наладилось.

— За все в этом мире надо платить.

— Но ведь ты обрел семейный уют. Неужели ты не понимал, что свободный творческий полет происходит в парении над жизненным хаосом. Вот я познала высшую ступень экзистенции, моя жизнь превратилась в сплошной праздник небытия. Моим мыслям стала созвучна строка поэта: «До самоти дозріє лиш любов...». Я попыталась постараться дать людям как можно больше добра и света. Но люди стали куда-то прятаться и скрывать лучшие свои порывы, люди стали бояться думать о будущем, потому что все обещания оказались бесполезными. А наших собратьев по перу сильнее всего объединила только любовь к пиву и другим напиткам. Но ты ведь знаешь, что сомнительному алкогольному разнообразию я всегда предпочитала чашку хорошо заваренного чая, и это совсем не мешает мне любить их.



Вадим ГРОЙСМАН

/ Ришон ле-Цийон /

БАБОЧКА

Откажусь от ясных глаз,
Уберу цвета и резкость.
Я хочу на этот раз
Толстой бабочкой воскреснуть.

Твёрдо выучить урок
Философского беглянства,
За китайский потолок
Злыми ножками цепляться.

Гаснет ночь, проходит век —
Черепков разбитых груды.
Помнишь, глупый человек,
Как пугались мы друг друга?

А когда напаялит речь
Мыслей пыльные обновки,
Можно крылышки поджечь
От светила на циновке.

* * *

Какой пикник? Одна обочина.
Пропали жёны и друзья.
Квитанция на жизнь просрочена,
По ней прожить уже нельзя.

Сиди с делами непочатыми,
С крюком и камнем, как во сне.
Смотри, что чёрным напечатано
На этой мёртвой белизне.

* * *

Полторы картошки к ужину
Ипеки в пустом дому.
Приготовься, падла, к худшему,
Приготовься ко всему.

Все твои подпорки выбили,
А последнюю — ты сам.
Приготовься к верной гибели
И прощальным чудесам.

* * *

Как ангел с обожжёнными усами,
Котёнок среди вороха войны.
Куда тебя нести? Ведь мы и сами
Оборваны, бездомны и больны.

От ужаса кусает наши руки,
Утратил имя, побывал в огне.
Кричи ещё от непонятной муки
В убитом месте, мёртвом Ирпене.

* * *

Прикрылись тайной и мечтой,
Залезли в душу и в карман...
Стихи — великое ничто —
За ноги тянут в океан.

На месте города провал,
Жизнь промелькнула вдалеке,
Пока я ладил-рифмовал,
Строку примеривал к строке.

И непонятно самому,
Как верил в это колдовство
Какую исходил я тьму
Во времени и вне его.

ИСАВ

Нельзя гадать о неизбежном,
А ты, обманутый Исав,
Свой век по клеткам расписав,
Вдруг оказался в поле снежном.

Ты самому себе не рад.
Какая буря в Ханаане!
И торжествует хитрый брат,
Не признающийся в обмане.

Не бойся, я тебя не брошу,
Закутайся в козлиный мех,
Ненужный опыт, сон и грех —
Подставь плечо под эту ношу.

Храни обиду, но терпи,
Пока душа не заживится.
Пускай в космической степи
Накормят звёздной чечевицей

И жизнь, осмысленная трижды,
Распустит за ночь полотно,
И непонятно всё равно,
Какие двери отворишь ты.

* * *

Если в комнатах вечно темно,
Лучик в зеркале нужен,
Чтобы собственной жизни кино
Пересматривать вчуже.

Вот и просят меня: Расскажи
Все свои передраги,
Все дороги надежды и лжи
Проведи на бумаге!

Не прощайте, что я вам солгал,
Но и правду мою не забудьте:
Через несколько маленьких глав
Мы окажемся в новом приюте.

Там пустая возня не слышна
И замшелая злоба,
Там и хлеба дадут, и вина,
И не съесть, и не выпить до гроба.

* * *

Семеню по комнате, слабея,
Резкий свет на кухне погасил,
И теперь моя Кассиопея —
Почта и ближайший магазин.

А со мной великие фигуры,
Лучшие создания веков,
Истинные дэвы и асуры
Превратились в мелких стариков.

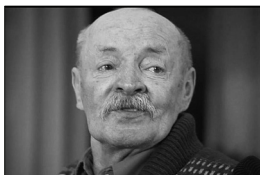
Демиурги опускают руки,
Тонкий мир распался и исчез,
И земля, вращаясь по науке,
Неостановима для чудес.

НЕБО ВОЙНЫ

Кто-то там, во тьме и на свободе,
Сломанное время запретил,
Он один на опустевшем своде
Разбирает алгебру светил.

И такой узор над нами выткал
Этот неуёмный грамотей,
Что не спится на земле убытков,
На планете славы и смертей.

Но бывает, загнанный, трусливый,
Человек нашаривает свет,
И слабеют звёзды, будто взрывы
Мимо цели пущенных ракет.



Василь СОКІЛ

/ 1943–2022 /

ПЛАЧ ЛЕЛЕКИ

Моя сім'я

Людство здавна б'ється над винаходом машини часу. Мені цього не треба. Коли душа втомлюється від обтяжливої буденності і моральної задухи, я чіпляюсь за крила замріяності й фантазії і вирушаю в майбутнє. Правда, часто опиняюсь не там, куди збирався і не тоді, коли хотілось би. Але байдуже, все одно — цікаво і захоплююче.

А з минулим взагалі просто. Відчиняю двері пам'яті і миттєво опиняюсь в сорок сьомому році минулого століття.

Я бачу, як після п'ятисоткілометрового транспортного перетягу, що проліг від Києва до Львова — автобус, поїзд, вантажівка — на пошарпаному «студебекері», вкритому брезентом група десь з тридцяти малюків, вивезених із розформованого столичного дитячого будинку в'їжджає на подвір'я похмурого напівзруйнованого греко-католицького монастиря. Серед них був і я. На тринадцять з лишком років він став для мене рідною домівкою. Мені не було тоді й чотирьох років. Саме звідси й починається моя стійка пам'ять.

Під осінньою зливою нас запровадили на другий поверх будівлі. У відведеній для нас кімнаті підлога була встелена соломкою. На ній ми й уляглися після вечері з м'ясних тушкованих консервів. Так почалася історія нашого дитячого будинку.

У повоєнній країні шаленіла епідемія сирітства. Львів, як і інші міста, був переповнений зграями малолітніх безпритульних, які освоювали кримінальну освіту у дорослих злочинців.

Львівські дзержинці підмітали міські вулиці: кого — за грати, кого — у колонію, а найменших — у дитячі будинки. Наша дитдомівська сім'я поповнювалась щоденно. Більшість вихованців були вилонені на львівських горищах і у підвалах. Тож у наш святий дім було чимало внесено з того, що вони засвоїли зі свого волоцюжного й кримінального досвіду.

З їхньої подачі мовою нашого спілкування став жахливий «російсько-український» суржик, густо замішаний на «фені». Вони ж запровадили й правила внутрішніх співвідношень, що нагадували зонівські принципи тіньового життя закладу. Стукання жорстоко каралось. Ієрархія відносин формувалась силовими методами. Щоб з'ясувати стосунки у разі того чи іншого конфлікту, досить було запропонувати: «Пішли, стукнемось!» Відмовитись від такого виклику було все одно, що вкрити себе назавжди ганьбою. Ти мусив іти на бійку, навіть знаючи наперед, що приречений на поразку.

Однак ці сутички проходили, я б сказав, у рамках шляхетних правил, схожих на дуельні поєдинки. Категорично заборонялося битись озброєними чим би то не було руками. Не дозволено були копатись ногами і не вільно було бити «під дих». Я вже не згадую такі заборонні норми, як «двоє — на одного», або «лежачого не б'ють». І, нарешті, ще одне: бійка негайно припинялася за першою ж вимогою одного із суперників. Порушників цих правил відразу ж і досить жорстоко приводили до тями.

Більшість нашого дитячого контингенту, як я вже сказав, складалась із колишніх безпритульників. Щоб розпорошити виловлені вуличні зграйки, міліція направляла маленьких волоцюг у різні дитячі заклади. Можливо, з недогляду до нас таки потрапив тендем із однієї з вуличних дитячих банд. Звали їх Дячук і Майпак. Відповідно їм відразу ж пришилися прізвиська — Дяк і Мавпа. Вони вирізнялися особливою агресивністю і задикуватістю. Настороженість і острах викликав, передусім, Дяк через його якусь неприродну для дитини жорстокість і підступність. До того ж, огиду викликала ще й його мерзенна звичка постійно смоктати великий палець руки. Чим тільки вихователі той палець не змащували — і йодом, і зеленкою і ще хто-зна чим, нічого не допомагало, поки на це його дивацтво згодом перестали звертати увагу.

Кількарічна вулична боротьба за виживання, здавалося спустошила його душу й наповнила ненавистю до оточення. Навіть у колі таких самих, як він, Дяк намагався утвердитись патологічними про-явами жорстокості.

Однією із дитячих забав було полювання на горобчиків. Складався короб із чотирьох цеглин. Зверху дашком на чурочку, до якої прив'язувалась нитка, ставилась ще одна. А до цієї спорудки просипалася доріжка із зерен, що вела у пастку. Коли ж пташка, викльовуючи збіжжя, застрибувала всередину цегляного чотирикутника, ниткою висмикувався патичок, і горобчик опинявся в полоні.

Як правило, спійманих пташок пацани відпускали. Але Дяк не робив цього ніколи. Він з якоюсь потворною насолодою тішився над крихтним бранцем. То, прив'язавши горобчика ниткою за ніжку, гуляв з ним, як з повітряною кулькою, то, підрізавши крильця водив, як мишку. А одного разу, взявши пташину за лапки, розірвав навпіл.

Як мені видається з досвіду прожитих років, це був той зразок, коли педагогіка, як медицина перед запушеною хворобою, буває безсилою. Не знаю, як склалася його подальша доля, але, думаю, він вже давно мав би згнити на нарах, або ж загинути, затоптаним чияюсь помстою.

Якось на подвір'ї пролунало: «Німців привезли!». Їх було п'ятеро — чотири хлопчика і дівчинка. Вони стояли тісною купкою, перелякано озираючись доквіл. Коли одного з них директор спробував погладити по голівці, хлопець, жажнувшись, викинув у захисті руки, і ми побачили біля ліктя маленьку синю змійку — витатуйований п'ятизначний номер.

Можливо, ніхто не надав би цьому значення, якби наш завгосп, дядько Ілько раптово не зблід і на його обличчя крізь тісно стулені повіки заструменіли сльози. Вперше я бачив, як плаче дорослий чоловік, солдат. Лише згодом ми дізналися, що під час війни, поки він був на фронті, усю його сім'ю вивезли до Німеччини і там вона безслідно згинула. Певне тому він і приріс до нашої великої галасливої й бешкетної родини.

Дядько Ілько ніколи не знімав військової форми. Чоботи, галіфе, гімнастюрка без погонів. Щовечора виносив на присадибну лавку кошик з яблуками і пригощав ними усіх пацанів, котрі прибивалися до нього. Цих яблук ми безмірно могли накрасти і у сусідів, і у колгоспному саду. Проте завжди збиралися біля нього, щоб послухати фронтів байки, а ще більше, щоб потримати його гвинтівку, що завжди була при ньому. Зброя була і у директора дитячого будинку. У його кабінеті висів автомат ППШ, і, як казали хлопці, у кутку стояв ящик з гранатами. Й, здається, даремно.

Час від часу на околицях села лунала стрілянина. Чи то бавились п'яні «яструбки»¹, чи, може, то був відголос чергового наскоку енкаведистів на партизанську криївку.

То були неспокійні часи. Спливаючи кров'ю, Західна Україна, мов куріпка, тріпалась у хижих пазурах сталінського режиму. За сорокові роки минулого століття цей край пройшов через три війни — визвольну від фашистської та радянської експансії, короткий спалах війни громадянської, що згодом перейшла у виснажливу партизанську війну. Нині вона б однозначно підпала під категорію тероризму. А то ж був лиш тотальний спротив темній силі, яка накопилася на західноукраїнські землі, що перебували під патронатом Австро-Угорщини і Польщі, де панував відносно ліберальний режим.

¹ Яструбки — члени воєнізованих груп, створюваних владою із місцевих жителів у селах для протидії бандерівським наскокам. Яструбки часто підтримували зв'язки з оунівськими партизанами, інформуючи їх про сплановані репресивними органами операції проти них.

Попри усі війни, що прокочувалися цією землею впродовж більш, як семисот літ, від Батієвої навали такої наруги Галичина не зазнавала.

Людей безпричинно розстрілювали, заарештовували без-будь яких звинувачень, до останньої нитки і останньої зернини реквізовувалося майно, нарощене багатьма родинними поколіннями, а цілі сім'ї разом з немовлятами тваринними «теплушками» викидалися у морозний морок Сибіру.

Тож від жаху і розпачу за зброю взялися всі хто мав силу й відвагу. І опір цей неможливо було здолати аж до підступної амністії 52-го року, коли вояки, з наївності, або й від втоми вийшли з лісів і склали зброю, а затим були скарані на горло, або ж згноєні у гулагівських таборах.

На приборкання бунтівних горян один за одним спрямовувалися бойові досвідчені полки, що після війни поверталися додому з упореної фашистської Німеччини. У сутичках з оунівськими загонами солдати втрачали своїх бойових побратимів. І наливалися від того їхні серця ненавистю, що і досі обпікає ветеранську пам'ять.

Там у карпатських горах чи то забитий кулею, чи замордований у бандерівському схроні пропав без вісти батьків брат — фронтовий капітан Володимир Колос.

Не поділяю нічиєї ненависті. Бо мій кровний родич за наказом Сатани вогнем і мечем перетворював своїх братів на рабів.

Горюю лише від скорботи. За тими, хто зі зброєю в руках захищав свою домівку і свою сім'ю від нападників. Так само, як і за тими, хто під страхом смертної кари мусив увірватися у ту домівку, щоб вчинити там різанину. Хоч у тій борні, вбиваючи одне одного, зносили майбутнє нації, примножували сирітство на рідній землі і без того густо висіяне війною.

Раз по раз сердобольні жінки приводили до нашого дитячого будинку маленьких безбатченків і залишали просто на подвір'ї.

Якось під нашим парканом виховательі знайшли опухлого від голоду й запатланого, мов Мауглі, хлопчика років п'яти. Можливо він кілька літ разом з батьками — молодим подружжям вояків УПА — зростав у лісовому партизанському схроні і, Бог зна, скільки блукав після загибелі тата і мами, поки не надбивав нашу домівку. А може хтось його просто до нас запровадив.

Подивитися на дивакуватого зайду збіглися усі дітлахи. Він дуже погано розмовляв і намагався вкусити кожного, хто пробував його торкнутися. Вийдена вошами, потилиця хлопця була суцільною раною, а тіло геть усе вкрите коростою. Коли його стригли, волосся ворушилося від паразитів. Він не міг сказати, як його звуть, нічого не міг розповісти ні про своїх батьків, ні про місце колишнього проживання. Його так і назвали — Найда й за цим надуманим прізвиськом було виправлено свідоцтво про народження.

Коли його прилаштували у спальну кімнату, він забарикадувався за грубою, і якщо хтось туди заходив, жбурляв у нього торф'яними брикетами. Тож на кілька тижнів його мусили переселити до ізолятора.

Зрештою він таки вилюднів у гомінкому дитячому середовищі і, згодом, нічим уже не вирізнявся від усіх інших дітей.

Лихоліття, що пронеслось над прикарпатським краєм, зламало хреста на башті нашого храму, зірвало з нього сутану. Та не змогло вирвати з нього святу душу. Не випадково саме стіни старого монастиря зібрали дріб'язки потрощених сімей. Та навіть й дорослих з повнеченою долею.

Прибився до нашого дому й убогий Дмитро із збитковим розумом. Розповідали, що у тридцятих роках він перейшов Збруч, рятуючись від страшенного голоду, що викосив усе його село. На Прикарпатті він прижився, наймитував, пережив окупацію, а коли заснувався дитячий будинок, напросився працювати за харчі і за копійчану зарплату.

Зовні, начебто й нормальний чоловік, класний швець, він хворів на голодоболю. Щоразу під час сніданку, обіду чи вечері він, мов пес, стояв навпочіпки на порозі нашої їдальні. Ми зносили йому недоїдки. Залишки каші чи локшини він висипав собі за пазуху, а якщо вона туди не поміщалася, скидав чоботи і зсипав їжу у халави. Усе це він потім звалював у бочку в його комірчині, що була, водночас, і швецькою майстернею, і де він жив та ремонтував наше взуття. Часом, відриваючись від роботи, він ложкою сьорбав із тієї бочки, примовляючи: «Квасне!» Вже й не знаю, як він не отруївся від усього того.

Першим директором нашого дитячого будинку був чи то кадровий військовий, чи відставний гебіст. Підозрюю, що уся його педагогічна освіта обмежувалася двома підручниками — творами Антона Макаренка «Педагогічна поема» та «Прапори на баштах». За прикладом генія радянської педагогіки наш директор теж запровадив інституцію командирства. Це — щось на зразок нинішнього дитячого самоврядування.

Командирами груп призначались найдужчі хлопці, як правило, тупі і жорстокі, як мені нині видається. Більшість з них були переростками і за віком перевершували своїх однокласників на кілька років. Таким, в основному, й доручалось керувати створеними за віковим цензом загонами.

Стосунки у нашому дитячому середовищі були досить жорсткими. Я лише з часом зрозумів, як жахливо почувалися ті діти, які вирости у люблячій сім'ї, а, зрештою, через якісь там трагічні обставини потрапили до нас після втрати батьків.

Проте довколо тих «німців» — репатрійованих маленьких концтабірників — відразу ж створилася захисна атмосфера. Я не пам'ятаю, щоб хоч раз когось із них було викликано на бійку. Стар-

ші захищали їх, коли хтось ображав. Здавалось, робилось усе, щоб вони якнайшвидше забули про жакхливе минуле, про що нам не раз розповідали вихователі.

Тож коли одного разу у садовий закуток, де ми постійно потайки курили, влетів маленький Ваня Турчак і закричав: «Пацани, Синяк Криху трахає!», напевне у кожного пішов мороз по шкірі.

— Як трахає?

— А отак! — відповів Ваня візницьким жестом.

Криха був одним із тих п'ятьох. Видно над ним добре познущалися у концтаборі, бо у нього постійно випадала пряма кишка. А Синяк був переростком, одним із призначених командирів. Певне, коли йому виправляли втрачену метрику, то зменшили вік на кілька років, бо виглядав він набагато старшим і на підборідді його вже пробивався пушок, який він потайки часом збивав небезпечною бритвою.

До казарми бігли мовчки тісною гурбою. Туди, де наглим, потворним чином чинилося вбивство й без того знесиленої рабством душі.

...Двостворчаті двері кімнати з тріском розчахнулися. Синяк, підмикуючи штани, відскочив від Крихи. Вихопив бритву.

— Суки, не підходь, усіх порішу!

Не посмів. Чи не встиг. Був миттєво збитий з ніг й загорнутий у ковдру. Били довго і нещадно. Коли до кімнати увірвалися вихователі, стурбовані вихором, що пронісся подвір'ям, Синяк уже не сіпався.

У лікарні він таки виклигав. Але до нас уже не повернувся. Його направили до виправної колонії. А Криху перевели у інший дитячий будинок.

Попри напівголодне існування повоєнної країни годували нас, як на той вимір, досить пристойно. Однак раціон був примітивним і одноманітним до огиди. На сніданок, обід і вечерю видавалася порція перлової чи вівсяної каші, приправленої печінкою тріски. Й досі не розумію, як цей мерзенний харч нині став елітним делікатесом. Що ж до вівсяної каші, то вона нагадувала гливкий слизнявий згусток.

Якось хтось із хлопців з бешкету, чи роздратування запустив тарілку у стелю. Алюмінієвий посуд поволі відклеївся, упав на підлогу, а на стелі залишився вівсяний гриб. Затим почалася справжня вакханалія. Вгору одна за одною полетіли тарілки й за мить поверхня стелі стала геть уся бородавчатою.

Ніхто не помітив, як у їдальню зайшов директор. Коли один за одним всі таки порозсідалися по своїх місцях, він, не підвищуючи голосу, просто тихо сказав.

— Ви усі показалися від жиру. Хіба ви не знаєте, як харчуються ваші однокласники, сільські хлопці й дівчата?

Ми знали. На шкільних перервах вони гризли шматки макухи, схожі на уламки абразивного круга. Іноді ми вимінювали у хлопців печиво, що нам час від часу давали, на цигарки, чи тютюн, який вони під страхом кари викрадали у своїх батьків.

— Я прийду через дві години, — продовжував директор, — і прошу, щоб ви прибрали за собою усе це неподобство.

Він так і не прийшов, хоч ми до ночі зіставивши стіл на стіл вищипали стелю і вимивали підлогу. Не знаю, як хто, але я, та й, напевне ж, не лише я, відчували ніяковість від учиненого дикунства.

Після того випадку за якийсь час директор вибив для дитячого будинку землю. Нам виділили великий лан для зернових і площу під величезний город, де ми вирощували овочі. А за кілька років у нас вже було з десяток коней, стільки ж корів і з двадцять свиней. З усім отим господарством ми поралися самі.

Думаю, то було на нашій землі перше фермерське господарство, що працювало не на державу, а лише на власні потреби.

Із того далекого минулого я не можу і досі пояснити одну дивину. Двічі на рік нашу домівку обліплювали зграї журавлів. Може тому, що наша будівля була найвищою у селі, а може й, дійсно, із цієї місцини, струменів у небо якийсь енергетичний стовп, і птахи тут набиралися сили перед вирієм, або ж відновлювали їх, повертаючись із теплих країв. Їх було так багато, що вони не вміщувались на нашому зовсім не маленькому даху. Тож розташовувались і на прибудовах, і на довколишніх деревах.

У такі дні ми розсідалися перед будинком на траві і милувалися тією журавлиною тусовкою. Якось один відчайдух спробував журавля спіймати. Він вигулькнув із слухового горищанського вікна і схопив одного із птахів за ногу. Горда, сильна птиця, здатна одним ударом дзьоба пробити лисиці черепа, лише докірливо клюнула хлопця у руку.

Згадуючи той випадок, я починаю вірити у містичне припущення дагестанського поета Расула Гамзатова:

«Мені здається, часом, що солдати,
Які не повернулися з війни,
Не в землю нашу полягали спати —
На журавлів перетворилися вони...»

Вірю і в те, що справджуються навіть спогади. І за кожним, вкрапленим у цю оповідь словом, можливо, десь у планетарному закутку повторюється моя доля. Не гірша за інші. Як це не дико б сприймалось усталеним ставленням до сирітства, я із теплотою згадую, отой відтинок мого життя, що проліг від трьох до шістнадцяти років, до того рубежу, за яким для мене почалася виснажлива боротьба за виживання, до межі, крок через яку не залишив мені, правда, жодного шансу на самостійний вибір життєвої дороги.

...Влітку, після закінчення десятого класу мене викликав директор дитячого будинку.

— Колосе, ти разом з вихователем підготував документи для вступу до Львівського інституту художньо-прикладного мистецтва, — сказав він. — Ти хоч уявляєш, який там конкурс?

— Уявляю. То що?

— А те, що після твоїх вступних екзаменів на випадок провалу у мене на руках залишаться лише рознарядки до шахтарських ремісничих училищ. Професія, правда, почесна, але я б своїй дитині такої долі не зичив.

— Анатолію Михайловичу, зачекайте. Чому б це я мав обов'язково провалитися. Я ж — один з кращих учнів школи, мої роботи не раз відзначалися на дитячих художніх олімпіадах. Чим же я гірший за усіх отих «домашняків»?

— Не гірший. Але якщо у тебе є право і бажання ризикувати, то я не маю ні того, ні іншого. Тож за два дні ти відправляєшся до Стрия, де вступиш до технікуму механізації. На час екзаменів житимеш у тамтешньому дитячому будинку, а потім у гуртожитку. І жодного більше слова. Я все сказав.

Я підвівся і поплентався до виходу.

— Максиме, — зупинив він мене. — Пробач мені.

Я похитав головою і вийшов з кабінету. Я не знав ще тоді, що повернуся сюди лише через сорок років.

...За відрядженням від Асоціації міст України я брав участь у Міжнародній науково-практичній конференції з питань місцевого самоврядування, що проходила у Львівській області. До Верхньої Білки від Львова, що називається, рукою подати — кілометрів з 15, не більше. Однак регламент роботи був настільки щільним, що вирватись з нього було просто неможливо. Коли ж, по завершенні конференції, до від'їзду залишалися лічені години, я не витримав. Піймав таксі і рвонув у село.

Біля монастирської будівлі попросив водія зачекати. Як тут усе змінилося. Зникла череда могутніх, у декілька обхватів, тополь, що, немов почесна варта, вишикувались біля нашого монастиря і за переказами були висаджені ще козаками Богдана Хмельницького під час походу на Варшаву. Не було вже біля нашої криниці і старої груші, де щовесни селилася лелеча сім'я. Та й сама велична колись монастирська будівля виглядала захланною, як і більшість сільських шкіл у нашій Вітчизні.

Ні, усе це не видавалося мені чужим. Просто, стало іншим. Як і я сам, як і усе на цьому світі, що зношується, продираючись крізь терновище часу

Я поторсав вхідні двері. Вони були зачинені. Табличка на них сповіщала, що це — приміщення школи. Тож, зрозуміло — канікули. Сів на траву навпроти будівлі.

— Як же я скучив за тобою, домівонько моя рідна! — подумалось. — Як ти зістарилась! Як часто ти марила мені у випалених сонцем степах Казахстану, у алтайських степах і у вимерзлих просторах крайньої Півночі! Під твоїм дахом ми ж не знали ні голоду, ні холоду. У твоїх стінах ми отримували щеплення від підлості, вчилися любити, ненавидіти і відстоювати свою гідність.

Закрив долонями обличчя і подумки увійшов у будинок. Ось направо від входу — наш актовий зал, що служив колись для монахів молебнею. Там за алтарним підвищенням у маленькій захиращеній комірчині, певне, і досі зберігся придолівковий лаз, що вів у підземний хід, з якого можна було потрапити за територію нашого двору і про який, вочевидь, не знали вихователі. Наліво коридор вів до їдальні. Уявою піднявся на другий поверх і пройшовся спальними кімнатами. Затим забрався аж на горище, де, напевне, як і колись, панували зграї кажанів. Не думаю, що вони так легко, як ми, полишили свій притулок.

Хтось торкнувся мого плеча.

— Чоловіче, що ви тут робите? — запитав жіночий голос. — Зараз у школі нікого немає.

— Знаю, — не відриваючи долонь від обличчя, відповів я.

— Пане, — не відставала жінка. — Може вам недобре?

— Ні, все гаразд. Просто, я приїхав додому.

Моя любов

У п'ятдесятих роках минулого століття на Львівщині було тринадцять дитячих будинків. Якихось особливих зв'язків між ними не було. Хіба що зустрічалися діти двічі на рік на обласних олімпіадах дитячої творчості, дружилися, а потім листувалися між собою. Тому про резонансні події у тому, чи іншому притулку ми дізнавались відразу ж. Навіть тоді, коли їх намагались від нас приховати.

Так, скажімо, було, коли у Крехівському дитбудинку, що теж розміщувався на дворищі колишнього монастиря, за якусь провину хлопця зачинили в льоху і забули звільнити. А вночі його загризли пацюки.

У нашому дитячому будинку теж був глибокий монастирський льох. Його неодноразово використовували для покарання неслухняних. Однак після крехівської трагедії він раз і назавжди перестав бути для нас карцером.

Тож, коли з іншого дитячого будинку до нас перевели новеньку дівчину, за кілька днів уже усі знали — чому. Її згвалтував тамтешній директор.

Тільки гримуча суміш азійського і слов'янського етносу могла породити таку красу. У неї був персиковий колір обличчя і величезні подовженого розрізу пронизливо-сині очі, обрамлені густими смоляними віями. Навіть хода у неї була не підліткова, а величаво граційна, що досягається тривалим модельним вишколом. Це у неї було природним.

Вчинена над нею наруга виштовхнула її із дитинства у стан жіночності, у березневу її пору. Як зігріта першими проміннями сонця земля, вона випромінювала гаряче очікування весняного розквіту. І це виповнювало навколишність заворожуючою чарівністю.

У той зачаклований нею простір я потрапив відразу ж. Пробудження навіть найпохмурішим ранком виповнювало мене радісним передчуттям щастя. Я не усвідомлював, у чому воно полягало, поки переді мною не виринав її образ.

Усе єство моє жило потребою бачити її щохвилини. Я стежив за нею з вікон, я буквально переслідував її, а коли випадала нагода, намагався потрапити їй на очі. Однак, опиняючись у полі її зору, знічувався, не знаючи, куди себе подіти.

Це хмільне почуття відібрало спокій, наскрізь просочило мої сни, та, власне, і все моє життя наркотичною п'янкістю, а думки — яскравими барвами, якими я прикрашав її образ. Так у чотирнадцять років я став бранцем Любові.

Мені бракувало сміливості підійти і заговорити з нею. Проте відстань між нами, ставала все нестерпнішою. І одного разу я таки зважився подолати її.

Марина уникала компаній. Вона завжди усамітнювалась чи то з вишивкою, чи з книжкою. Я підійшов до неї і сів поруч на лавці.

— Що? — запитала вона за хвилину.

— Нічого.

Вона вдавала, що продовжує читати, проте я відчував, що це не так. І не помилився. Не втримавшись, вона пирскнула сміхом.

— Ну чого ти сидиш і мовчиш?

— Хочу почути, як ти смієшся. Це нікому, здається, ще не вдавалося, — сказав я.

— Почув? То йди гуляти з хлопцями в м'яча, а то почувеш, як вони сміятимуться з тебе, за те, що сидиш зі мною.

— А ти чому ніколи ні з ким не граєшся?

— Не хочу. Хлопці обзиваються. А дівчата теж не кращі. Ніби я завинила у чомусь, — обличчя її враз спохмурніло, стало, начебто, дорослішим.

— Знаєш, — вирвалось у мене, — я нікому не дозволю тебе ображати.

— Ти? — насмішкувато скинула вона на мене очі. — У тебе ж «погонялка» — «бздун».

Не знаю, звідки їй це стало відомо, але таке прізвисько, дійсно, було до мене приклеєне. Очевидно тому, що я завжди уникав бійок. Ні, як я вже казав, щоб не вкритись назавжди ганьбою, відмовитись від поєдинку я не міг. Але щойно він починався, я практично відразу ж зупиняв його, що дозволялось нашими правилами. Тож ні для кого я не був серйозним суперником у наших дитячих розборках, чим і заслужив славу боягузливого мямлі.

Тоді я ще не знав, що прохопившись словами, мовленими Марині, я загнав себе у пастку і дуже швидко за це мені довелося відповідати.

...Щоп'ятниці у нас був так званий «день омовенія», або день лазні. Кожен вихованець, як дівчата, так і хлопці, мали занести туди по п'ять відер води. Водогону у нас, зрозуміло, не було. Тож воду носили з криниці. У цей день біля неї збиралася черга.

Коли я підійшов туди, воду набирала Марина. Щойно вона корбою підняла відро, його у ту ж мить підхопив Дяк, який разом із Мавпою, очікуючи черги, стояв поряд. Зробивши «адью», він попрямував з відром до лазні.

— Придурок! — вигукнула навздогін дівчина.

Дяк поставив відро на землю і, зловісно посміхаючись, підійшов до неї.

— Стули писок, лярво! — сказав він і розчепіреними пальцями штрикнув у її обличчя. Дівчина злякано відсахнулась і, не втримавши рівновагу, упала.

Дяк верескливо зареготав і, підхопивши відро, пішов повз мене. Коли він порівнявся, я ударом ноги несподівано навіть для себе вибив відро з його рук. Дяк перелякано відскочив, а коли побачив мене, аж присів від подиву.

— А-а-а, це ти, курвин хвіст, — прошипів він. — Ти думаєш, ніхто не помічає, як ти, мов пес, ходиш за нею, а потім, напевне, десь дрович по закутках?

— Тобі й дровичи не треба, — хмілючи від власної сміливості, відповів я. — У тебе є твій улюблений пальчик, який ти висмоктав уже до кістки. А якщо цього тобі часом забракне, тебе, певне, задовольняє своїм мавпячим хвостиком твій дружок.

Він стрибнув на мене і наніс кілька блискавичних ударів. Не влучив жодного разу. Мавпа обхопив його за плечі.

— Дяк, — не тут. Кілька ударів по морді — для нього дешева плата. А ти, козел смердючий, — звернувся він до мене, — після того, як отримаєш задоволення від Дяка, відповіси уже переді мною.

Звістка про те, що «бздун» викликав Дяка, миттю облетіла все подвір'я. У «півнячому кутку» зібралася майже вся братва.

Я, відчуваючи від страху слабкість в колінах, стояв в оточенні густої юрби, що півлком оточила місце майбутньої бійки.

Дяк не поспішав. Випробовуючи мої нерви, він курил цигарку в оточенні своїх друзків і, перемовляючись з ними, раз по раз кидав на мене насмішкуваті погляди. Зрештою відкинув недопалок і не пішов, а побіг у мій бік. На мене стрімко накочувався згусток люті.

Я не раз бачив його у бійці. Як правило, це був із самого початку шалений натиск. Він міг несподівано вдарити ліктем, наблизившись впритул, а, часто, непомітно для оточуючих штрикнути пальцем у око супротивника чим відразу ж паралізовував його, а потім нещадно добивав. Навіть після очевидної капітуляції неможливо було відтягнути його від жертви. Вириваючись із рук пацанів, він намагався домордувати свою жертву. Ця шалена хижість і підступність лякали, і мало хто наважувався зв'язуватись з ним.

Його руки нагадували вітряк. За мить я опинився під цим віялом. Першу навалу я витримав і, на мій подив, вийшов з цієї молотарки практично неушкодженим. Видно спрацювала закладена у мене чи то природою, чи батьками якість, коли найменший порух повітря, а, може, навіть не усвідомлений посыл агресії і загрози виштовхує тіло, чи обличчя із небезпечної зони. Як жартував згодом один з моїх приятелів — хороший ніс завжди відчує наближення кулака. Такої загостреної реакції, цього звірячого інстинкту я за собою досі не знав. Вони не були відкриті мені, можливо, тому, що я ніколи до цього не втягувався у затяжну бійку.

Дяковий намір «порвати» мене за кілька хвилин не вдався і трохи знесилив його. Він, посміхаючись, кружляв довкола мене, готуючись до нового стрибка. Я сторожко обертався за ним і ненароком, ковзнувши поглядом вікнами першого поверху, побачив за шибкою її обличчя. Затиснувши рота долонею, вона дивилася на мене розширеними від жаху очима.

Все. Звідси мене можна було лише винести. Я прийняв Дякові правила гри. Не чекаючи поки він почне сам, я накинувся на нього. Це була жорстока рубанина. Не переймаючись захистом, ми, вмиваючись сльозами і кров'ю, хвилин десять місили одне одного.

— Пацани, досить! — почулися нарешті вигуки.

Проте нас вже нічого не могло зупинити. Моя майка була червоною й мокрою від крові. Заюшеним від обличчя до пояса був і Дяк. Після одного із зіткнень він таки впав. Я стояв над ним, очікуючи, поки він підведеться.

— Максо, досить, — торкнув мене за руку мій дружан Ромця Троян.

— Відвали, бо будеш наступним, — зиркнув я на нього.

— Та подивись, він уже ніякий.

— Поки я не почую його благальний писк, я його не облишу, — сказав я, відводячи Романа рукою.

Дяк уже почав повільно зводитись на ноги. Виглядав він, дійсно, страшнувато. Із носа прямо такі струменіла кров, а очі нагадували дві гулі, чиркнуті нитками вій.

Коли він випростався, я стрибнув до нього, але він викинув перед собою долоню.

— Завтра продовжимо.

Я повернувся і пішов крізь натовп, що розступався переді мною.

Наступного дня я викликав його знову. Жодного співчуття до нього я не відчував, хоч усе його обличчя було у синцях, а запухлі очі, по-моєму, взагалі нічого не могли бачити. Цього разу я змішав його з багном буквально за лічені хвилини.

Наступного дня я зустрів на подвір'ї Мавпу. Він хотів пройти повз мене, проте я заступив йому дорогу.

— Ну?

— Що — ну? — похмуро запитав він.

— Смердючий козел прийшов відповісти за свій «базар».
— Пішли! — зло відповів він, хоч видно було, цього йому не дуже хотілося.

Сутичка була не менш жорсткою, ніж із Дяком. Мавпа був майже на голову вищий за мене, у нього були довгі сильні руки, якими він раз-по-раз наносив потужні удари. Однак у нього не було того шаленого звірячого натиску, яким володів його дружок і який я перейняв у Дяка. Я пірнав під його руки і поки він не відривався на небезпечну для мене відстань, наносив якомога більше ударів. Він намагався знайти безпечну для себе дистанцію, однак це йому не вдалося.

Цього разу нас таки розвели хлопці. Мавпа був увесь закривавлений. Я, напевне, виглядав не краще за нього. Він не пообіцяв мені повторної зустрічі, і це мене задовольняло.

...Вона підійшла до мене, коли я під рукомийником змивав кров з обличчя.

— Що? — запитально повернувся я до неї.

— Я не думала, що ти можеш бути таким жорстким, — відповіла вона. — Ти учора і сьогодні нічим не відрізнявся від того скаженого шура — Дяка.

— А ти як хотіла? — запитав я потовченими губами.

— Я хочу, щоб ти був добрим.

— Так не буває, — помахав я перед її обличчям вказівним пальцем.

— Так повинно бути, — захопивши мій палець сказала вона.

Я висмикнув руку і пішов геть. За кілька кроків повернувся й перепитав:

— Треба бути добрим? До всіх? І до щурів теж? Так не буває. Тепер я це знаю точно. І ти це запам'ятай назавжди.

Зупинитися я вже не міг. Почалось полювання. Зла пам'ять вказувала мені на чергову жертву. Одного за одним я покарав практично кожного, хто будь-коли тим, чи іншим чином збиткувався наді мною.

Бійка для мене стала азартною забавою і перед сутичками я вже не відчував страху, а лише радісну тривогу, те, напевне, почуття, яке відчуває гравець перед зеленим столом рулетки.

Цей кураж я виніс згодом й за стіни дитячого будинку, коли став студентом технікуму. Вуличні бійки були більш жорстокими і небезпечнішими, проте смак перемоги у них був набагато гострішим і п'янкішим. Тим більше, що у нас сформувалася зграя колишніх дитдомівців, поява якої на танцмайданчику, чи у Будинку культури відразу ж вносила нервозність у атмосферу вечора. Часті міліція, не чекаючи можливих інцидентів, відразу жорстко вимагала покинути майданчик чи приміщення.

Якось мій приятель Юрко Соколюк запропонував записатись у секцію боксу, де він займався.

— Навіщо? — запитав я. — Я й так ловлю кайф від вуличних змагань, де я сам встановлюю правила.

— Нічого, одне одному не завадить. То як?

— Добре, згоден.

У величезному спортивному залі з одного боку гриміли залізом важковаговики, з іншого — на рингу тренувались боксери.

Їхній тренер, вислухавши Юрка, звелів мені роздягнутися. Постукав по м'язах.

— Нормально. Качок?

— Ні.

— Ще краще, м'язи не закріпачені.

І відразу ж різко запустив мені в обличчя руку, взуту у боксерську «лапу». Я прибрав голову — лише чиркнуло скроню.

— Ну-ну, — посміхнувся тренер. — Сергію! — покликав він старосту секції. — Промацай новачка. Тільки не перестарайся. Та й сам пильнуйся — хлопець, здається, непростий.

— А це ми зараз перевіримо, — пообіцяв той.

Тренер поплескав долонями.

— Один тренувальний раунд. Усім десять хвилин перерва. Ей, богатирі, — гукнув у протилежний куток спортзалу. — Перестаньте пердіти — у нас посвята у боксери.

Тренер штангістів погрозив йому кулаком, однак теж поплескав, і юні приборкувачі металу кинулись до рингу.

Я почувався незручно. Мене дратували коротко викладені мені правила поєдинку, шкіряні рукавиці, а ще більше — легковажна по-смішка на обличчі суперника, що свідчила про повну зневагу до суперника.

За своєю звичкою я відразу ж кинувся в атаку. Мій шалений напад він витримав спокійно. А кілька відчутних зустрічних ударів змусили мене потурбуватись про захист. На мить я із вдячністю подумав і про розмір боксерських рукавичок. Вони, а ще природна реакція досить надійно захищали мою голову. Проте я не звик і не вмів захищати корпус, на який він все частіше переносив свої удари. Бити під дих, як я вже казав, не шанувалося в узвичаєних для мене правилах. Я автоматично опускав руки і відразу ж його рукавиця знаходила моє підборіддя. Хоч і ковзом, але досить таки відчутно і неприємно.

Через досвід моїх численних вуличних сутичок я навряд чи вигадавав жертвою перед цим тренуванням спортсменом. Кілька неприємних моментів йому таки довелося пережити. Але ж, загалом, це була гра в одні ворота. Уникаючи його атак, я кружляв по рингу. Проте, коли я опинявся у кутку рингу, серія нещадних ударів буквально нищила мене.

Ніколи не думав, що три хвилини можуть видатися вічністю. Раз-по-раз я кидав благальний погляд на тренера, котрий увесь час був поряд, спостерігаючи за поєдинком. Проте він його не зупиняв.

— Серьога, — кінчай його! — лунали вигуки з юрби вболівальників.

Проте, це йому не вдавалося. Якби він бодай збив мене з ніг, гадаю, поєдинок був би негайно припинений. Однак я не падав. І це дратувало його.

Сергій уже не посміхався, працював на повну силу. Погляд його став жорстким і недобрим. Його авторитет старости секції з кожною хвилиною бою малів на очах у глядачів. Він уже навіть не переймався захистом. І цим поховав себе. Коли він, вихиляючись і розслаблено мотилиючи опущеними вздовж стегон руками, у черговий раз наблизився до мене, я у блискавичному стрибку кулаком заслав на його щелепу усі свої шістдесят п'ять кілограмів. І, ще не усвідомивши, що, власне, сталося, відчув звіряче торжество.

Мій суперник стояв переді мною на чотирьох кістках, намагаючись підвести від підлоги лоба. І тут я вчинив те, за що у дитячому будинку був би зневаженим, а то й покараним. Потужним копняком я перекинув його на спину. У ту ж мить від приголомшуючого удару відлетів на канати, що, sprужинивши, кинули мене на долівку.

Виходячи із стану ошелешеності, я побачив перед собою шалені очі тренера.

— Ти що — ідіот, чи скажений? — торсаючи мене, запитував він.

Підійшов керівник секції штангістів, обійняв його.

— Ну, брате, потишив. Спасибі. Це не посвята, а якась бандитська розбірка.

— Пішов ти знаєш куди? — роздратовано звільнив плечі наш тренер. — Ти — теж, — це вже до мене. — Гидко дивитись на тебе.

Я, розшнуровуючи зубами рукавиці, понуро пішов геть.

— Гей ти, футболісте придуркуватий, — гукнув він навздогін. — Тренування післязавтра о вісімнадцятій годині. Не запізнюватись.

Я вдячно посміхнувся і пірнув під канати.

Боксом активно я займався десь років із сім. Швидко долав розрядні рівні. Найвища сходинка моєї бійцівської кар'єри — друге місце у чемпіонаті Прикарпатського військового округу. Згодом мені набридло перебувати у лещатах спортивного режиму, який я й до того неодноразово порушував.

Із тих численних сутичок я згодом виніс кілька перевірених практикою правил: коли гризуться собаки, вага і зріст не мають значення. Головне — реакція і швидкість, помножені на шал. Як повторював Іван Богун, навчаючи молодих козаків шабельному бою: не треба сильно, треба швидко. А поразку, на мою думку, можна виправдати лише втратою свідомості.

Шалене, болісне перше кохання зробило затюканого книголюба воїном. Я пізнав ейфорію ризику, що лежить між страхом і болем, той наркотичний катарсис, заради якого варто щораз приборкувати страх, а потім вже зализувати рани.

Цьому пошукові чергової дози адреналіну поклав край випадок, що так, чи інакше мав колись статися.

На той час я працював механіком Екібастузького Будинку культури. У моєму підпорядкуванні налічувалось десь із двадцять чоловік — електрики, сантехніки, кочегари, радисти й кіномеханіки.

Я й у армії був командиром відділення, що складалося із півтора десятка солдат. Але ми були практично однолітками, а тут моїми підлеглими були переважно літні люди і це підсвідомо тішило мене й виповнювало начальницькою значимістю. Коли до мене хтось із підлеглих звертався із якимось питанням, я, як правило, зупиняв його й говорив: «Зайдіть до мене в кабінет і ми вирішимо цю проблему». Я й не задумувався тоді, яким дурником я виглядав у очах свого колективу. Можу лишень здогадуватись, як хлопці поза моєю спиною кепкували з моєї чванькуватості.

Моїм, так званим, кабінетом була невеличка кімната у величезному підвальному приміщенні, переплетеному інженерними мережами. Пошарпаний лежак, кривоногий стіл, телефон і люстерко на потертій шафі — от і весь антураж мого начальницького офісу.

Якось після закінчення міського шкільного балу, що затягнувся десь за північ, я, попрощався із хлопцями, котрі обслуговували вечір, і, за звичкою, почав нічний обхід свого величезного господарства. Передусім — підвал, вхід до якого був з вулиці.

Коли я підходив до рогу будинку, мене зупинило голосіння: «Хлопчики, ріднесенькі, не треба. Я благаю вас!»

Я виглянув зі свого закутка. За парковою алейкою кілька хлопців вовтузились довкола дівчини. У темряві білими крилами тріпались дівочі стегна, звучали виляски ляпасів.

Знову зойк і стогін: «Ну, не тре-е-еба!»

— Ти, шльондро, ще раз випустиш кігті, я тобі цим ножичком подовжу піхву аж до пупа.

Вибухова сила висмикнула мене із трясовини страху, жбурнула у ту вовтузню. Мовчки, без окрику я увірвався у гурт, з льоту ударом в голову збив «вершника» з дівочого тіла і уже, відчуючи, як звично накочується радісне шаленство бою, зав'юнився між хлопцями наносячи удари, незважаючи на зустрічні, а то й уникаючи їх. Ще краєм ока помітив дівочу постать, що із жалібним квилінням відділялася ледь освітленою вулицею, а потім — спалах.

З неземним дзвоном нестерпно сліпуче полум'я втягувало мене до себе крізь срібну руру. Я не відчував свого тіла, лише радісне спустошення. Аж раптом той божественний видзвін увірвався і знову поновився, поступово стихаючи.

Я з подивом спостерігав, як блякне білий вогняний вир у кінці тунелю, поступово перетворюючись на жовтий круг, аж поки не втопився, що дивлюся на повний місяць.

Була глуха ніч. Не знаю вже скільки я там пролежав. Щось муляло мені в спину. Намацав під собою наваху, загублену гвалтівни-

ками. Кожен порух віддавався різким болем в усьому тілі. Ледь уповз у підвал й дістався свого «кабінету». Із люстерка на шафі на мене глянуло чорне обличчя, Воно нагадувало суцільну пухлину, а скроня — імплантованого під шкіру їжака.

Викликав телефоном швидку допомогу і, вже знову втрачаючи свідомість, подумав, що із того срібного тунелю я міг би й не повернутися.

А згодом у лікарні, де я провів більш, як півтора місяця, після тривалих роздумів, у які часом просочувалась образа на урятовану від ганьби дівчинку за те, що вона нікого не покликала мені на допомогу, я таки дійшов висновку, що на сто процентів виграною можна вважати лише ту бійку, якої удалося уникнути. Потрошені ребра постійно нагадують мені про це.

* * *

...На той час, коли ми закінчували сьомий клас, вийшла урядова ухвала, за якою у дитячих будинках дозволялося утримувати до закінчення десятирічки тих вихованців, які навчалися на відмінно. Я залишався. А мої однокласники відряджались хто в училища, хто у технікуми. Марину направляли у швейне ремісниче училище. Увечері, напередодні її від'їзду, я, як завжди, підсів до неї на лавку, де вона зазвичай висиджувала.

— Ти мені нічого не хочеш на прощання сказати? — запитав я.

— Будь добрим! — відповіла вона.

— Ми про це вже з тобою переговорювали.

— Однак ти не з'явився.

— Маринко, хочу тебе запитати ось про що. Ти у нас уже півроку. І за цей час ні з ким не здружилася, нема у тебе жодної подруги, завжди про щось думаєш, мов напівсонна. Тобі ж лише п'ятнадцятий рік, а живеш мов стара черниця. Так не можна.

— Мені жити взагалі не хочеться. Я ненавиджу себе.

— Це з-за того?.. — маючи на увазі глум, який вона пережила, запитав я.

Якби мене раптово вдарив грім, це не приголомшило б більше, ніж її відповідь. Вона, виклично скинувши голову, відповіла.

— Так, з-за нього! Ти не знаєш, який він гарний, розумний і добрий. Він не гвалтував мене. Це я його любила. А зараз він гниє у тюрмі. І я не захистила його жодним словом.

І з тим гірко заридала.

У моїх грудях нараз вибухнула обпалююча порожнеча. Стугоніло у голові, задушливий пекучий вихор розривав усе моє єство. Я ще не розумів, що то у нещадному герці зійшлися любов і ненависть, і назва тому борінню — ревності. З роками у тому змаганні любов таки

перемогла і моє перше кохання назавжди так і залишилося яскравою блискіткою моєї юності. А тоді мені хотілося, щоб їй було боляче так само, як мені.

— Ти, заступнице задрипана, хто б тебе слухав. Розкрила б рота, ще й у колонію б загриміла. А твій отой гарний най би і згнів у тюрмі. Розумненький, кажеш, добренький? Ха-ха! — передражнив я її, підвівся і пішов геть.

Я не став її заспокоювати, хоч знав, що був єдиним у нашій дитячій родині, перед ким вона могла розчохнути свою душу, щоб вихлюпнути з неї обтяжливу таїну і пекуче почуття провини. Та і зважилася зробити це, напевне, лиш тому, що назавтра мала назавжди покинути наш дім. Краще б вона не відкривалась переді мною.

Наступного ранку вони виїздили. Через вікно я спостерігав за гуртом хлопців і дівчат, котрі у кузові вантажівки очікували відправлення. Марина про щось перемовлялась із Ромкою Трояном, озираючи подвір'я. І лише, коли машина рушила, вона помітила мене у вікні. Наші погляди зчепилися і той кількахвилинний зв'язок, мов лопнута гітарна струна зі стогоном увірвався, як тільки-но машина зникла за воротами. Назавжди.

...Відтоді, здавалось, минула ціла вічність. Я об'їхав пів світу. Перебрав кілька десятків професій. Ким я тільки не був: трактористом, комбайнером, інженером-конструктором, художником, машиністом крокуючого екскаватора і, навіть, старателем на золотих копальнях Крайньої Півночі. Я, мов гусак, навчився усього: плавати, бігати, літати, й нічого — путньо. Тож, вибираючи подальший життєвий шлях, як і чимало творчих розхристанців, пішов у журналістику.

І коли, як у кожного журналіста, моє прізвище згодом стало публічним, якось на моєму робочому столі задзвонив телефон.

— Це вас турбує ваш слухач такий собі громадянин Роман Троян. Я можу поспілкуватись із журналістом Максимом Колосом?

— Я вас слухаю.

— Ви часом не виховувались у...

— Не часом, а більше тринадцяти років, чортів Троянчику, — закричав я в слухавку. — Звідки ти телефонуєш?

— Я — тут, на Хрещатику. У відрядження приїхав до Києва.

Ми зустрілися біля поштамту. Роман, як він розповів мені, вже був начальником цеху на Львівському автобусному заводі. Ми знайшли затишне кафе і відразу ж занурилися спогадами у дитинство і допізна не могли з нього випірнути.

Зупинитися у мене вдома Роман відмовився, бо мав рано від'їжджати. І вже, прощаючись біля готелю, ляснув собі долонею лоба.

— Ой, зовсім із голови вилетіло. Ти ще пам'ятаєш Марину, через яку колись влаштував справжню бійню?

— Ну, не зовсім — бійню, і не зовсім через неї. Просто, настав, очевидно, час стверджуватись. А про Маринку — як я її можу забути?

— Немає Марини, — зітхнув він.

— Що трапилось? — холонучи, запитав я.

— Після дитячого будинку, ми з нею підтримували зв'язок. Через неї я й познайомився зі своєю дружиною, яка разом з Мариною навчалася у ремісничому училищі, а потім працювала на швейній фабриці. Вона була кращою її подругою, часто бувала у нас вдома. Ми й тебе не раз згадували. Коли вона вийшла заміж, зустрічатись стали рідше. Згодом чоловік заборонив їй працювати, а зрештою з ревности забив її до смерті. І сам покінчив життя самогубством. Згадувати моторошно. Поряд з нею ліг серцем на двадцятисантиметровий цвях, забитий у дошку.

Я їхав додому, а перед моїми очима раз-по-раз спалахувала бездонна синь її очей і обличчя, освічене полохливою посмішкою. «Будь добрим», — пригадалися її слова, зронені при прощанні. Не до мене вона зверталася. То було заклинання того світу, що чатував на неї за порогом її тимчасового притулку.

Її краса не могла не стати об'єктом масованої похитливої облоги, спокусливої, усипаної солодкими обіцянками, перед якими безрідній дівчині непросто було встояти.

Може чоловік її й не був людиною недоброю. Просто, втомився боронити від численних зазіхань даровану йому долею коштовність, і він вирішив її знищити, вірніше — забрати з собою у потойбіччя.

А для мене на цьому світі згасла зіронька, якою я не встиг, а, може, й ніколи не зміг би намилюватись.

Моя мати

Вперше вона прийшла до мене уві сні. Молода, красива жінка, уся у білому, легко летіла мені назустріч квітучим сонячним лугом, розкинувши руки, якими тискала кінці білої хустки, накинutoї на плечі. І над барвистим покровом луки, що вкривав її до поясу, вона видавалася мені чи то білою лебідкою, чи лелекою.

Я, гукаючи її, теж біг до неї, зашпортувався у квітковому плетиві, падав, виборсувався з нього, жахаючись, що видиво зникне. Воно не зникало. Вона долетіла до мене, підхопили в свої пухнасті обійми, зацілувала і понесла до ліжечка у казковому палаці. Поклала мене на сніжно — білу постіль.

— Я принесла тобі подарунок, — сказала вона, кладучи пакуночок цукерок під подушку. — Завтра я знову прийду до тебе.

Своїм прощальним поцілунком вона розбудила мене. На моє ліжко падало місячне світло. Серце пташкою тріпалось у груднині, билось об її ребра і від того гупання мав би пробудитись увесь білий світ. А наша дитяча казарма дихала десятим сном. Тишу порушували лише тихе сопіння і сонне бурмотіння.

Мій сон був для мене настільки реальним, що я кинувся шукати дарований мені пакуночок. Його, зрозуміло, під подушкою не було. Я панічно обмацав усі її шви, потім почав нишпорити під матрацом. Цукерок не було і там. Я поліз під ліжко — може туди десь впало. Ні, там я теж не знайшов нічого.

І тоді я, сидячи на підлозі, гірко заплакав. Я плакав все голосніше. Я кликав маму. Мені здавалося, що вона десь недалеко. Я й не почув, як у спальню тихо увійшла чергова — нічна няня, як ми її називали.

Вона підхопила мене на руки, поклала у ліжко, укрила ковдрою.

— Спи, дитинко, мама повернеться, — лагідно дурила вона мене.

І тихо заспівала пісню без слів Вона погладжувала мою голову доти, поки я, схлипуючи під її теплою рукою, не розчинився у сні.

Відтоді вона не приснилася мені жодного разу. А згодом слово «мати», взагалі стало для мене холодною лексичною цеглинкою. Побачити її у житті я ніколи не сподівався. Проте наша зустріч таки відбулася зовсім несподіваним для мене чином.

...Сестра мого батька, тітка Параска перед війною за оргнабором поїхала працювати в Донбас. Там вона побралася з молодим шахтарем Прокопом. Той вступив до військового училища і війну зустрів молодим лейтенантом. Вийшов із неї посіченим шрамами полковником. Був призначений комендантом невеличкого німецького містечка і десь у середині п'ятдесятих років пішов у відставку.

Разом з тіткою оселився в Одесі і, використовуючи свій авторитет розпочав пошуки племінників. Як виявилось, багато зусиль для цього докласти не довелось. Через столичний відділ народної освіти досить швидко потрібні відомості вдалося знайти у архівах.

На той час я уже перейшов у десятий клас. На зустріч з віднайденими родичами їхав у супроводі моєї старшої сестри, яка з дитячого будинку вийшла на кілька років раніше і закінчувала залізничний технікум. У поїзді заснути я не міг. Намагався відтворити у пам'яті обличчя матері, уявити майбутню з нею зустріч і не міг.

Коли ми з сестрою опинилися перед хвірткою у дерев'яному паркані на вулиці Обсерваторній, я зупинився.

— Іди першою, — сказав сестрі.

Вона, сміючись, штурхнула мене поперед себе і я опинився... Дежа вю! У моїй свідомості замигтіли виблиски спогадів. Я вже був тут колись, начебто у іншому житті, бачив цей затишний старий київський дворик, який часто називають одеським. До болю знайомим видався і цей невеличкий майданчик, півколом оточений кількома одноповерховими будиночками. Праворуч столик для доміношників, зліва — водяна колонка, білизна, розвішана на мотузках по усьому подвір'ї, кілька квітникових клаптів — от і вся картина, що відтворилася у моїй пам'яті.

Мені вже не потрібно було вказувати дорогу. З будиночка напроти хвіртки на мене підсліпувато вдивлялися два віконця, що лежали просто на асфальті. Знав: там, у напівпідвальному приміщенні — моя колиска. Там вперше заклацав годинник моєї долі, і там на мене очікувала людина, яка дала мені життя.

Можуть відпочивати мексиканські мильні кіносеріали, де матері десятиліттями розшукують своїх загublених синів у той час, як вони у сусідньому дворі розважаються з дівчатами.

Моя зустріч з матір'ю не супроводжувалась ні сльозами, ні, тим паче, голосінням. Вона коротко обняла мене, наче ми розлучилися лише кілька днів тому. Відтулилась на мить й докірливо запитала.

— Що, вже й маму не можеш обняти?

Я промовчав. Сліз боюся більше, ніж погроз. Проте не вірю й людям, котрі не вміють плакати. Дарма заглядати їм у душу — там чорно. Бо нічим змити з душі той попіл, що залишають по собі спалахи гніву, люті, ненависті, заздрощів й від невгамовного розпачу. Від того нашарування душа поступово втрачає чутливість. Такою я сприйняв свою матір. Це сприйняття підсилив ще й дріб'язковий інцидент, що стався, коли ми увійшли в квартиру.

До неї ми спустилися сходами. Відразу ж за вхідними дверима розміщувалась крихітна туалетна комірчина, раковина з краном і наполовину з'їдена іржею стара газова плита. З цієї так званої вітальні двері вели у невеличку кімнату десь у дев'ять квадратних метрів. Умебльована вона була двома вузькими лежанками. На одній з них, що належала моїй молодшій сестричці, лежала пластмасова лялька. Я взяв її в руки і вона, кліпнувши очима чітко промовила: «Мама». Я повертав її ще і ще, поки це слово не стало нагадувати жалібне нявчання кошеняти.

— Ти що, ляльки ніколи не бачив, — роздратовано запитала мати. Поклади на місце!

Я таки цієї зворушливої дивини не бачив ніколи. Наші дівчатка бавилися лише ганчір'яними ляльками, яких робили самі. А мати, ніби відчувши що сказала щось не те і не так, замовкла. Ми десь з хвилину мовчки дивилися одне на одного.

— Так, не бачив ніколи, — сказав я нарешті і жбурнувши ляльку на ковдру, вийшов з квартири.

Наступного ранку, за звичкою, я умивався на подвір'ї холодною водою з-під колонки.

— Максиме! — покликала мене літня жінка, яка сиділа поряд на лавці. — Ходи, до мене, побалакаємо.

Я, витираючи рушником торс, слухняно сів поруч.

— Мене звуть тьотя Рая. Я ваша сусідка.

— Я це зрозумів.

— Ти не любиш свою маму? Вона жалілася мені.

Я не знаючи, що їй на це відповісти, знизав плечима.

— То я тобі розповім, синку, про неї, а ти послухай. Може й зрозумієш її. Я усіх тут знаю, бо й народилася у цьому дворі. Твій батько був пожежником, а мама — двірничихою, як і зараз. Поселилися вони тут якраз перед війною. Боже, якою вона була гарною! Батько твій її страшенно любив. Баби пліткували, що він вечорами миє її ноги і заздрили, а чоловіки кепкували, але — поза очі. Боялись, бо Антон був дужим чоловіком і характером різкий. Мобілізували його відразу ж, щойно почалася війна. Кілька місяців не було від нього жодної звістки.

Якось у наш двір зайшла якась жінка і передала, що Антон знаходиться у Дарницькому концтаборі. Просив, щоб Ольга прийшла і викупила його. Тоді, як нашу армію розбили під Києвом, багато солдат потрапили в полон. Німці не знали куди їх дівати, де і як утримувати. Дарницький концтабір на той час був просто пустирем, огороженим колючим дротом. Полонені валялися там у багнюці просто неба. Годували їх вареною бруквою.

Настрій у фашистів тоді був хороший. А як же! Україну забрали за кілька місяців, ішли на Москву. І полонених тоді можна було, дійсно, викупити. Віддавали родичам за золото. Я Ользі тоді свою обручку віддала.

Вона привела його зовсім виснаженого, пораненого. Ольга його виходила. Він довго переховувався. То тут, то на селі у своїх батьків. А коли наші вже посунули на Київ, пішов за лінію фронту. А вже взимку 44-го прийшла похоронка, де було написано, що він загинув третього листопада сорок третього року у битві за Київ і похований у Пущі-Водиці. А наше місто було звільнене шостого листопада. Тож йому не пощастило зробити ще три кроки, щоб дійти до дому.

Отак вона стала самотньою. Зовсім молодюсінька вдова з двома дітками на руках. У перші повоєнні роки важко жилося усім. Але ваша сім'я просто гинула на очах. Ти хворів на рахіт. Ніженьки худючі, криві, а живіт ляпав по колінах. Ніколи б не повірила, що ти виростеш так гарно складеним. Мати відвезла вас із сестрою у село до батькових родичів.

А згодом за нею почав упадати якийсь молодий офіцерик. Ользі було лиш 25 років, красунею була видною. Жити хотілося і щастя. Казала: «От вийду заміж і дітей заберу». Та не судилося. Тільки-но вона завагітніла, так офіцерик той і щез, мов булька на воді. А у селі як дізналися, що вона чекає дитину, так відразу ж і вас її віддали. Вона, мовляв, там гуляє, а ми її дітей годуємо. Це вже був край перед прірвою. Усіх вас витягнути вона аж ніяк не могла. Хотіла здати вас у дитячий будинок, але напівсиріт не брали. І тоді її сестра відвела вас до притулку і покинула там, залишивши вам документи. Вірине свідоцтво про народження і твою церковну довідку про хрестини. Отак ви втратили дім. Ольга дуже переживала, а потім заспокоїлась. Казала: «Їм там краще буде». А сама залишилась із вашою молодшою сестричкою Людочкою, яку народила від того жевжика-

офіцера. Ось така сумна історія вашої сім'ї. Так що не ображайся на маму і не ображай її. Вона добре натерпілася за своє життя.

— Добре, я все зрозумів.

— Зачекай, не все. Ти, певне, хочеш зрозуміти, чому я втручаюся у вашу сім'ю.

— Хочу.

— А тому, що твоїй матері я завдячую життям. Невдовзі, після того, як німці захопили Київ, по всьому місту були розвішані об'яви, за якими усі євреї повинні були з найнеобхіднішими і найдорожчими речами з'явитися на збірні пункти. Я і почала збиратися. За тим мене і застала Ольга.

— Не ходи туди, — застерегла вона — там щось недобре задумано. Чи, думаєш, вам якісь коржі там будуть роздавати?

— Я не можу. Боюсь покарання за ослух.

— Боїшся, — розлютилася вона. — Боятимешся ще більше, як підеш Бог зна куди.

За тими словами, не питаючи мене, порозкидала по квартирі вже зібрані у валізу речі.

А вже з порогу додала:

— І не подумай!

А потім почалося. По вулиці Фрунзе (за часів німецької окупації вона називалася Лембергштрассе) ночами ішли колони до Бабиного яру. Голосіння, постріли, собачий гавкіт. Це ж усьогось — за сто п'ятдесят метрів від нашого дому. Я не могла спати, сиділа, тремтячи від страху. Щовечора до мене заходила Ольга.

— Раю, — казала вона мені. — Не бійся. Ти ж зовсім не схожа на єврею. А з наших сусідів ніхто тебе не продасть.

Ніхто не продав. Але й ніхто із сусідів нічим не ризикував. Ризикувала лише Ольга, як своєю головою, так і головою своєї дочки — своєї старшої сестри. Бо вона, як двірничка, зобов'язана була під страхом смерті подавати відповідні відомості до міської управи. Тож зрозумій її. Вона не може знайти до тебе дороги.

Я все розумів. Однак прокласти стежину одне до одного ми так і не змогли. Я не знайшов слів, щоб гукнути її, вона — теж. Проживання у материнському домі дедалі більше віддавало чужиною, ставало нестерпним. Наступного дня сказав про це сестрі.

— Нічого, потерпиш, — відповіла вона. — Нам все одно завтра їхати на село до батькової рідні. Це недалеко, під Борисполем. Туди, до речі, вже приїхали з Одеси і тітка Паша і дядько Прокіп. Чекають на нас. Тим більше, що мати туди їхати не хоче.

На нас, дійсно, чекали. Відчинивши хвіртку батькового обійстя, першим побачив діда, котрий сидів на призьбі. При моїй появі люлька випала у нього з рота. Він важко підвівся і, простягнувши перед собою руки, подибав до мене. Наблизився, упав на груди, уперся своїм сивим їжачком у моє обличчя і зайшовся плачем.

— Я знав, що побачу вас, — схлипував він. — Ви ж наші першенькі онученьки.

Я обняв його висохлі кістляві плечі.

— Годі, діду! Заспокойтесь. Я вже тут, живий, здоровий.

— Живий, таки — живий, — повторив за мною дід. — А вони ж усі казали, що мати вас утопила у Дніпрі. А я не вірив. Тому й дожив. Мені ж, дитинко моя, уже дев'яносто п'ятий пішов. Тепер і помирати не жаль.

— Хто тут збирається помирати? Ти, тату, і думати про це забудь. Сторіччя твоє ще обмивати будемо.

З хати виходила дорідна жінка у городському вбранні. Відразу ж зрозумів: то — тітка Параска — батькова старша сестра. Вона обняла мене, мовчки притиснула до грудей, і я принишк у її м'яких обіймах, відчуваючи, як на мою стрижену голову спливають теплі краплини сліз. За мить я опинився у мугутніх обіймах дядька Прокопа.

Увечері за столом зібралася уся наша рідня. Четверо батькових сестер і брат. З-за гульбаннячого стола мене, як малолітку, відразу ж виперли. Я вмовстився на печі і невдовзі задрімав. Проснувся від того, що розмірений застільний гомін набув скандальної гучності. — Як ви могли віддати їх матері, — гримів дядько Прокоп. — Ви ж розуміли, що вона їх не витягне. А я ж увесь цей час переказував вам з Німеччини гроші.

— Ми не могли. У нас тоді здохла корова.

— Корова не здихає десять років поспіль. А гроші ви десять літ отримували і мовчали, що дітей біля вас нема.

— Прокопе, ми завинили перед тобою. Але ти зрозумій і нас...

— Не зрозумію, — гримнув він важким кулаком по столу, аж миски і пляшки поперекидалися. — І не переді мною ви завинили. І, навіть, не перед дітьми, бо виросли вони зігрітими і нагодованими. А винні ви перед братом своїм загиблим. І від провини цієї вам не відмитися довіку. Така велика рідня... Ех, ви! — і схилив захмелілу голову на долоні.

Я тихо сповз з лежанки і вислизнув на подвір'я. Сів на призьбі. Дрімив хутір, сповитий медвяною млістою. У темно-синьому оксамитовому небі викреслював свої загадкові письмена космос. Чи то прощальним, чи вітальним спалахом серпневі зорі запрошували загадати бажання. Загадував не раз — не справджуються.

У дзвінкій тиші крізь листву прошелестіло падаюче яблуко, пошепки прощаючись із матір'ю. Гупнуло об землю, повідомляючи світ про перехід у інший життєвий вимір.

Пригадалася паскудна приказка, якою, зазвичай, паплюжать той, чи інший родовід. Так, недалеко від яблука падає яблуко. Адже ж не втрачає воно від того своєї вартістності. Все залежить від того, у чиїх руках опиниться. Або ж стане даром Божим, або залишиться символом первородного гріха. А то і загниває, якщо вже зовсім нікому непотрібне.

Нечутно підійшла тітка Параска. Поклала руку на голову.

— Що, Максимко, розстроївся?

— Тьотю Пашо, я хочу додому.

— Який то дім, синку. То сиротинець. Ти ж зараз сидиш біля батьківської хати. Для мене тут і досі — дух мого брата. А ми, до речі, з Прокопом вирішили забрати тебе з дитячого будинку. Одеса, море, закінчиш десятирічку. Вступиш до інституту. Все ж таки ми кровна рідня.

— Тьотю Пашо, вам мало клопоту? То ви його будете мати, — засміявся я.

Обійняв її, поцілував, завмер на хвилику біля її плеча.

— Вибачте мені, тьотю, але я хочу додому. Не ображайтесь. І дядькові усе поясніть.

За два дні ми із сестрою вже вирушали на захід. Із кожним ударом вагонних коліс я позбавлявся відчуття викинутої на сушу риби. Я повертався у те середовище, де, здавалося, й народився. Де, я знав, немає дворушності, де миттєво каралася підлість і де найжорсткіші сутички не множили тобі ворогів. Я повертався у сім'ю.

...До армії я був закликаний з Казахстану. А служив в Україні. Після демобілізації, за існуючими тоді правилами, мусив повернутися до місця призову. Дорога туди пролягала через Київ, тож я взяв у столичному військоматі десятиденне відкріплення.

Моя сестра після закінчення залізничного технікуму певний час працювала черговою на станції Шепетівка. А коли у Києві відкривали першу чергу метрополітену, з усієї Південно-Західної залізниці зібрали молодих спеціалістів, які після підготовчих курсів у Москві, почали експлуатацію метро. У їх число потрапила й моя сестра. У Києві вона вийшла заміж за машиніста метрополітенівського поїзда. У неї й я збирався зупинитись.

У перший же день за вечерею мій зять запитав мене.

— Слухай, а чого це ти маєш їхати у той Казахстан. Ти тут народився, твоя мати тут живе. Вона тебе пропише і знову станеш киянином. Тож і мандри твої закінчаться.

— Не знаю, Валеро, боюсь, мати не захоче. Та й просити я не вмію. Соромно.

— Драсте! Чого ж тут соромитись? І чом би це вона не захотіла прописати свого сина. Це ж вірняк, проблем не бачу. Оце завтра й поїдемо до неї.

На той час на місті старого київського дворику на Обсерваторній вже побудували бетонну коробку, а тутешніх мешканців розселили на периферійних масивах. Мати отримала двокімнатну квартиру в Святошині. Помешкання у порівнянні з тією напівпідвальною норою на Обсерваторній — просто розкішне. Жила вона там з дочкою, моєю молодшою сестричкою Людою. Зустріла нас привітно, але насторожено.

Після півгодинної розмови ні про що, Валерій нарешті підійшов до суті нашого візиту. Як ми заздалегідь домовились, у розмову я не встрявав. Мати уважно слухала, раз-по-раз кидаючи на мене сторожкий погляд.

Коли Валерій закінчив, вона кілька хвилин мовчала, покусуючи губи.

— Він мене не любить і слухатись не буде, — сказала вона нарешті.

— Ну чого б це він мав слухатись? Доросла ж людина. До того ж він і не житиме у вас. Ви його пропишіть, а ми його влаштуємо у гуртожиток.

— Ага, — звузила вона очі. — Житиме у гуртожитку, а потім намагає відсудити у мене пів квартири. Він же буде мати право на це?

Я рвучко підвівся, відкинувши ногою стільця.

— Як вам не соромно, мамо? — невільно вихопилося у мене.

У вітальні зірвав з вішалки шинелю. Я ненавидів себе. Не через те, що, принизившись до жебрацтва, став опущеним прохачем. А тому, що під ноги людини, котру я до цього бачив лише раз, кинув слово друге за святістю після імені Господа, що вихоплюється у людини, коли — щастя, коли — горе, коли — розпач, коли нестерпно болить і навіть тоді, коли смерть дивиться у вічі.

Валерій вискочив услід за мною. Вхопив за рукав.

— Максиме, не гарячкуй. Вона погодиться.

— Ва-ле-ра! — крізь зуби по складах процідив я, висмикнувши руку.

— Ну, як знаєш. Я хотів, як краще. А ти — даремно. Вона передумає.

Вона не передумала. Видно порадиласть із сусідками. Змішала свої сумніви із сторонніми пересторогами і у тій брудній суміші втопила материнський інстинкт.

Наступного дня мати прийшла до сестри на роботу і сказала, що прописувати мене не збирається. За тим я перервав у столичному військоматі свій десятиденний тайм-аут і через тиждень мене вже зустрічав лютим морозом засніжений Екібастуз.

Проїшли роки. Після тривалих мандрів я таки повернувся до Києва із золотих копалень, вступив до житлового кооперативу і влаштувався на роботу машиністом ескалаторів на метрополітенівській станції «Політехнічний інститут». До мене часто забігала молодша сестричка Люда, яка на той час навчалася у КПІ. Ми з нею напрочуд швидко і легко подружилися.

— Максо, — якось сказала вона. — Чого ти мучаєшся у тому гуртожитку. Повертайся додому.

— Для чого? У мене за кілька місяців буде своя квартира.

— Ти ображаєшся на маму за те, що після армії не прописала тебе? Вона тепер жалкує й переживає сильно.

— Не суддя я твоєї мамі. І зовсім не ображаюсь.

— Чому це — моєї мамі? Хіба для тебе вона не є мамою.

— Я не знаю, що це таке.

— То ти мені й не брат? — лягнула мене по обличчю й пішла.

Відтоді минуло з десятків років. Якось до мене зателефонувала сестра.

— Наша мама померла, — сказала вона. — Сусідки передали, що перед смертю вона дуже просила, щоб ми прийшли поховати її.

Коли ми приїхали до будинку на Метробудівській вулиці, де ми з Валерієм умовляли її прописати мене після армії, труна вже стояла біля під'їзду.

Людей було небагато — сусіди і сторонні зіваки, яких завжди привертає спогляд чужого горя. Я вдивлявся у біле обличчя матері, згадував розповіді тітки Раї із затишного київського дворика на Обсерваторній, і незнайоме мені до цього почуття скорботи чим далі, тим дужче переповнювало серце.

— Хто це? — почув я шепіт за своєю спиною.

— Це ж її син — Максим. Вона хворіла на рак. Боже, як вона важко помирала, як вона кликала його перед смертю! Я завинила перед ним, — кричала вона.

— Та я ж Ольгу знаю зовсім недавно. Просто ніколи не бачила її дітей.

— У неї їх було троє. Старша дочка, оно стоїть, красива така чорнява жіночка. Максим — середній. Вона їх ще маленькими у дитячий притулок здала. А наймолодша — Людочка, що біля неї залишилася, померла після перших пологів. Лікарі плаценту як слід не вичистили, то вона й згоріла за ніч.

— Це Ольгу Бог покарав, що дітей по світу порозкидала. Спочатку найменшеньку забрав, а потім і її на муки прирік.

Я рвучко обернувся.

— Співчуваємо, співчуваємо, — залопотіли жінки, злодійкувато ховаючи очі.

Знали: не мають вони права її засуджувати. Такого права не мав навіть я. Бо непідсудні своїм дітям матері. А тим більше — ця, що лежала перед нами в труні. Вона вже відійшла за межу і наближалась до Суду Господнього. А свою пошарпану долю залишила у споминах тих, хто її знав.

Один із спогадів чиркнув і по моїй пам'яті, викресав саяво квітучого лугу, над яким назустріч малюкові летів білий лелека. І коли розпорядники поховання запросили прощатися з покійною, я підсвідомим порухом нахилився над домовиною і міцно притиснувся щоким до холодного материнського обличчя.

Мій світ

На березі Дніпра у нас є будиночок, де ми проводимо вихідні і відпустку.

— Хочеш познайомитись з колегами? — якось запитав мій син.

- З журналістами?
- Ні. З дитдомівцями.

...Їх було четверо. Жили вони у невеличкому наметі на березі річки. Коли ми туди прийшли, до них якраз приїхали їхні посестри з дитячого будинку. Вони на той час вже десь працювали, чи бог-зна підробляли чимось. Дівчата привезли хлопцям продукти. Варили куліш. Пили чай. Знайомились.

Троє з них після дитячого будинку закінчили професійно-технічні училища, однак на роботу ніхто так і не зміг влаштуватись. В країні шаленіла безробітниця. Депресійна ситуація поглинала класних фахівців, переживувала їх і викидала на базарний смітник. А молодим спеціалістам взагалі у цьому просторі не знаходилося місця.

Незаперечним вожаком у цій безпритульній зграйці був, безперечно, Андрій. Він розповів мені, що його за якусь там провину виключили із технікуму. Щось тут було не так. За радянських часів це було б просто неможливим.

...У технікумі я навчався неохоче, часто пропускав заняття. А у гуртожитку міг влаштувати часом такий шарварок, що наступного дня мене удостоював своїм прийомом директор. Це був могутній чоловік височенного зросту. У нього і прізвище було Дуб, що абсолютно відповідало його фактурі. Зустрічалися ми з ним неодноразово.

Я терпляче вислуховував його проповіді, обіцяв, що подібного більше не буде. Проте випробування директорських нервів довго тривати не могло.

Після чергової витівки він знову викликав мене до себе.

— Колосе, я втомився від тебе, — сказав він. — Ти відібрав вже у мене добрий шмат життя. Тож нам з тобою не по дорозі.

Він натиснув сигнальну кнопку і на порозі виникла секретарка.

— Маріє Петрівно, ви підготували документи на відрахування Колоса з технікуму?

— Зараз я занесу.

— Колосе, — звернувся вже до мене. — Я не розумію, чому ти отут сидиш і дурнувато посміхаєшся. Плакати треба на твоєму місці. Як ти уявляєш своє подальше життя.

— Миколо Петровичу, ну для чого ви розігруєте переді мною оцю комедію? Ви ж знаєте, що не маєте права виключити із технікуму сироту.

Він кілька хвилин дивився на стіл, наче вишукував там відповідь на моє нахабство. Потім повільно підвівся і підійшов до мене.

— Сирота — кажеш?

— Сирота.

— То виходить, що я тут біля тебе державою поставлений і за батька, і за матір.

— Виходить так.

— Тож розумієш, що я мушу тебе й виховувати?

— То й виховуйте собі, — нахабно відповів я.

За цими словами від потужного ляпаса я відлетів у куток. Він доскочив до мене, вхопив могутніми ручищами за барки і підніс впритул до обличчя.

— Скаржитись будеш?

— Не вмію.

— Тоді слухай, що я тобі скажу. І запам'ятовуй. Ти правий. Я, дійсно, не можу викинути тебе, мов паскудне кошеня на вулицю, хоч мені цього дуже хочеться. Тому залишається одне. Чого б це мені не коштувало і тобі, до речі, теж, а механіка я таки з тебе зроблю. А те, що тут щойно відбулося, вважаю, я проводив з тобою позакласну роботу. І вона триватиме доти, поки ти не порозумнішаєш.

Розумнішав я повільно — заважав характер. Тож у директорському кабінеті ми зустрічалися ще не раз. Однак, коли, після короткої нотації, від починав підводитись з-за столу, я, пам'ятаючи його важку руку, кулею вилітав з кімнати. Бо його позакласна робота біля педагогіки і близько не лежала.

Механіком я таки став. І усе своє життя з теплотою згадував богатиря з доброю душею, який перед нелегкою життєвою дорогою силоміць запхав мені за пазуху кусень хліба.

Про це я розповідав моїм юним знайомим. І Андрієві розповіді ставив під сумнів. Ніхто ж не відміняв тих добрих законів, що існували за старого ладу. Хіба що під його уламками вони перетворились на порох. А у капіталізму свої правила гри.

Ми з дітьми часто просиджували біля багаття до пізньої ночі. Я ділився спогадами про свої мандри, про порядки у нашому дитячому будинку. Хлопці згадували своє. Вони не раз навідувалися і до нас на дачу.

Однієї ночі, коли вони спали, бомжі, які влітку тиняються дніпровським узбережжям, вкрали у них рибальське причандалля, а також увесь посуд і казанок. Після цього їхнє перебування на березі практично стало неможливим.

До нас прийшов Андрій.

— Мамо Маріє, — звернувся він до дружини. — Ви все одно відпочиваєте на дачі. Дозвольте нам з тиждень пожити на вашій квартирі.

Трохи повагавшись, вона дала йому ключі і адресу.

За кілька тижнів я запитав її.

— Квартиру відвідати не хочеш?

— А у чому річ?

— Ну ти ж віддала ключі, не знаючи кому. Ні прізвищ, ні документів не бачила. Може там уже пуста.

— Та там у нас і красти нічого.

Проте занервувала і за кілька днів ми таки поїхали додому.

Ключі, як і домовлялися, були у сусідів. Хлопці наше помешкання уже залишили. Коли ми зайшли у квартиру, дружина аж зойкнула. Приміщення було буквально вилізене — ідеальна чистота, речі складені, прибрано навіть те, що ми, збираючись похапцем на дачу, не встигли прибрати. А у серванті лежали неторканими кілька банкнотів, необачно залишених нами при від'їзді.

Якось глухої ночі у квартирі пролунав дзвінок. Коли ми відчинили двері у вітальню ввалився Андрій, весь забруднений, закритавлений.

— Мамо Маріє, допоможіть, — прохрипів він.

Хлопець був таки сильно побитий. Розсічена голова, вухо наполовину відірване. Він категорично заперечив, щоб ми викликали швидку допомогу.

Дружина обережно обмивала йому рани, а він від кожного дотику зойкував «Ой, мамонько!» і, як теля, тицявся у її груди. Дружина притискала його голову до себе, щось заспокійливо примовляла, а коли він затихав, безпорадно зводила на мене наповнені сльозами очі.

Він переночував у нашому домі, а вранці пішов. І не бачили ми його після того кілька років.

Якось на зупинці маршрутки біля мене стрімко припаркувалась червона спортивна іномарка.

— Татко Максиме!

Так гукнути мене могли лише синові друзі, що постійно тусувалися у нашому домі. Я озирнувся. До мене наближався короткостижений молодик у вишуканому костюмі. За мить я опинився в обіймах дорогих парфумів.

— Господи, Андрію, що за маскарад?

— Не маскарад. То — життя і зовсім непогане, — відповів він, кивнувши на машину, припарковану біля тротуару.

— Твоя? Де це ти так швидко забагатів?

— Знайшов хорошу роботу. Працюю бригадиром у солідній фірмі.

— А твої хлопці?

— Зі мною. Теж там працюють. Помовчав з усміхом, очікуючи моєї реакції. Ми розуміли одне одного.

— На круту дорогу став, синку, — після короткого мовчання нарешті вимовив я. — Карк зламаєш.

— Кому?

— Собі, звичайно. Як мотузочці не витись, а кінець хтось таки схопить.

Посмішка зійшла з його обличчя. Воно закам'яніло, а очі недобре звузились.

— Я думав, ви, як ніхто, мене зрозумієте. Не знаю, як ви там виживали колись у юності на свої вісімнадцять стипендійних рублів, але я нині під жиріючим бомондом виживати не хочу. Хочу жити,

поки молодий. До речі, як ви розповідали, у вас практично вже на той час була своя бригада. Але ви товкли хлопцям морди лише за те, що вони були краще за вас одягнені, а у кишені мали мамину п'ятірку на розваги. Правда, тоді не було довкола стільки жирних котів, як нині. А, може, й були, та мусили ховатися. Зараз не ховається ніхто. Ремигають від об жорства перед голодними і хизуються «брюліками» перед бідними. Оці усі світські тусовки на телебаченні і у глянцевих журналах з п'яними напівголими зірками, повідомлення про подарунки для коханок на десятки тисяч баксів — то що — не є моральним знущанням над людьми? І як тут вгамувати пролетарську ненависть? — засміявся він.

— Але ж ти, певне, такому ж котові й служиш?

— Я служу такому ж, як сам. Мій бос, до речі, — колишній вихованець дитячого будинку. І давайте облишимо це, бо посваримось, а я вас дуже поважаю і сім'ю вашу люблю.

Ми ще кілька хвилин поговорили про різне: як хлопці, як дружина, чи живете влітку на дачі? Попрощалися досить тепло. Але, відійшовши вже на кілька кроків, він зупинився.

— Ви тільки не ображайтесь, але я мушу вам це сказати. Ви хоч знаєте, скільки ваших хлопців і дівчат після дитячого будинку опустилися на дно? А я знаю на прикладі своїх, бо, на відміну від вас, нікуди з Києва не виїжджав, і ми досить часто спілкуємось. І половину з наших вже за різними оцінками можна віднести до категорії асоціальних елементів... А у тому, що такі, як ви залишилися на плаву, то не є вашою стопроцентною заслугою. Просто, так лягла карта.

Він таки образився. І від того я чомусь почувався ніяково.

«Так лягла карта...» — він був на сто процентів правий. Я теж вірю у фатальність долі. Бо ж недарма у Святому Писанні сказано: «І кожна волосина на твоїй голові вже полічена». То може викреслено вже і наші життєві шляхи з усіма їх вигинами. Правда, у кожного є вибір. Але ж хто певен, що і вибір той не закладено уже у те по життєве креслення. Тож, думаю, Андрій і опинився там, де йому і належало бути.

Я ж теж вийшов з дитячого будинку самотнім вовчєням. Не уявляв до того, яким порожнім може бути багатолюддя. Ні коріння, ні свого даху над головою, ні рідної душі поряд, ні плеча, на яке міг би спертися. Тож покладатися міг лише на себе. Мусив іти на-впосацки дорогою, де за все доводилося розплачуватися. А платити було нічим.

Сумний досвід привчив мене не вірити доброзичливим по-смішкам і солодким словам. Я навчився вгадувати за ними нещирість. Або ж підступність. Тож прийняв за життєві правила начитані мені випадковим поїздним супутником — звільненим від покарання зеком, якого зрадили після відсидки рідні, друзі, та, власне, й суспільство. Це — так звані «понятія»: нічого не бійся,

бо неминучого не обминути, ніколи не клич на допомогу, щоб своїми проблемами не навантажувати інших, ні в кого і ні в чому не позичайся, бо незчуєшся, як опинишся у боргових кайданах, не шкодуй за втраченим, бо його уже не повернути і, нарешті, ніколи не кайся, щоб не топити свою гідність у багні, яке ти вже давно залишив позад себе.

Як же тоді мені легко жилося! Однак поступово ці тверді і холодні норми розтанули, мов крига. Від дотику до безкорисливої доброти, від несподіваної, нічим не мотивованої рятівної допомоги, що не заковувала у боргові кайдани. А коли вже й серце навчилося боліти, воно почало болісно стискатися й від дотику до чужого горя. А згодом з'явився і страх — за день завтрашній, за долю близьких людей, страх перед вибором і перед можливими втратами. І нарешті я уже майже фізично почав відчувати, як стишується моя життєва хода і як стрімко прискорюється перебіг часу, віддаляючи мене від уже замулених, нездійснених юнацьких мрій. А ще не дає спокою наростаюче відчуття, що я катастрофічно не встигаю віддячити світові за те, що він усе таки був добрим до мене. І від того чим далі, все гострішою стає потреба у сповіді і у спокуті.

Моя пам'ять, посічена часом, все більше нагадує сито. Скільки дорогих серцю миттєвостей, золотих зерняток просипалось крізь нього! Дарма, не жалкую. Нічого безслідно не зникає на цьому світі. Можливо, при випадковому контакті з чиєюсь долею якесь із них запало у чиюсь душу і проросло добром, як плата за витоптаний ряст на життєвій ниві. А у мене залишається лиш чорне каміння. Я гримаю ним, щоб отямити тих, хто мав би вибирувати те, що уже розкидано. Прийшла пора збирати й молитися. Бо винні усі — і ті, хто чинить зло, і ті, хто байдуже за цим споглядає. Провина останніх ще важча. Бо злочин — то разова подія, а байдужість відвіку була ґрунтом для проростання зла і гріховності.

...Виходжу з метро на станції «Майдан Незалежності» і відразу ж потрапляю у тютюново-пивний сморід. Негода зігнала молодняк із площі у підземний перехід.

Ревіще бардів, гомін, запльований матюками. «Труба» — так називають кияни підземний простір під центральним майданом столиці — переповнена підлітками. В основному — це учні професійно-технічних училищ. Діти, які недавно відірвались від сільських родин, звільнилися від тиску традиційно високої моралі. Малолітні, вже ожіночені дівчатка, лаються поміж собою, мов портові вантажники.

— Мужик, дівчинку хочеш?

— Хоче, та не може, — дівочий регіт.

Повз мене пробігає зграйка малолітніх волоцюг. За ними, розмазуючи по обличчю сльози, дрібоче манюсінка білявка.

— Господи, — подумалось. — Ні війни ж не було, ні мору. Яка ж віхола, крихітки мої, повикидала вас із рідного гнізда?

Купую цигарки у тютюновому кіоску. За рукав мене сіпає маленький, років вісьми-десяти, хлопчик.

— Дядечку, дайте п'ятдесят копійок.

— Іди звідси, поки я тобі вуха не повідривала, — висовується з віконця продавщиця. — Не давайте йому грошей, — це вже до мене. — Він же назбирає копійок, а потім накупить клею і кодляком нюхають.

— Для чого тобі гроші? — запитую у нього.

— Їсти хочеться.

— Ходім зі мною.

— Куди, — відсажується він.

Повертаюсь і йду до найближчої торгової точки. Він насторожено іде за мною. Заходимо в магазин. Беру кільце ковбаси.

— Що іще? — запитую у нього.

— Ось цього кусочок, і цього, — тицяє пальчиком.

Купую все, на що він вказав. Додаю до всього кілограм цукерок і буханець хліба.

— Спасибі, дядечку!

— Не віднімуть?

— Ні, я поділюся. Я тут не один.

— Де ж твої батьки, дитино?

— Тато нас покинув. А мама п'є з дядьками, а потім усі б'ються. І маму б'ють. А я крові боюсь. І утік з дому.

Гамуючи щем під повіками (проклята сентиментальність), вивираюсь із підземелля.

Періщить дощ. Там, нагорі Божі сльози стукають в освітлені вікна затишних квартир, нагадуючи, що горя на світі більше, ніж щастя. Бо лихо приходить нагло й саме. А щастя треба шукати, та й, навіть, боротись за нього.

А тут унизу важкі дощові краплини розбивають барвисті рекламні відбитки на мокрому асфальті, і їх дріб'язки розлітаються довкруз, мов пелюстки посічених квітів.

Настрій зіпсовано. І під його гнітом отой бунтівний закуток душі, що постійно бентежить мою совість, вистрілює у холодний, заплаканий дощем простір пекучою стрічкою: «Як Вам не соромно, мамо!».

Київ, 2005

Данило КРАВЧЕНКО

/ Київ /



ЗНАЙОМСТВА В БЕРЕЗНІ

Довжелезна фігура у верблюжому пальті пісочного кольору, як підймальний кран, нависла над металевим контейнером-сіткою. Руки у витертих чорних шкіряних рукавичках спритно перебирали сміття, знаходячи та відокремлюючи скляні пляшки. Вся здобич миттєво відправлялася у чорний пакет, який заздалегідь був прив'язаний до сітки. Пальто на чоловікові було ношене, рукави — закороткі, але не схоже було, щоб це хоч якось його турбувало. Він майже нерухомо стояв на одному місці, скоцюрблений, але ефективний у своїй справі.

Поряд з ним, але з іншого боку контейнера, так само — переважно мовчки — працював інший чоловік, про зріст та статуру якого не можна сказати нічого особливого. На відміну від колеги, він був одягнений дещо легковажно — вітрівка поверх спортивного костюма навряд сильно його зігрівала. Час від часу він починав пританцьовувати на місці, дивитися на годинник та у небо. Чоловік працював у драних брунатних вовняних рукавичках та, своєю чергою, звертав увагу на папір і картон.

З неба ліниво падав сніг. Поодинокі сніжинки неохоче кружляли навколо людей, як сонні мухи. Погода була не така щоб люта, та легше від цього нікому не було.

Не ясно де, але десь поряд пролунали постріли з автоматичної зброї. Потім хтось дав чергу, і знов пішли поодинокі. Обидва підняли голови від контейнера та подивилися у бік, звідки, як їм здалося, стріляли.

— Знов десь пролізло. Щоб в них яйця відмерзли, — сказав той, що був в спортивному костюмі.

— Угу, — відповів його колега.

Стрілянина стихла, і вони повернулися до своїх справ. Сміття вже значно поменшало і залазити в контейнер було незручно навіть високому чоловіку у пальто.

— Давай на бік положимо, — сказав він та, не дочекавшись відповіді, ногою натиснув на педаль, розблокувавши колесо «клітки». Взявшись кожен за свій бік та притримуючи жовту пластикову кришку, вони обережно поклали контейнер ребром на бордюр.

— Хлопці, я вже йду до вас!

Невисока жінка в червоній пуховці дійсно швидко наближалася, на ходу відкриваючи чорний мішок для сміття.

— Боже, Вова, ти б ще шорти з капцями вдягнув, — сказала вона та майже пірнула у контейнер, одразу почавши згрібати бляшанки з-під пива та консервні банки. — Знаєте, куди потім нести все це багатство?

— Так, — відповів той, що був у верблюжому пальті, — за будинок в... убежище.

— Все вірно — у сховище. Тіко не кидайте одразу біля входу. Зайдіть до приміщення, а потім поверніть ліворуч і там, під трубою, у кутку ми все це складаємо. Вова, на, забери ось ці наліпки до себе у мішок.

— Гаразд, давай.

— Добре, що в нас хоч хтось вийшов. Бо у сьомому будинку ніхто цим не займається і там вже, вибачте, срач біля під'їздів.

Вони несподівано швидко закінчили зі сміттям і повернули контейнер у звичне положення. Лапатий сніг почав обліплювати одягу. Десь близько знов почали стріляти з автоматичної зброї.

— То з Жулян — не звертайте уваги. Коли вже це падло повиздає, — сказала жінка в червоному пуховику та різко зойкнула. — Бачте, то Коля з сьомого під'їзду.

Вони подивились у бік, куди вона вказала рукою. Там дійсно стрибав і усіляко намагався привернути до себе увагу чоловік в синій лижній куртці.

— Сміттєвоз вже приїхав. Швидко до нього, допоможіть завантажити органіку, а це я сама віднесу.

Двоє залишили свої мішки та пішли, струшуючи з себе сніг та вдягаючи шапки.

— Не бачив вас у сховищі. Ви вдома ховаєтесь під час тривоги?

— Сідаю у ванну і сиджу. Там ніби є дві стіни на шляху.

— І дзеркало.

— Так. І дзеркало теж.

— Як же ж ви з вашим зростом, вибачте, розміщуєтесь у тій ванні?

Володар пальта пісочного кольору посміхнувся. У ванній йому дійсно було незручно, але до цього моменту він не намагався уявити, як це може виглядати зі сторони.

— Не дуже комфортно, — доброзичливо відповів він. Вони ще трохи пройшли мовчки, а потім він спитав, кивнувши у бік людини у лижній куртці. — Ви його знаєте?

— Та ні! — відповів чоловік у спортивному костюмі та заперечливо махнув рукою. — Багато хто вже поїхав, та я кожен день знайомлюся з якимись новими людьми з нашого будинку.

Вони підійшли та по черзі потисли руку сусідові. Потім в трьох завернули за будинок та перейшли дорогу. Біля сміттевоза сніг вже змісили в багняву кашу, а чорних контейнерів з органічним сміттям на собачому майданчику лишалось багато. Зі сторони сусіднього будинку на допомогу йшло ще кілька чоловіків, бо імпровізований сміттевий полігон зробили сумісними зусиллями.

— Давайте швидше! — крикнув один з двох вантажників.

Вони зайшли на вогкий, слизький, вкритий снігом собачий майданчик і ось тут вже почалася справжня робота.



Римма ЗЕЛЬМАНОВА

/ Герцлия /

ВЕРМО

*У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех.*

Что заставляет нас искать ключ к разгадке? Уж и время окутало ее дымкой, а мысль все бежит в темные лабиринты в поисках ответа на вопросы. Эффект незавершенного действия вступает в силу.

Стихотворение «Ламарк», написанное Мандельштамом почти сто лет назад, и по сей день вызывает любопытство своим загадочным текстом. Последние строчки его и вовсе напоминают шарады. Что, если попытаться представить их как игру слов — межъязыковых омонимов — игру смыслов и звучаний одних и тех же слов на разных языках.

Нужно еще раз внимательно прочесть все стихотворение, чтобы заново осмыслить каждое его слово. Тем более что для Мандельштама слово — это такой особый камень — кристалл, который продолжает расти прямо в постройке стихотворения.

Есть ли у «Ламарка» фабула

С первого же слова стихотворение звучит как рассказ. В голову приходит «жили-были» — история, которую предстоит рассказать, нечто достойное внимания, что удивило и потрясло. Золотая рыбка вернулась в море, маленькая мышка хвостиком разбила яйцо. Такое повествование обычно начинается издали и постепенно доходит до основного события. А какое главное событие здесь? Что так впечатлило автора?

Ламарк-Мандельштам

«Был старик».

В первой строфе Мандельштам, скорее всего, рассказывает о себе самом, а не о Ламарке. В свои чуть больше сорока лет он производил впечатление старика и, по словам современников, «выглядел как седобородый патриарх... был брит, беззуб, старообразен».

«Застенчивый как мальчик».

Зинаида Гиппиус вспоминала о нем: «Кто-то прислал ко мне юного поэта... такого робкого, что он читал едва слышно и руки у него были мокрые и холодные».

«Неуклюжий робкий патриарх».

Знакомые Мандельштама отмечали его странную походку: «Он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха».

«Кто за честь природы фехтовальщик».

Известно о сходстве Мандельштама с Дон Кихотом. Он бывал невероятно смел, когда речь шла о чести и жизни другого человека.

«Пламенный Ламарк».

И это тоже о нем — упоминали, что от него буквально «сыпались искры».

Если принять, что в первой строфе Мандельштам пишет о себе самом, то неудивительно, что во второй строфе он переходит от местоимения «он» к местоимению «я».

Что такое помарка

«Если все живое лишь помарка за короткий выморочный день».

Первое, что приходит на ум, что речь идет о Творении живого как об ошибке. Но почему же тогда за день, а не за два? Ведь Бог сотворил все живое за два дня. Кроме того, в этом предложении содер­жится условие, при котором автор лично должен занять последнюю ступень на лестнице живых существ Ламарка. Как привести в соответствие фразу «все живое лишь помарка» и фразу «я займу последнюю ступень»? Одно должно вытекать из другого, одно должно становиться условием другого. То есть, некая помарка становится условием спуска автора лично на последнюю ступень живых существ. Это, как минимум, странно. Что же это за помарка такая?

Уже в словаре Даля слово «помарка» считалось устаревшим. Когда-то на Руси писали перьями — чернилами, поэтому существовало выражение «марать стихи». Оно было связано с литературным творчеством. Марать стихи означало заниматься поэтической деятельностью. В этом смысле, слово помарка здесь означает короткое стихотворение, а не ошибку или исправление, как можно было бы предположить первоначально. Короткий стишок превращается у Мандельштама в короткий день. Короткая помарка, написанная за день, становится помаркой за короткий день. «За короткий выморочный день» — уточнение слова помарка. Поэтому относиться нужно не ко всей фразе, а только к ее первой части — «лишь помарка», оставив вторую часть за скобками уточнения.

А что со словом выморочный? Зная, что ни одно слово не попадает в стихи Мандельштама случайно, оно также, возможно, имеет скрытый смысл. Слово выморочный означало «оставшийся без наследников», а вопрос о том, кому достанутся стихи, не был праздным для Мандельштама. «Кто сохранит — тому и достанутся», — говорил он.

Теперь, если произвести замену слова «помарка» на новый смысл, получается: «если все живое лишь короткий ничейный стихок, то я займу последнюю ступень в цепочке живых существ Ламарка». Пока еще неясно, что автор имеет в виду.

Что значит подвижная лестница

«На подвижной лестнице Ламарка».

Откуда взялось выражение «подвижная лестница»? У самого Ламарка нет такого понятия. И, хотя уже у Платона и Аристотеля существовала «лестница бытия», но она была неподвижна и в те времена чаще использовалось понятие «цепочка живых существ». Жан Ламарк считал, что Бог создал лишь материю, которая уже сама, в свою очередь, развивается по определенным законам и стремится к совершенству. «Подвижная материя» превращается у Мандельштама, в сочетании с лестницей бытия, в «подвижную лестницу», и это происходит прямо у нас на глазах в его работе «Вокруг натуралистов», где он пишет: «На место неподвижной системы природы пришла живая цепь органических существ, подвижная лестница, стремящаяся к совершенству». Лестница Ламарка подвижна в том смысле, что стремится к совершенству, развивается, а не в смысле передвижная.

Почему ступень последняя

«Я займу последнюю ступень».

Почему нужно спуститься именно на последнюю ступень? Почему не на предпоследнюю, к примеру? Почему именно «я», а не «мы» или еще кто-либо? Мандельштам говорит об этом так, будто это место предназначено ему лично — заранее уготовано.

В стихотворении речь идет одновременно о спуске по лестнице живых существ Ламарка и о спуске по ступенькам Дантова Ада.

Что же именно происходит на последней ступени лестницы Ламарка, куда собирается спуститься автор? Нагляднее всего это показано в таблице, которая иллюстрирует книгу Ламарка «Философия Зоологии» — его главное произведение.

Мандельштам хорошо знал французский язык и, скорее всего, читал эту книгу на языке оригинала. В оригинальной таблице на французском языке линии, соединяющие звенья между живыми

существами, идут снизу вверх — начиная с высших существ вниз страницы, и доходя до простейших вверх. В верхней левой части страницы стоит слово *vers* — черви. И, хотя в самом тексте книги за червями следуют еще инфузории, полипы и звездчатые, но в таблице они стоят как бы особняком — в правом верхнем углу, а цепочка линий, соединяющая живые существа доходит до червей и обрывается на них. То есть, именно черви являются здесь последним звеном — последней ступенью.

Мандельштам перечисляет живые существа на лестнице Ламарка в таком точном порядке, словно книга с таблицей лежит у него перед глазами. Даже в такой детали: «К кольцецам спущусь и усонгим, прошуршав средь ящериц и змей» — он точен. Действительно, ящерицы и змеи предшествуют кольцецам и усонгим в цепочке живых существ. Все перечисляемые им существа ведут прямиком к червям. Указание на такой порядок содержится и в самом тексте книги Ламарка: «Черви составляют пятый класс беспозвоночных животных. По степени сложности своей организации они, без сомнения, должны непосредственно следовать за насекомыми». Автор стихотворения не может не знать, что сразу за разрядом насекомых идут черви, однако о них у него ни слова.

Строка — борозда

Слово «*vers*» на французском языке — значит черви, а еще *vers* — это короткий стих, строфа, параграф и, даже псалом. Множество знакомых нам слов образованы этим корнем. Например, такое слово как «верлибр» — *vers libre* — свободный стих. Слово *vers* — это также борозда и строка. Истоки этого слова восходят к латыни. Латинское «*versus*» — линия, строка — происходит от однокоренных латинских слов «*versare*» и «*vertere*». Оба они, с небольшими отличиями, означают оборот, поворот, имея в виду поворот плуга при распашке земли, борозду, в конце которой нужно совершить поворот и начать с начала так, как это делает пахарь, делаящий землю на линии. Даже чисто зрительно, строки напоминают борозды. Не это ли позже имел в виду Мандельштам, обращаясь в своих стихах к земле как к «последнему оружию»?

Если слово *vers* на французском языке значит короткий стих, подобно тому, что значило слово помарка на русском языке, а пишется оно так же, как и слово *vers*-черви, то можно подставить слово черви вместо слова помарка и получим: «Если все живое лишь черви, то я спущусь на последнюю ступень живых существ — к червям».

Я червь

Как могло возникнуть сравнение всего живого с червями, породившее эту игру слов? Дело в том, что такие сравнения были

очень распространены. Например, у Зинаиды Гippiус можно прочесть в стихах: «Все прах, все тлен...», а у Державина: «Я червь — я бог». «Я же червь, а не человек» — говорил Иисус, по Евангелию. Да и у самого Данте можно найти: «Разве вы не понимаете, что мы черви, рожденные превратиться в ангельскую бабочку?». Не отголосок ли этого в более позднем стихотворении Мандельштама: «Сегодня ангел — завтра червь могильный»?

Слово червь в переносном смысле означало тогда «ничтожный, презренный». В протестантской конфессии, которую в молодости принял Мандельштам, подчеркивалось особое значение самоуничтожения и смирения. Наличие гордыни расценивалось как грех, а отсутствие ее, как добродетель. Но то, что по религиозным канонам является добродетелью, может стать смертным приговором для гордого и свободолюбивого человека, каким был Мандельштам. Он, вполне, мог бы произнести: «Ах, так! Если все живое лишь прах, а я — лишь червь, то, может, мне занять место рядом с червями?». И только теперь, вся вторая строфа, с ее протестом и вызовом, обретает смысл.

Спуск в Ад. Что там?

События в стихотворении развиваются одновременно двух пространствах — в пространстве Ламарка и Данте. Что же происходит на последней ступени Ада?

В девятом круге Ада — на последней его ступени, разворачивается грандиозное зрелище. В центре его находится ледяное озеро Коцит, где по пояс вмерзлен падший ангел Люцифер, низвергнутый с небес за предательство своего Бога. При падении его тело пронзило землю, пройдя до середины. Туловище с головой и крыльями оказались внутри ада, словно в гигантской воронке, а ноги остались торчать наружу, в другом полушарии — со стороны Чистилища. Девять кругов Ада поднимаются амфитеатром вокруг вмерзшего по пояс Люцифера. По Данте, в самом центре земли — не обжигающее пламя, а лед, и в этой части Ада грешники не горят в огне, а замерзают во льду.

Шестикрылый Люцифер — родственник шестикрылого ангела Серафима и, одновременно, его антипод, и у него, как и у Серафима, тоже есть шесть крыльев. Но, в отличие от ангельских, они без перьев и больше похожи на крылья летучей мыши. У Люцифера есть три лица под одной и той же головой и каждое из них имеет другой цвет. То, что смотрит прямо на нас — красное — цвета вермильон, лицо справа — желто-белое, а слева — черное. Будучи сам предателем и изменником своего Бога, Люцифер грызет в своих в пастьях еще трех других предателей: Иуду, Кассия и Брута, и изо рта у него идет кровавая пена — «sanguinosa bava». Под каждым из трех лиц расположено по два крыла, и так, мешая друг другу,

странно машут они шестью крыльями одновременно, словно три летучие мыши. Данте называет Люцифера — червь-вермо. Это поэтическая форма итальянского слова *vermi* — черви.

Ад — это место, куда можно спуститься, но невозможно вернуться из него тем же путем назад. За последней ступенью Ада мир словно переворачивается, и дорога идет уже в другое полушарие — в Чистилище, а затем и в Рай. Это для путешественника, каким видит себя Данте в Божественной Комедии. Он рассматривает грешников как экспонаты в таком необычном музее грехов, и проходит мимо них дальше. Сами же грешники не имеют возможности перемещаться по этому пространству — они помещены туда навсегда. Каждый находится на своем месте и, в этом смысле, занимает предназначенную ему ступень.

Смена декораций

«Мы прошли разряды насекомых».

Итак, пройдя разряды насекомых автор попадает в точку, где одновременно на последней ступени живых существ Ламарка находятся черви и, на последней ступени Ада, находится гигантский червь Люцифер.

«Мы» — это автор о себе и Данте. Почему это, например, не Ламарк и не Кузин? Потому, что тем, кем для Данте был Вергилий, для самого Мандельштама мог быть только Данте.

«Он сказал: "Природа вся в разломах"».

Он говорит о разломах именно в этом месте, потому что, пройдя разряды насекомых, они оказались перед таким разломом — перед рвом с могильными червями. Автор прибыл на место назначения и стоит у последней черты. Один шаг отделяет его от нее.

Теперь становится понятно почему в этой части стихотворения происходит такой резкий перелом, и оно делится на «до» и «после», словно это два разных стихотворения, соединенных вместе. Будущее время сменяется настоящим, единственное число — множественным, первое лицо — вторым, а невинный зоопарк — интервьюером ада.

«Зренья нет, ты зришь в последний раз».

Именно здесь, у червей — в цепочке живых существ — впервые исчезает зрение. У насекомых оно еще присутствует.

«Он сказал: довольно полнозвучья, — / Ты напрасно Моцарта любил...».

Эта фраза очень похожа на реплику автора из сцены самосуда в «Египетской марке»: «Поголял ты... и хватит». А чуть позже, там же, о смерти певицы: «Смерть и пикнуть не смеет... Мы ее Моцартом...». А здесь и заклиание Моцартом не поможет: «Ты напрасно Моцарта любил».

«Наступает глухота паучья».

Хотя глухота и названа паучьей, но все же у пауков еще есть слух, а вот у червей его, действительно, впервые среди живых существ, нет.

«Здесь провал сильнее наших сил».

Вместо этих слов он мог бы произнести: «Мы стоим у бездны и не в наших силах предотвратить падение в нее. Природа могла бы опустить для нас спасительный мост над пропастью, но она не стала этого делать».

Отступничество и предательство

«И от нас Природа отступила — / Так, как будто мы ей не нужны».

В этой фразе передан точный оттенок слова «отступила». Отступить здесь — это отказаться. Иными словами: «Как если бы природа пренебрегла нами и предала нас — так она отступила от нас».

Мандельштам обвиняет природу в отступничестве. Обида на природу за предательство могла стать триггером всего стихотворения. И здесь, мне кажется, необходимо вспомнить, что и сам Мандельштам, в какой-то степени, совершил отступничество, приняв в молодости католичество. Отказ от веры — вероотступничество. Мандельштам упрекает природу в том, в чем, возможно, где-то в глубине души, считал виновным самого себя. Мы часто не терпим во внешнем мире именно то, что неосознанно не принимаем в себе самих.

Вот, что пишет Мандельштам спустя год о последней ступени ада в «Разговоре о Данте»: «Предательство, замороженная совесть, атараксия позора, абсолютный ноль». Вот чем было для него это место в аду.

По законам Божественной Комедии ему уготован последний круг ада, как изменнику своего Бога. Там же обитает и червь Люцифер. Именно здесь, последняя ступень лестницы живых существ Ламарка и последняя ступень ада сходятся.

Меч и шпага

«И продольный мозг она вложила словно шпагу в темные ножны».

Выход из Ада возможен только по направлению к Чистилищу, но для этого страж Чистилища, должен пропустить путников. Ангел, охраняющий вход, пропуская Данте, начертал мечом на его лбу семь букв Р, по названию семи смертных грехов, которые нужно искупить. Природа, здесь — тот же страж, но вместо того, чтобы начертать мечом на лбу путников семь букв Р и пропустить их, она этот меч-шпагу убрала, а путники остались в аду.

Рыцарская тема

Жан Ламарк носил титул шевалье — «рыцарь империи» — Шевалье де Ламарк. В средние века это означало бы «странствующий рыцарь», но в 19-м веке — всего лишь, младший дворянский титул.

Рыцарская тема открывает стихотворение, когда Ламарк-Мандельштам, словно фехтовальщик, обнажает шпагу за честь природы, и заканчивает стихотворение, когда природа предательски прячет шпагу в ножны, не желая сражаться за него.

Атрибутом рыцарства в стихотворении является также и подъёмный мост. Рыцарские замки часто были снабжены такими мостами на въезде. Интересно, что и карточная масть «черви», тоже означает рыцарский символ — щит. Рыцарский дух был присущ и самому Мандельштаму. По рассказам современников, он напоминал шевалье своим поведением и манерами.

Ла Марк и марка

В имени Ламарк слышится нам что-то знакомое. Отголоски слова марка звучат в нем. Подобно многозначному слову «червь», бесчисленно в своем «щебетании» и слово «марка». Филателистические смыслы? Да. Но и географическое обозначение. Марка — это приграничная область, регион. В трактате «О народном красноречии», говоря о различных наречиях в итальянских областях, Данте перечисляет эти области, и среди них следующие приграничные регионы: Генуэзская марка, Тревизская марка, Анконская марка. Итальянское слово Marche (марке) — приграничный регион, из трактата Данте, было переведено на русский язык словом марка. Это могло позабавить Мандельштама, а непривычное сочетание слова марка рядом с названием региона породить игру слов. Память мгновенно отсылает к «Египетской Марке». Слово «Египет» у евреев является абсолютным синонимом слова рабство. Поэтому выражение «Египетская марка» сразу же приобретает значение «рабский регион», а фраза «милый Египет вещей» трансформируется в такое знакомое и понятное «милое рабство вещей».

Интересно, что фамилия Ламарк имеет тот же корень и тот же территориальный оттенок, что и слово марка в этом значении. «Ла Марк» означает графство.

Про мосты

«И подъемный мост она забыла, опоздала опустить для тех».

Мост, который природа забыла и опоздала опустить — он откуда и куда ведет? Он что соединяет и разъединяет?

Живя в Петербурге, в городе на Неве, Мандельштам был окружен мостами, но говорит он в стихотворении не о разводном мосте через Неву, а о мосте подъёмном. Подъёмные мосты бывают не че-

рез реку — они бывают через ров. Что это же это за мост? Откуда он взялся и куда ведет? Выражение «подъёмный мост», одновременно проясняет и запутывает архитектуру пространства, в которое мы попадаем. Рельеф ада в большой степени состоит из разломов и каменных мостов через них. Особенно это заметно в восьмом круге ада, где у Данте сплошь и рядом переходы через рвы по каменным гребням-мостам. Но и они — это не подъёмные мосты. Зато, подъёмные мосты были в старые времена у городских стен и этот мост, скорее всего, ведет к какому-то укреплению. Подъёмные мосты использовались в Средневековье при обустройстве крепостей и замков. Один из видов подъёмных мостов — крепостной мост — служил переправой через крепостной ров, которым была окружена крепость. Поднятый мост часто закрывал собою ворота при входе в крепость и препятствовал проходу в нее. Тот, кто поднимал или опускал мост, находился внутри крепости и таким образом пропускал или не пропускал кого-либо вовнутрь. Если природа, как действующее лицо, не опустила подъёмный мост, значит, она находится внутри укрепления, а путники находятся снаружи, за рвом перед крепостью и не могут перебраться на ее сторону. По сути, она не пропускает их к себе. Если допустить, что природа — это жизнь, то жизнь отказала им, уступила их демону — Люциферу.

В понимании этой конструкции неожиданно помогает странство из «Поэмы конца» Цветаевой, где она несколькими словами описывает сложное устройство Ада: «За городом! Понимаешь? За! / Вне! Перешед вал... / В ад! — всюду! — но не в / Жизнь... /...Вал и ров...». Получается, что жизнь — она за рвом, через который можно перейти по мосту.

Так кто же эти «те», для которых природа забыла опустить подъёмный мост? Это «другие» или все те же «мы»? То, что природа отступила «от нас» и то, что природа забыла опустить мост «для тех» — одинаково плохо — предала. Значит, «мы» и «те» — нечто близкое по содержанию. И от «нас» природа отступила — пренебрегла нами, и «тех» предала — не опустила для них спасительный мост. Если природа опоздала, значит, произошло нечто ужасное. Природа не опустила подъёмный мост и, тем самым, отказалась от путников, погубила их.

В первоначальной редакции последней строфы была такая строчка: «...опоздала опустить на миг». Когда же можно опоздать на миг? Когда миг решает все. Когда миг отделяет от падения в пропасть. Вот еще, казалось бы, можно перекинуть спасительный мост, но поздно — миг упущен и падение в пропасть неизбежно.

По Цветаевой — жизнь, это жестокая и несправедливая субстанция, которая требует от человека предательства и отказа от веры. Для Жизни участь поэтов — за рвом — за городом, вне крепостных стен. Если ты не овца, не предатель и не гад — твое место в аду: «...В ад! — всюду! — но не в /Жизнь..., лишь овца — палачу!».

Пространство в поэме Цветаевой и пространство в стихотворении Ламарк очень похожи. В обоих речь идет о каком-то укреплении, вроде крепостной стены со рвом вокруг.

По Цветаевой, жизнь привлекает предателей, а поэтов активно изгоняет за крепостные стены. У Мандельштама же природа предаёт путников равнодушно и лениво. Слова «опоздала» и «забыла» передают безразличие и пренебрежение. Мало того, что забыла, так еще и опоздала. Безучастность и отсутствие сострадания — пассивная форма предательства.

О червях

Слово «червь» в русском языке — это буквально гудящее смыслами слово. В словаре Даля оно определено и такими словами как: «червонный, алый, червонная игральная карта, ничтожество, презренный».

В некоторых других языках также существует связь между словом червь и красной краской. Так, например, в итальянском языке *vermilion*-вермильон — это алая краска — от слова *vermis*-черви. Устаревшее русское слово «червы» — от древнерусского слова «чървь» в мужском роде означало червяка, а в женском — красную краску или ткань. Причина этого кроется в том, что красный краситель кармин получали из насекомого под названием «кошениль» — кошенильный червец. Мандельштам упомянул его однажды в другом своем стихотворении: «...и не жалели кошенили». Получается, что основное значение слова «червь» на русском языке, это не червяк, а — красный. А вот на французском языке слово червь-*ver* звучит также, как и слово зеленый-*vert*. Случайно ли, что в двух последних строках стихотворения автор упоминает именно эти два цвета — красный и зеленый?

Что за могила и почему она зеленая

«Для тех, / У кого зеленая могила, / Красное дыханье, гибкий смех».

Поскольку *ver*-червь на французском языке звучит также, как и *vert*-зеленый, выражение «могильный червь» вполне могло превратиться в «зеленую могилу».

Игрой слов можно объяснить и более раннее использование Мандельштамом выражения «зеленая могила» в воспоминании о Хлебникове: «Променял... жесткие ночлеги ...на зеленую ...могилу» — возможно, «променял на могильных червей».

Первоначальный интерес, к слову, *ver* — червь мог возникнуть в связи с именем сестры Хлебникова — Веры. Это слово созвучно множественному числу ее имени «Вер», а также фамильярному к ней обращению «Вер!». Так в стихотворении Хлебникова «Кузне-

чик»: «...Зеленых много трав и вер» — в одной фразе можно распознать: слово «зеленый» на русском языке, слово «vert-зеленый» и «ver — червь», звучащие одинаково — «вер», на французском языке, а также «вер» как имя.

Черви встречаются и в некоторых других произведениях Хлебникова. Например: «О, черви земляные, / В барвиничном напитке...». Если учесть, что у растения Барвинок есть и другие названия: «могильная трава», «зеленка», то и здесь черви соседствуют с могилой и зеленым цветом.

Мандельштам в «Ламарке» расширил игру слова ver-червь, обратившись к его форме множественного числа на французском языке — vers, которая означает и стихи-vers.

Что за дыхание и почему оно красное

Из трех пастей червя-Люцифера, на последней ступени ада, течет sanguinosa bava-кровавая пена. Иными словами: «с кровавой пеной у рта грызет Люцифер грешников». Bava на итальянском еще и легкий выдох, дуновение, дыхание ветра. Поэтому sanguinosa bava, вполне может звучать и как красное дыхание.

Почему смех гибкий

Слово bava означает также слизь. «Sanguinosa bava» — «кровавая слизь» из пастей червя-Люцифера. На иврите, например, слово «слизь» звучит «рир» — точно также, как и французское слово «rig»-смех. Поэтому выражение «кровавая слизь» вполне могло бы звучать как «красный смех». Вместе с тем, и выражение «слизкий червь», также могло бы звучать как «красный смех» — с учетом того, что червь — это «красный», а слизь — это «смех». Почему же тогда в стихотворении смех становится гибким? Гибкий, вероятно, не смех, а червь. Ведь черви гибкие по определению. Но, как это часто бывает у Мандельштама с близко стоящими словами, «красный смех» превращается в «гибкий смех».

Также, как слово «помарка» — это не, просто, помарка, а «помарка за короткий выморочный день», так и слово «черви» — это не, просто, черви, а «могильные, гибкие и слизкие черви».

Получается, что последние строчки стихотворения, в совокупности, означают: «для тех, у кого черви-vers». Подставив второе значения слова vers — «стихи», получаем: «для тех, у кого стихи» — «для поэтов».

Кто такие позвоночные и беспозвоночные

Первоначальный вариант последних строк «Ламарка» звучал так: «Позвоночных рвами окружила / И сейчас же отреклась от них».

Слово позвоночные — *vertebrata* имеет тот же самый латинский корень *vertere-versare*, что и слово стихи *vers*.

Кто же такие позвоночные? Позвоночные — те, кто обладает честью и достоинством. Позвоночные, по Цветаевой — это «каждый кто не гад» — изгнанники и отверженные. Поэты — конечно же, позвоночные. Сам Данте был предан своей страной и прошел через ад скитаний. Уж он то, точно, был изгнан за вал и ров, за городскую стену. Его родная Флоренция не опустила для него подъемный мост, не приняла и не спасла его. И вот теперь Мандельштам, на правах автора стихотворения, помещает Данте в ад, но уже как поэта и изгнанника. Данте, который в Божественной комедии путешествует по Аду, здесь, в «Ламарке», остается в аду навсегда. По Цветаевой, жизни свойственно изгонять поэтов: «...Ибо для каждого, кто не гад, /Еврейский погром/...Гетто избранничеств! Вал и ров. /Пощады не жди! /В сём христианнейшем из миров/ Поэты — жида!».

А что же беспозвоночные? Термин «беспозвоночные» — *Invertebrata* — был впервые предложен Ламарком в его труде «Естественная история беспозвоночных». Во времена Мандельштама исчезновение позвоночника воспринималось как метафора деградации. Беспозвоночные — низшие, презренные. Беспозвоночным может быть даже век, и тогда нужно склеить его позвонки своею кровью: «...но разбит твой позвоночник, /Мой прекрасный жалкий век!». «Связать позвонки» — удерживать позвоночник — сохранить честь и достоинство.

Оба варианта последних строк стихотворения сходятся в своем общем смысле: природа отреклась от позвоночных — от поэтов — от тех, у кого стихи-*vers*. Она не опустила для них подъемный мост, не спасла их — оставила в аду за ровом.

Подмена как игра слов

Мандельштам дважды осуществляет подмену в своем стихотворении. В начале стихотворения пометка-*vers* превращается в червей-*vers*, которые обитают одновременно на последней ступени лестницы Ламарка и на последней ступени лестницы Ада. В конце же — наоборот, черви-*vers* превращаются в стихи-*vers*, которые у поэтов.

Два разных смысла слова *vers* закольцовываются. Они проступают постепенно, как водяные знаки и образуют новую форму слова, которая и есть сумма всех его смыслов и звуков.

Спустя год, в «Разговоре о Данте», Мандельштам будет восторгаться, упоминая чудесные подмены в произведениях уже самого Данте.

Стихотворение — эпиграмма

И вот теперь, дойдя до конца стихотворения, становится понятно, почему оно начинается с того, что он — Ламарк-Мандельштам — за честь природы фехтовальщик. А ведь это совсем не оче-

видная вещь, что там, в начале стихотворения, делает эта фраза о фехтовании. Что это за ружье такое, которое висит на стене в первой сцене и должно выстрелить в последней.

В начале стихотворения автор обнажает шпагу за честь природы-жизни, а в конце стихотворения она — природа-жизнь свою шпагу предательски убирает в ножны и не желает сражаться за него.

И вся интонация стихотворения начинает мирно уживаться с содержанием. Потому то и прыг-скок по ступенькам ритма, словно пионерская речевка: «Кто за честь природы фехтовальщик? — Ну конечно, пламенный Ламарк!», потому что все стихотворение — это сплошная эпиграмма. По крайней мере, две сатирические эпиграммы зашифрованы в этом стихотворении. Первая из них — эпиграмма на религиозный канон: «Я — червь, все — прах», и вторая — эпиграмма на жизнь, которая отрекается от своих поэтов.

Что это было

С одной стороны, игра слов — естественное явление для человека, свободно владеющего несколькими языками, но всё же можно задаться вопросом для чего все это было, каков смысл всего этого. Этот межъязыковой каламбур — самоцель? Конечно, он забавен и сам по себе, но все же обращает на себя внимание тот факт, что он маскирует слово, которое ни за что не хочет произнести автор и это слово — черви. Могильные черви. Был ли этот каскад образов заменой пугающему смыслу одного единственного слова? Было ли это страхом смерти и одновременно сопротивлением ей, или просто игрой слов? Нужно заметить, что и некоторые другие произведения Мандельштама того времени тоже были зашифрованы им.

Оставшиеся вопросы

Как же так? Стихотворение «Ламарк» всегда было одним из ярких и запоминающихся произведений и без знания его точного смысла. Почему же оно производит такое сильное впечатление?

Можно вспомнить, что Хлебников, которого Мандельштам считал своим учителем, реализовывал в своем творчестве принцип универсальности восприятия смыслов через звуки. Он верил в закономерность смысла каждого слова и в универсальность его воздействия на человека. Возможно, в том же кроется и секрет успеха «Ламарка».

Вероятно, никто так никогда и не узнает, что именно имел в виду Мандельштам в своих загадочных стихах, но тем более притягательны они. Ведь каждый может бесконечно искать и находить разгадки в поисках отброшенного автором ключа.

Петр МЕЖУРИЦКИЙ

/ Хайфа /



* * *

Не писатель, не издатель и не вор,
я родился знаменитым на весь двор,
безымянным, но с какой ни есть душой —
двор был, правда, не такой уж и большой,
появись лишь в нем и станешь знаменит,
но зато над ним и впрямь зиял зенит —
двор-колодец, даже вымолвить чудно,
и казалось, что его надежно дно.

ПРОГУЛКА

Забаненных реестр прочтя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Навстречу Данте, Мандельштам, Вергилий
Мне вышли, чтоб приветствовать собрата
По участи, а также по перу:
«Ну, хорошо хоть что еще забанил, —
Сказал за всех Вергилий вдохновенный, —
А то, бывает, хочется убить
И наслаждаться смертью недостойных,
Но не тревожся, баном их мученья
Не ограничатся, ведь есть еще и ад,
Айда за нами, сможешь убедиться».
«О, нет, — ответил я, — не сомневаюсь
Ни в чем, что вами сказано, и так».
«Тогда вина сладчайшего из чаши,
Красавиц пригласим», — воскликнул Данте.
«И по домам, — прибавил Мандельштам. —
Да, кстати, Межурицкий, где живете,
Надеюсь, все же, что неподалеку,

Куда от нас вы, вниз или наверх?
А, впрочем, на вопрос не отвечайте,
И без того я слишком много знал».
Раскланявшись с компанией столь славной,
Я очутился дома пред экраном
И сразу часть забаненных разбанил,
Но спросишь ты: «А почему не всех?».
«Попробуй в ад сойти, тогда узнаешь».

* * *

Гораздо тоньше, чем игла,
фактически без тела,
она иконою была,
но быть ей не хотела.

Ей мало нравилось вранье —
чем дальше, тем сильнее —
но кто же спрашивал ее,
и кто считался с нею.

Кому нужны ее дела,
хоть мирные, хоть битвы —
она иконою была
и шли к ней для молитвы.

БЕЛАЯ КОСТЬ

Не спешите, юнкера,
перебьют вас до утра,

но и вы, как на работе,
тоже многих перебьёте,

окаянных упырей —
слесарей и токарей.

РАЗГОВОР О ПОЭЗИИ

1

Прости, прекрасная принцесса,
я не участник литпроцесса,
как ни печален сей эксцесс —
но что такое литпроцесс?

Был путь мой короток иль долог,
но по диплому я филолог,
как далеко не все кругом —
спроси о чем-нибудь другом.

Я спотыкался у порога
и упирался в стену лбом —
а что поэт? Поэтов много,
прими и сей куплет в альбом.

2

Я пишу тебе в альбом:
«Истина в себе самом,
и вообще спасибо, Кать,
что мне есть куда писать».

* * *

Чем важнее годовщина,
тем вернее бесовщина —
это норма всех общин,
что не портит годовщин.

* * *

Не скажу я, что Делёз
трогает меня до слёз,

что хотя бы иногда
умиляет Деррида,

не ведусь я на понты,
к сожалению — а ты?

* * *

Всегда была вне рамок ГОСТа
судьбы загадочная нить —
убитым быть не так уж просто,
но все же проще, чем убить.

Возможно, волею сюжета,
а, может быть, и на авось
иным из нас и то, и это
на белом свете удалось.

ПЛАНКА

Здравствуй, Лондон, а Дубай,
к сожалению, goodbye —
мне не удалось, увы,
прыгнуть выше головы.

СЛОВО О ПИСАТЕЛЬСКОМ МАСТЕРСТВЕ

На Землю падал астероид,
стелился утренний туман,
«Сирокко — с ним шутить не стоит», —
во сне подумал Томас Манн.

От этих слов проснувшись сразу,
чужд промедлений и длиннот,
не бросил он на ветер фразу,
но записал ее в блокнот.

* * *

Ресурсов всяческих излишки —
весёлой жизни атрибут —
пораньше трахайтесь, мальчишки,
а то, неровен час, убьют.

Война войдёт во все печенки,
весьма в цене повысив блуд —
почаще трахайтесь, девчонки,
пока ещё мальчишки тут.

* * *

Как ни относиться к земному раю,
на бесспорно лучшей из планет
смерти нет, но люди умирают,
несмотря на то, что смерти нет.

ПЕРВОКЛАССНИКУ

Пиши неправильно, сынок, —
так, чтоб людей сбивало с ног.

КРЕЩАТИК
(Перехрестя)

Международный
литературный
журнал

Дизайн обложки Н. Макаров
Оригинал-макет Б. Марковский

Подписано в печать 21.01.2023
Формат 66x88^{1/16}. Усл.-печ. л. 20,5
Печать офсетная

www.kreschatik.kiev.ua

www.imwerden.de

Мы в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили — в Киеве, Иерусалиме,
Нью-Йорке или Мюнхене, мы — перенесенный
в ментальное пространство проспект,
как бы он ни назывался в каждом городе,
где когда-то завязывались великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные встречи...

Ми в невпинному пошуку
нових імен, невідомих авторів,
де б вони не жили — у Києві, Єрусалимі,
Нью-Йорку чи Мюнхені, ми — перенесений
у ментальний простір проспект,
як би він не називався в кожному місті,
де колись зав'язувалися великі дружби,
писалися великі вірші,
відбувалися знаменні зустрічі.